А. С. МАКАРЕНКО

2

А. С. МАКАРЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

А. С. МАКАРЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА».
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
А. Терновского

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. ГВОЗДИ

Через день я должен был приступить к приему Куряжской колонии, а сегодня в совете командиров необходимо что-то сделать, что-то сказать с таким расчетом, чтобы колонисты без меня могли организовать труднейшую операцию свертывания всего нашего хозяйства и перевозки его в Куряж.

В колонии и страхи, и надежды, и нервы, и сияющие глаза, и лошади, и возы, и бурные волны мелочей, забытых «нотабене» и затерявшихся веревок,— все сплелось в такой сложнейший узел, что я не верил в способность хлопцев развязать его успешно.

После получения договора на передачу Куряжа прошла только одна ночь, а в колонии все успело перестроиться на походный лад: и настроения, и страсти, и темпы. Ребята не боялись Куряжа, может быть, потому, что не видели его во всем великолепии. Зато перед моим духовным взором Куряж неотрывно стоял как ужасный сказочный мертвец, способный крепко ухватить меня за горло, несмотря на то, что смерть его была давно официально констатирована.

В совете командиров постановили: вместе со мной ехать в Куряж только девяти колонистам и одному воспитателю. Я просил большего. Я доказывал, что с такими малыми силами мы ничего не сделаем, только подорвем горьковский авторитет, что в Куряже снят с работы весь персонал, что в Куряже многие озлоблены против нас.

Мне отвечал Кудлатый, иронически-ласково улыбаясь:

— Собственно говоря, чи вас поедет десять человек, чи двадцать — один черт: ничего не сделаете. Вот когда все приедут, тогда другое дело,— навалом возьмем. Вы ж примите в расчет, что их триста человек. Надо здесь хорошо собраться. Попробуйте, собственно говоря, одних свиней погрузить триста двадцать душ. А кроме того, обратите внимание: чи сказились там в Харькове, чи, може, нарочно, что это такое делается,— каждый день к нам новенькие.

Новенькие и меня удручали. Разбавляя наш коллектив, они мешали сохранить горьковскую колонию в полной чистоте и силе. А нашим небольшим отрядом нужно было ударить по толпе в триста человек.

Подготовляясь к борьбе с Куряжем, я расечитывал на один молниеносный удар,— куряжан надо было взять сразу. Всякая оттяжка, надежды на эволюцию, всякая ставка на «постепенное проникновение» обращали всю нашу операцию в сомнительное дело. Я хорошо знал, что «постепенно проникать» будут не только наши формы, традиции, тон, но и традиции куряжской анархии. Харьковские мудрецы, настаивая на «постепенном проникновении», собственно говоря, сидели на старых, кустарной работы, стульях: хорошие мальчики будут полезно влиять на плохих мальчиков. А мне уже было известно, что самые первосортные мальчики в рыхлых организационных формах коллектива очень легко превращаются в диких звереньшей. С «мудрецами» я не вступал в открытый спор, арифметически точно подсчитывая, что решительный удар окончится раньше, чем начнется разная постепенная возня. Но новенькие мне мешали. Умный Кудлатый понимал, что их нужно подготовить к перевозке в Куряж с такой же заботой, как и все наше хозяйство.

Поэтому, выезжая в Куряж во главе «передового сводного отряда», я не мог не оглядываться назад с большим беспокойством. Калина Иванович, хоть и обещал руководить хозяйством до самого последнего момента, был так подавлен и ошеломлен предстоящей разлукой, что был способен только топтаться среди колонистов, с трудом вспоминая отдельные детали хозяйства и немедленно забывая о них в приливе горькой старческой обиды. Колонисты бережно и любовно выслушивали распоряжения Калины Ивановича, отвечали подчеркнутым

салютом и бодрой готовностью «есть», но на рабочих местах быстро вытряхивали из себя неудобное чувство жалости к старику и начинали собственную самоделковую заботу.

Во главе колонии я оставлял Коваля, который больше всего боялся, что его «обдурит» коммуна имени Луначарского, принимающая от нас усадьбу, засеянные поля и мельницу. Представители коммуны уже мелькали между частями колонистской машины, и рыжая борода председателя Нестеренко уже давно недоверчиво посматривала на Коваля. Оля Воронова не любила дипломатических дуэлей этих двух людей и уговаривала Нестеренко:

— Нестеренко, иди домой. Чего ты боишься? Никаких мошенников здесь нет. Иди домой, тебе говорю!

Нестеренко хитро улыбается одними глазами и кивает на краснеющего сердитого Коваля:

— Ты знаешь, Олечка, этого человека? Он же куркуль. Он от природы куркуль...

Коваль еще больше смущается и пламенеет и с трудом, но упрямо выговаривает:

— А ты думал, как? Сколько здесь хлопцы труда положили, а я тебе даром отдам? За что? Потому что ты луначарский? Животы вон понаедали, а все незаможниками прикидываетесь!.. Заплатите!..

— Да ты подумай: чем я тебе заплачу?

— Чего я буду про это думать? Ты чем думал, когда я тебя спрашивал: сеять? Ты тогда таким барином задавался: сейте! Ну, вот плати! И за пшеницу, и за жито, и за буряк...

Наклонив вбок голову, Нестеренко развязывает кисет с махоркой, чутко разыскивает что-то на дне кисета и улыбается виновато:

— Это верно, справедливо, конешно ж... семена... А зачем же за работу требовать? Могли ж бы хлопцы, так сказать, поробыть для общества...

Коваль свирепо срывается со стула и, уже на выходе, оборачивается, горячий, как в лихорадке:

— С какой стати, дармоеды чертовы? Что вы — больные? Коммунары называетесь, а на детский труд рты раззявили... Не заплатите — гончаровцам отдам!

Оля Воронова прогоняет Нестеренко домой, а через

четверть часа уже шепчется в саду с Ковалем, с чисто женским талантом примиряя в себе противоречивые симпатии к колонии и коммуне. Колония для Оли — родная мать, а в коммуне она открыто верховодит, побеждая мужчин широкой агрономической ухваткой, унаследованной от Шере, привлекая женщин настойчиво-язвительной проповедью бабьей эмансипации, а для тяжелых конъюнктур и случаев пользуясь тараном, составленным из двух десятков парубков и девчат, идущих за нею, как за Орлеанской девой. Она забирала за живое культурой, энергией, бодрой верой, и Коваль, глядя на нее, гордился коротко:

— Нашей работы!

Оля гордилась щедрым подарком, который колония имени Горького оставляла луначарцам в виде упорядоченного имения на полном полевом шестиполье, а для нас этот подарок был хозяйственной катастрофой. Нигде так не ощущается великое значение заложенного в прошлом труда, как в сельском хозяйстве. Мы очень хорошо знали, чего это стоит вывести сорняки, организовать севооборот, приладить, оборудовать каждую деталь, сберечь, сохранить в чистоте каждый элементик медленного, невидного, многодневного процесса. Настоящее наше богатство располагалось где-то глубоко, в переплетении корней растений, в обжитых и философски обработанных стойлах, в сердцевине вот этих, таких простых, колес, оглобель, штурвалов, крыльев. И теперь, когда многое нужно было бросить, а многое вырвать из общей гармонии и втиснуть в тесноту жарких товарных вагонов, становилось понятным, почему таким зеленовато-грустным сделался Шере, почему в его движениях появилось что-то, напоминавшее погорельца.

Впрочем, печальное настроение не мешало Эдуарду Николаевичу методически спокойно приготовлять свои драгоценности к путешествию, и, уезжая в Харьков с передовым сводным, я без душевной муки обходил его поникшую фигуру. Вокруг нас слишком радостно и хлопотливо, как эльфы, кружились колонисты.

Отбивали счастливейшие часы моей жизни. Я теперь иногда грустно сожалею, почему в то время я не остановился с особенным благоговейным вниманием, почему я не заставил себя крепко-пристально глянуть в глаза пре-

красной жизни, почему не запомнил на веки вечные и огни, и линии, и краски каждого мгновения, каждого движения, каждого слова.

Мне тогда казалось, что сто двадцать колонистов — это не просто сто двадцать беспризорных, нашедших для себя дом и работу. Нет, это сотня этических напряжений, сотня музыкально настроенных энергий, сотня благодатных дождей, которых сама природа, эта напыщенная самодурная баба, и та ожидает с нетерпением и радостью.

В те дни трудно было увидеть колониста, проходящего спокойным шагом. Все они приобрели привычку перебегать с места на место, перепархивать, как ласточки, с таким же деловым щебетаньем, с такой же ясной, счастливой дисциплиной и красотой движения. Был момент, когда я даже согрешил и подумал: для счастливых людей не нужно никакой власти, ее заменит вот такой радостный, такой новый, такой человеческий инстинкт, когда каждый человек точно будет знать, что ему нужно делать и как делать, для чего делать.

Были такие моменты. Но меня быстро низвергали с анархических высот реплики какого-нибудь Алешки Волкова, недовольно обращающего пятнистое лицо к месту тревоги:

— Что же ты, балда, делаешь? Какими гвоздями ты этот ящик сбиваешь? Может, ты думаешь, трехдюймовые гвозди на дороге валяются?

Энергичный, покрасневший пацан бессильно опускает молоток и растерянно почесывает молотком голую пятку:

— А? А сколькадюймовые?

— Для этого есть старые гвозди, понимаешь, бывшие в употреблении. Стой! А где ты этих набрал... трехдюймовых?

Итак... началось! Волков уже стоит над душой пацана и гневно анализирует его существо, неожиданно оказавшееся в противоречии с идеей новых трехдюймовых гвоздей.

Да. Есть еще трагедии в мире!

Немногие знают, что такое гвозди, бывшие в употреблении!

Их нужно при помощи разных хитрых приспособлений выдергивать из старых досок, из разломанных,

умерших вещей, и выходят оттуда гвозди ревматически кривые, ржавые, с исковерканными шляпками, с испорченными остриями, часто согнувшиеся вдвое, втрое, часто завернутые в штопоры и узлы, которые, кажется, и нарочно не сделает самый талантливый слесарь. Их нужно выправлять молотками на куске рельса, сидя на корточках и часто попадая молотком не по гвоздю, а по пальцам. А когда потом заколачивают старые гвозди в новое дело, они гнутся, ломаются и лезут не туда, куда нужно. Может быть, поэтому горьковские пацаны с отвращением относятся к старым гвоздям и совершают подозрительные аферы с новыми, кладя начало следственным процессам и опорочивая большое, радостное дело похода на Куряж.

Да разве одни гвозди? Все эти некрашеные столы, скамьи самого мелкобуржуазного фасона — «ослоны», мириады разных табуреток, старых колес, сапожных колодок, изношенных шерхебелей, истрепанных книг,— вся эта накипь скопидомной оседлости и хозяйственного глаза оскорбляла наш героический поход... А бросить жалко.

И новенькие! У меня начинали болеть глаза, когда я встречал их плохо сшитые, чужие фигуры. Не оставить ли их здесь, не подкинуть ли их какому-нибудь бедному детскому дому, всучив ему взятку в виде пары поросят или десятка кило картошки? Я то и дело пересматривал их состав и раскладывал его на кучки, классифицируя с точки зрения социально-человеческой ценности. Мой глаз в то время был уже достаточно набит, и я умел с первого взгляда, по внешним признакам, по неуловимым гримасам физиономии, по голосу, по походке, еще по каким-то мельчайшим завиткам личности, может быть, даже по запаху, сравнительно точно предсказывать, какая продукция может получиться в каждом отдельном случае из этого сырья.

Вот, например, Олег Огнев. Взять его с собой в Куряж или не стоит? Нет, этого бросить нельзя. Это редкая и интересная марка. Олег Огнев — авантюрист, путешественник и нахал, по всей вероятности, потомок древних норманнов, такой же, как они, высокий, долговязый, белобрысый. Может быть, между ним и его варяжскими предками стояло несколько поколений хороших

российских интеллигентов, потому что у Олега высокий чистый лоб и от уха до уха растянувшийся умный рот, живущий в крепком согласии с ловкими, бодрыми серыми глазами. Олег попался на какой-то афере с почтовыми переводами, и поэтому его ввергли в колонию в сопровождении двух милиционеров. Олег Огнев весело и добродушно шагал между ними, любопытно присматриваясь к собственному ненадежному будущему. Освобожденный наконец от стражи Олег с вежливым, серьезным вниманием выслушал мои первые заповеди, приветливо познакомился с старшими колонистами, удивленно-радостно воззрился на пацанов и, остановившись посреди двора, расставил тонкие ноги и засмеялся:

— Так вот это какая колония? Максима Горького? Ну, смотри ты! Надо, значит, попробовать...

Его поместили в восьмой отряд, и Федоренко недоверчиво прищурил на него один глаз:

— Та, мабуть же, ты до работы... не то... не дуже горячий! Ага ж? И пиджачок у тебя мало подходящий... знаешь...

Олег с улыбкой рассмотрел свой франтовской пиджак, попеременно подымая его полы, и весело глянул в лицо командиру:

— Это, знаешь, ничего, товарищ командир. Пиджачок не помешает. А хочешь, я тебе его подарю?

Федоренко закатился смехом, закатились и другие богатыри восьмого отряда.

— А ну, давай посмотрим, как оно будет?

До вечера походил Федоренко в куцем пиджаке Олега, потешая колонистов еще невиданным у нас шиком, но вечером возвратил пиджачок владельцу и сказал строго:

— Эту штуку спрячь подальше, а надевай вот голошейку, завтра за сеялкой погуляешь.

Олег удивленно посмотрел на командира, ехидно посмотрел на пиджачок:

— Не ко двору, значит, эта хламида?

Наутро он был в голошейке и иронически бубнил про себя:

— Пролетарий! Надо будет погулять за сеялкой... Новое, выходит, дело!

В новом деле у Олега все не ладилось. Сеялка почему-то мало ему соответствовала, и гулял за ней он печально, спотыкаясь на кочках, то и дело прыгая на одной ноге в неловком усилии вытащить занозу. С сошниками сеялки он не справлялся на ходу и через каждые три минуты кричал передовому:

— Сеньор, придержите ваших скотов, у нас здесь маленький карамболь!..

Федоренко переменил Олегу трудовую нагрузку, поручив ему вести вторую пару, с бороной, но через полчаса он догнал Федоренко и обратился к нему с вежливой просьбой:

— Товарищ командир, знаете что? Моя сидит!

— Кто сидит?

— Моя лошадь сидит! Обратите внимание: села, знаете, и сидит. Поговорите с нею, пожалуйста!

Федоренко спешит к рассевшейся Мэри и возмущается:

— От черт!.. Как тебя угораздило?! Запутал все на свете! Чего эта барка[1] сюда попала?

Олег честно старается наладить хозяйственную эмоцию:

— Понимаешь, мухи какие-то летают, что ли!.. Села и сидит, когда нужно работать, правда?

Мэри из-за налезающего на уши хомута злобно поглядывает на Олега, сердится и Федоренко:

— Сидит... Разве кобыла может сидеть? Погоняй!..

Олег берется за повод и орет на Мэри:

— Но!

Федоренко хохочет:

— Чего ты кричишь «но»? Хиба ты извозчик?

— Видишь ли, товарищ командир...

— Да чего ты заладил: товарищ командир...

— А как же?

— Как же... Есть у меня имя?

— Ага!.. Видишь ли, товарищ Федоренко, я, конечно, не извозчик, но, поверьте, в моей жизни первый случай близкого общения с Мэри. У меня были знакомые, тоже Мэри... ну, так с теми, конечно, иначе, потому, знаете... здесь же эти самые «барки», «хомуты»...

[1] Барка — палка, к которой прикрепляются постромки.

Федоренко дико смотрит спокойными сильными глазами на изысканно-поношенную фигуру варяга и плюет:

— Не болтай языком, смотри за упряжкой!

Вечером Федоренко разводит руками и не спеша набрасывает приговор:

— Куды ж он к черту годится? Пирожное лопать, за барышнями ходить... Он к нам, я так полагаю, неподходящий. И я так скажу: не нужно везти его в Куряж.

Командир восьмого серьезно-озабоченно смотрит на меня, ожидая санкции своему приговору. Я понимаю, что проект принадлежит всему восьмому отряду, который отличается, как известно, массивностью убеждений и требований к человеку. Но я отвечаю Федоренко:

— Огнева мы в Куряж возьмем. Ты там растолкуй в отряде, что из Огнева нужно сделать трудящегося человека. Если вы не сделаете, так и никто не сделает, и выйдет из Огнева враг советской власти, босяк выйдет. Ты же понимаешь?

— Та я понимаю,— говорит Федоренко.

— Так ты там растолкуй, в отряде...

— Ну, что ж, придется растолковать,— с готовностью соглашается Федоренко, но с такой же готовностью его рука подымается к тому заветному месту, где у нашего брата, славянина, помещаются проклятые вопросы.

Итак, Олег Огнев едет. А Ужиков? Отвечаю категорически и со злостью: Аркадий Ужиков не должен ехать, и вообще — ну его к черту! На всяком другом производстве, если человеку подсунут такое негодное сырье, он составит десятки комиссий, напишет десятки актов, привлечет к этому делу и НКВД, и всякий контроль, в крайнем случае обратится в «Правду», а все-таки найдет виновника. Никто не заставляет делать паровозы из старых ведер или консервы из картофельной шелухи. А я должен сделать не паровоз и не консервы, а настоящего советского человека. Из чего? Из Аркадия Ужикова?

С малых лет Аркадий Ужиков валяется на большой дороге, и все колесницы истории и географии прошлись по нем коваными колесами. Его семью рано бросил отец. Пенаты Аркадия украсились новым отцом, что-то изображавшим в балагане деникинского правительства.

Вместе с этим правительством новый папаша Ужикова и все его семейство решили покинуть пределы страны и поселиться за границей. Взбалмошная судьба почему-то предоставила для них такое неподходящее место, как Иерусалим. В этом городе Аркадий Ужиков потерял все виды родителей, умерших не столько от болезней, сколько от человеческой неблагодарности, и остался в непривычном окружении арабов и других национальных меньшинств. По истечении времени настоящий папаша Ужикова, к этому времени удовлетворительно постигший тайны новой экономической политики и поэтому сделавшийся членом какого-то комбината, вдруг решил изменить свое отношение к потомству. Он разыскал своего несчастного сына и ухитрился так удачно использовать международное положение, что Аркадия погрузили на пароход, снабдили даже проводником и доставили в одесский порт, где он упал в объятия родителя. Но уже через два месяца родитель пришел в ужас от некоторых ярких последствий заграничного воспитания сына. В Аркадии удачно соединились российский размах и арабская фантазия,— во всяком случае, старый Ужиков был ограблен начисто. Аркадий спустил на толкучке не только фамильные драгоценности: часы, серебряные ложки и подстаканники, не только костюмы и белье, но и некоторую мебель, а сверх того умело использовал служебную чековую книжку отца, обнаружив в своем молодом автографе глубокое родственное сходство с замысловатой отцовской подписью.

Те же самые могучие руки, которые так недавно извлекли Аркадия из окрестностей гроба господня, теперь вторично были пущены в ход. В самый разгар наших боевых сборов европейски вылощенный, синдикатно-солидный Ужиков-старший, не очень еще и поношенный, уселся против меня на стуле и обстоятельно изложил биографию Аркадия, закончив чуть-чуть дрогнувшим голосом:

— Только вы можете возвратить мне сына!

Я посмотрел на сына, сидящего на диване, и он мне так сильно не понравился, что мне захотелось возвратить его расстроенному отцу немедленно. Но отец вместе с сыном привез и бумажки, а спорить с бумажками мне было не под силу. Аркадий остался в колонии.

Он был высокого роста, худ и нескладен. По бокам его ярко-рыжей головы торчат огромные прозрачно-розовые уши, безбровое, усыпанное крупными веснушками лицо все стремится куда-то вниз,— тяжелый, отекший нос слишком перевешивает все другие части лица. Аркадий всегда смотрит исподлобья. Его тусклые глаза, вечно испачканные слизью желтого цвета, вызывают крепкое отвращение. Прибавьте к этому слюнявый, никогда не закрывающийся рот и вечно угрюмую, неподвижную мину.

Я знал, что колонисты будут его бить в темных углах, толкать при встречах, что они не захотят спать с ним в одной спальне, есть за одним столом, что они возненавидят его той здоровой человеческой ненавистью, которую я в себе самом подавлял только при помощи педагогического усилия.

Ужиков с первого дня начал красть у товарищей и мочиться в постель. Ко мне пришел Митька Жевелий и серьезно спросил, сдвигая черные брови:

— Антон Семенович, нет, вы по-хорошему скажите: для чего такого возить? Смотрите: из Иерусалима в Одессу, из Одессы в Харьков, из Харькова сюда, а потом в Куряж? Для чего его возить? Разве нет других грузов? Нет, вы скажите...

Я молчу. Митька ожидает терпеливо моего ответа и хмурит брови в сторону улыбающегося Лаптя; потом он начинает снова:

— Я таких ни разу не видел. Его нужно... так... стрихнина дать или шарик из хлеба сделать и той... булавками напихать и бросить ему.

— Так он не возьмет! — хохочет Лапоть.

— Кто? Ужиков не возьмет? Вот нарочно давай сделаем, слопает... Ты знаешь, какой он жадный! А ест как! Ой, не могу вспомнить!..

Митька брезгливо вздрагивает. Лапоть смотрит на него, страдальчески подымая щеки к глазам. Я тайно стою на их стороне и думаю: «Ну, что делать?.. Ужиков приехал с такими бумажками...»

Хлопцы задумались на деревянном диване. В двери кабинета заглядывает чистая, улыбающаяся мордочка Васьки Алексеева, и Митька моментально разгорается радостью:

— Вот таких давайте хоть сотню!.. Васька, иди сюда!

Васька покрывается румянцем и осторожно подносит к Митьке стыдливую улыбку и неотрывно-влюбленные глазенки, склоняется на Митькины колени и вдруг выдыхает свое чувство одним непередаваемым полувздохом, полустоном, полусмехом:

— Гхм...

Васька Алексеев пришел в колонию по собственному желанию, пришел заплаканный и ошеломленный хулиганством жизни. Он попал прямо на заседание совета командиров в бурный дождливый вечер. Метеорологическая обстановка, казалось бы, совершенно неблагоприятная, послужила все-таки причиной Васькиной удачи, ибо в хорошую погоду Ваську, пожалуй, и в дом не пустили бы. А теперь командир сторожевого сводного ввел его в кабинет и спросил:

— Куда этого девать? Стоит под дверями и плачет, а там дождь.

Командиры прекратили текущие прения и воззрились на пришельца. Всеми имеющимися в его распоряжении способами — рукавами, пальцами, кулаками, полами и шапкой — он быстро уничтожил выражение горя и замигал влажными глазами на Ваньку Лаптя, сразу признав в нем председателя. У него хорошее краснощекое лицо, а на ногах аккуратные деревенские вытяжки, только старая куцая суконная курточка не соответствует его общей добротности. Лет ему тринадцать...

— Ты чего? — спросил строго Лапоть.

— В колонию,— ответил серьезно пацан.

— Почему?

— Нас отец бросил, а мать говорит: иди, куда хочешь...

— Как это так? Мать такого не может сказать.

— Так мать не родная...

Лаптя только на мгновение затрудняет это новое обстоятельство.

— Стой... Как же это?.. Ну да, не родная. Так отец должен тебя взять. Обязан, понимаешь?..

У пацана снова заблестели горькие слезы, и он снова хлопотливо занялся их уничтожением, приготовляясь говорить. Острые глаза командиров заулыбались, отмечая оригинальную манеру просителя. Наконец проситель сказал с невольным вздохом:

— Так отец... отец тоже не родной.

На мгновение в совете притихли и вдруг разразились высоким громким хохотом. Лапоть даже прослезился от смеха:

— В трудный переплет попал, брат... Как же так вышло?

Проситель просто и без кокетства, не отрываясь взглядом от веселой морды Лаптя, рассказал, что его зовут Васькой, а фамилия Алексеев. Отец, извозчик, бросил их семью и «кудысь подався», а мать вышла за портного. Потом мать начала кашлять и в прошлом году умерла, а портной «взял и женился на другой». А теперь, «саме на пасху», он поехал в Конград и написал, что больше не приедет. И пишет: «Живите, как хотите».

— Придется взять,— сказал Кудлатый.— Только, собственно говоря, может, ты брешешь? А? Кто тебя научил?

— Научил? Та там... один человек... живет там... так он научил: говорит, там хлопцы живут и хлеб сеют.

Так и приняли Ваську Алексеева в колонию. Он скоро сделался общим любимцем, и вопрос о возможности обойтись в Куряже без Васьки даже не поднимался в наших кулуарах. Не поднимался он еще и потому, что Васька принят был советом командиров, следовательно с полным правом мог считаться «принцем крови».

В числе новеньких были и Марк Шейнгауз и Вера Березовская.

Марка Шейнгауза прислала одесская комиссия по делам о несовершеннолетних за воровство, как значилось в препроводительной бумажке. Прибыл он с милиционером, но, только бросив на него первый взгляд, я понял, что комиссия ошиблась: человек с такими глазами украсть не может. Описать глаза Марка я не берусь. В жизни они почти не встречаются, их можно найти только у таких художников, как Нестеров, Каульбах, Рафаэль, вообще же они приделываются только к святым лицам, предпочтительно к лицам мадонн. Как они попали на физиономию бедного еврея из Одессы, почти невозможно понять. А Марк Шейнгауз был по всем признакам беден: его худое шестнадцатилетнее тело было едва прикрыто, на ногах дырявились неприличные остатки обуви, но лицо Марка было чистое, умытое, и кудрявая голова

причесана. У Марка были такие густые, такие пушистые ресницы, что при взмахе их казалось, будто они делают ветер.

Я спросил:

— Здесь написано, что ты украл. Неужели это правда?

Святая черная печаль огромных глаз Марка заструилась вдруг почти ощутимой струей. Марк тяжело взметнул ресницами и склонил грустное худенькое бледное лицо:

— Это правда, конечно... Я... да, украл...

— С голоду?

— Нет, нельзя сказать, чтобы с голоду. Я украл не с голоду.

Марк по-прежнему смотрел на меня серьезно, печально и спокойно-пристально.

Мне стало стыдно: зачем я допытываю уставшего, грустного мальчика. Я постарался ласковее ему улыбнуться и сказал:

— Мне не следует напоминать тебе об этом. Украл и украл. У человека бывают разные несчастья, нужно о них забывать... Ты учился где-нибудь?

— Да, я учился. Я окончил пять групп, я хочу дальше учиться.

— Вот прекрасно! Хорошо!.. Ты назначаешься в четвертый отряд Таранца. Вот тебе записка, найдешь командира четвертого Таранца, он все сделает, что следует.

Марк взял листок бумаги, но не пошел к дверям, а замялся у стола:

— Товарищ заведующий, я хочу вам сказать одну вещь, я должен вам сказать, потому что я ехал сюда и все думал, как я вам скажу, а сейчас я уже не могу терпеть...

Марк грустно улыбнулся и смотрел прямо мне в глаза умоляющим взглядом.

— Что такое? Пожалуйста, говори...

— Я был уже в одной колонии, и нельзя сказать, чтобы там было плохо. Но я почувствовал, какой у меня делается характер. Моего папашу убили деникинцы, и я комсомолец, а характер у меня делается очень нежный. Это очень нехорошо, я же понимаю. У меня должен быть большевистский характер. Меня это стало очень мучить.

Скажите, вы не отправите меня в Одессу, если я скажу настоящую правду?

Марк подозрительно осветил мое лицо своими замечательными глазищами.

— Какую бы правду ты мне ни сказал, я тебя никуда не отправлю.

— За это вам спасибо, товарищ заведующий, большое спасибо! Я так и подумал, что вы так скажете, и решился. Я подумал потому, что прочитал статью в газете «Вісти» под заглавием: «Кузница нового человека»,— это про вашу колонию. Я тогда увидел, куда мне нужно идти, и я стал просить. И сколько я ни просил, все равно ничего не помогло. Мне сказали: эта колония вовсе для правонарушителей, чего ты туда поедешь? Так я убежал из той колонии и пошел прямо в трамвай. И все так быстро сделалось, вы себе представить не можете: я только в карман залез к одному, и меня сейчас же схватили и хотели бить. А потом повели в комиссию.

— И комиссия поверила твоей краже?

— А как же она могла не поверить? Они же люди справедливые, и были даже свидетели, и протокол, и все в порядке. Я сказал, что и раньше лазил по карманам.

Я открыто засмеялся. Мне было приятно, что мое недоверие к приговору комиссии оказалось основательным. Успокоенный Марк отправился устраиваться в четвертом отряде.

Совершенно иной характер был у Веры Березовской.

Дело было зимой. Я выехал на вокзал проводить Марию Кондратьевну Бокову и передать через нее в Харьков какой-то срочный пакет. Марию Кондратьевну я нашел на перроне в состоянии горячего спора со стрелком железнодорожной охраны. Стрелок держал за руку девушку лет шестнадцати, в калошах на босу ногу. На ее плечи была наброшена старомодная короткая тальма, вероятно, подарок какого-нибудь доброго древнего существа. Непокрытая голова девицы имела ужасный вид: всклокоченные белокурые волосы уже перестали быть белокурыми, с одной стороны за ухом они торчали плотной, хорошо свалянной подушкой, на лоб и щеки выходили темными, липкими клочьями. Стараясь вырваться из рук стрелка, девушка просторно улыбалась,— она была очень хороша собой. Но в смеющихся, живых глазах я

успел поймать тусклые искорки беспомощного отчаяния слабого зверька. Ее улыбка была единственной формой ее защиты, ее маленькой дипломатией.

Стрелок говорил Марии Кондратьевне:

— Вам хорошо рассуждать, товарищ, а мы с ними сколько страдаем. Ты на прошлой неделе была в поезде? Пьяная... была?

— Когда я была пьяная? Он все выдумывает,— девушка совсем уже очаровательно улыбнулась стрелку и вдруг вырвала у него руку и быстро приложила ее к губам, как будто ей было очень больно. Потом с тихоньким кокетством сказала:

— Вот и вырвалась.

Стрелок сделал движение к ней, но она отскочила шага на три и расхохоталась на весь перрон, не обращая внимания на собравшуюся вокруг нас толпу.

Мария Кондратьевна растерянно оглянулась и увидела меня:

— Голубчик, Антон Семенович!..

Она утащила меня в сторону и страстно зашептала:

— Послушайте, какой ужас! Подумайте, как же так можно? Ведь это женщина, прекрасная женщина... Ну да не потому, что прекрасная... но так же нельзя!..

— Мария Кондратьевна, чего вы хотите?

— Как чего? Не прикидывайтесь, пожалуйста, хищник!

— Ну, смотри ты!..

— Да, хищник! Всё свои выгоды, всё расчеты, да? Это для вас невыгодно, да? С этой пускай стрелки возятся, да?

— Послушайте, но ведь она проститутка... В коллективе мальчиков?

— Оставьте ваши рассуждения, несчастный... педагог!

Я побледнел от оскорбления и сказал свирепо:

— Хорошо, она сейчас поедет со мной в колонию!

Мария Кондратьевна ухватила меня за плечи:

— Миленький Макаренко, родненький, спасибо, спасибо!..

Она бросилась к девушке, взяла ее за плечи и зашептала что-то секретное. Стрелок сердито крикнул на публику:

— Вы чего рты пораззявили? Что, вам тут кинотеатр? Расходитесь по своим делам!..

Потом стрелок плюнул, передернул плечами и ушел.

Мария Кондратьевна подвела ко мне девушку, до сих пор еще улыбающуюся.

— Рекомендую: Вера Березовская. Она согласна ехать в колонию... Вера, это ваш заведующий,— смотрите, он очень добрый человек, и вам будет хорошо.

Вера и мне улыбнулась:

— Поеду... что ж...

Мы распростились с Марией Кондратьевной и уселись в сани.

— Ты замерзнешь,— сказал я и достал из-под сиденья попону.

Вера закуталась в попону и спросила весело:

— А что я буду там делать, в колонии?

— Будешь учиться и работать.

Вера долго молчала, а потом сказала капризным «бабским» голосом:

— Ой, господи!.. Не буду я учиться, и ничего вы не выдумывайте...

Надвинулась облачная, темная, тревожная ночь. Мы ехали уже полевой дорогой, широко размахиваясь на раскатах. Я тихо сказал Вере, чтобы не слышал Сорока на облучке:

— У нас все ребята и девчата учатся, и ты будешь. Ты будешь хорошо учиться. И настанет для тебя хорошая жизнь.

Она тесно прислонилась ко мне и сказала громко:

— Хорошая жизнь... Ой, темно как!.. И страшно... Куда вы меня везете?

— Молчи.

Она замолчала. Мы въехали в рощу. Сорока кого-то ругал вполголоса,— наверное, того, кто выдумал ночь и тесную лесную дорогу.

Вера зашептала:

— Я вам что-то скажу... Знаете что?

— Говори.

— Знаете что?.. Я беременна...

Через несколько минут я спросил:

— Это ты все выдумала?

— Да нет... Зачем я буду выдумывать?.. Честное слово, правда.

Вдали заблестели огни колонии. Мы опять заговорили шепотом. Я сказал Вере:

— Аборт сделаем. Сколько месяцев?

— Два.

— Сделаем.

— Засмеют.

— Кто?

— Ваши... ребята...

— Никто не узнает.

— Узнают...

— Нет. Я буду знать и ты. И больше никто.

Вера развязно засмеялась:

— Да... Рассказывайте!

Я замолчал. Взбираясь на колонийскую гору, поехали шагом. Сорока слез с саней, шел рядом с лошадиной мордой и насвистывал «Кирпичики». Вера вдруг склонилась на мои колени и горько заплакала.

— Чего это она? — спросил Сорока.

— Горе у нее,— ответил я.

— Наверное, родственники есть,— догадался Сорока.— Это нет хуже, когда есть родственники!

Он взобрался на облучок, замахнулся кнутом:

— Рысью, товарищ Мэри, рысью! Так!

Мы въехали во двор колонии.

Через три дня возвратилась из Харькова Мария Кондратьевна. Я ничего не сказал ей о трагедии Веры. А еще через неделю мы объявили в колонии, что Веру нужно отправить в больницу, у нее плохо с почками. Из больницы она вернулась печально-покорная и спросила у меня тихонько:

— Что мне теперь делать?

Я подумал и ответил скромно:

— Теперь будем понемножку жить.

По ее растерянно-легкому взгляду я понял, что жить для нее самая трудная и непонятная штука.

Разумеется, Вера Березовская едет с нами в Куряж. Выходит так, что едут все, едут и те двадцать новеньких, которых мне подкинул Наркомпрос в последние дни, подкинул в полном безразличии к моим стратегическим планам. Как было бы хорошо, если бы со мной шли на

Куряж только испытанные старые одиннадцать горьковских отрядов. Отряды эти с боем прошли нашу шестилетнюю историю. У них было много общих мыслей, традиций, опыта, идеалов, обычаев. С ними как будто можно не бояться. Как было бы хорошо, если бы не было этих новичков, которые хотя и растворились как будто в отрядах, но я встречаю их на каждом шагу и всегда смущаюсь: они и ходят, и говорят, и смотрят не так, у них еще «третьесортные», плохие лица.

Ничего, мои одиннадцать отрядов имеют вид металлический. Но какая будет катастрофа, если эти одиннадцать маленьких отрядов погибнут в Куряже! Накануне отъезда передового сводного у меня на душе было тоскливо и неразборчиво. А вечерним поездом приехала Джуринская, заперлась со мной в кабинете и сказала:

— Антон Семенович, я боюсь. Еще не поздно, можно отказаться.

— Что случилось, Любовь Савельевна?

— Я вчера была в Куряже. Ужас! Я не могу выносить таких впечатлений. Вы знаете, я была в тюрьме, на фронте,— я никогда так не страдала, как сейчас.

— Да зачем вы так?..

— Я не знаю, не умею рассказывать, что ли. Но вы понимаете: три сотни совершенно отупевших, развращенных, озлобленных мальчиков... это, знаете, какой-то животный, биологический развал... даже не анархия... И эти нищета, вонь, вши!.. Не нужно вам ехать, это мы очень глупо придумали.

— Но позвольте! Если Куряж производит на вас такое гнетущее впечатление, тем более нужно что-то делать.

Любовь Савельевна тяжело вздохнула:

— Ах, долго говорить придется. Конечно, нужно делать, это наша обязанность, но нельзя приносить в жертву ваш коллектив. Вы ему цены не знаете, Антон Семенович. Его нужно беречь, развивать, холить, нельзя швыряться им по первой прихоти.

— Чьей прихоти?

— Не знаю чьей,— устало сказала Любовь Савельевна,— я о вас не говорю: у вас совершенно особая позиция. Но вот что я вам хочу сказать: у вас гораздо больше врагов, чем вы думаете.

— Ну, так что?

— Есть люди, которые будут довольны, если в Куряже вы оскандалитесь.

— Знаю.

— Вот! Давайте действовать серьезно! Давайте откажемся Это еще не трудно сделать.

Я мог только улыбнуться на предложение Джуринской:

— Вы наш друг. Ваше внимание и любовь к нам дороже всякого золота. Но... простите меня: сейчас вы стоите на старой педагогической плоскости.

— Не понимаю.

— Борьба с Куряжем нужна не только для куряжан и для моих врагов, она нужна и для нас, для каждого колониста. Эта борьба имеет реальное значение. Пройдитесь между колонистами, и вы увидите, что отступление уже невозможно.

На другое утро передовой сводный выехал в Харьков. В одном вагоне с нами ехала и Любовь Савельевна.

2. ПЕРЕДОВОЙ СВОДНЫЙ

Во главе передового сводного шел Волохов. Волохов очень скуп на слова, жесты и мимику, но он умеет хорошо выражать свое отношение к событиям или человеку, и отношение его всегда полно несколько ленивой иронии и безмятежной уверенности в себе. Эти качества в примитивных формах присутствуют у каждого хорошего хулигана, но, отграненные коллективом, они сообщают личности благородный сдержанный блеск и глубокую игру. спокойной, непобедимой силы. В борьбе нужны такие командиры, ибо они обладают абсолютной смелостью и абсолютно доброкачественными тормозами. Меня больше всего успокаивало то обстоятельство, что о Куряже и куряжанах Волохов даже не думал. Иногда, вызываемый неугомонной болтовней хлопцев, Волохов дарил неохотно и свою реплику:

— Да бросьте о куряжанах этих! Увидите: из такого теста, как и все.

Это, однако, не мешало Волохову к составу передового сводного отнестись с чрезвычайной внимательностью. Он аккуратно, молчаливо обсасывал каждую кандидатуру и решал коротко:

— Не надо!.. Легкого веса!

Передовой сводный был составлен очень остроумно. Будучи сплошь комсомольским, он в то же время объединял в себе представителей всех главных идей и специальных навыков в колонии. В передовой сводный входили:

1. Витька Богоявленский, которому совет командиров, не желая выступать на фронте с такой богопротивной фамилией, переменил ее на новую, совершенно невиданного шика: Горьковский. Горьковский был худ, некрасив и умен, как фокстерьер. Он был прекрасно дисциплинирован, всегда готов к действию и обо всем имел собственное мнение, а о людях судил быстро и определенно. Главным талантом Горьковского было видеть каждого хлопца насквозь и безошибочно оценивать его настоящую сущность. Вместе с тем Витька никогда не распылялся, и его представление об отдельных людях немедленно им синтезировалось в коллективные образы, в знание групп, линий, различий и типических явлений.

2. Митька Жевелий — старый наш знакомый, самый удачный и красивый выразитель истинного горьковского духа. Митька счастливо вырос и сделался чудесно стройным юношей с хорошо посаженной, ладной головой, с живым чернобрильянтовым взглядом несколько косо разрезанных глаз. В колонии всегда было много пацанов, которые старались подражать Митьке и в манере энергично высказываться с неожиданным коротким жестом, и в чистоте и прилаженности костюма, и в походке, и даже в убежденном, веселом и добродушном патриотизме горьковца. В нашем переезде в Куряж Митька видел важное дело большого политического значения, был уверен, что мы нашли правильные формы «организации пацанов» и для пользы пролетарской республики должны распространять нашу находку.

3. Михайло Овчаренко — довольно глуповатый парень, но прекрасный работник, весьма экспансивно настроенный по отношению к колонии и ее интересам. Миша имел очень запутанную биографию, в которой сам разбирался с большим трудом. Перебывал он почти во всех городах Союза, но из этих городов не вынес никаких знаний и никакого развития. Он с первого дня влюбился в колонию, и за ним почти не водилось проступков.

У Миши было много всякого умения, но ни в одной области он не приобрел квалификации, так как не выносил оседлости ни у одного станка, ни на одном рабочем месте. Зато у него были неоспоримые хозяйственные таланты, способность наладить работу отряда, укладку, перевозку всегда быстро и удачно, пересыпая работу хозяйственным ворчанием и нравоучениями, только потому неутомительными, что от них всегда шел приятный запах Мишиной благонамеренной глупости и неиссякаемой доброты. Миша Овчаренко был сильнее всех в колонии, сильнее даже Силантия Отченаша, и, кажется, Волохов, выбирая Мишу в отряд, имел в виду главным образом это качество.

4. Денис Кудлатый — самая сильная фигура в колонии эпохи наступления на Куряж. Многие колонисты покрывались холодным потом, когда Денис брал слово на общем собрании и упоминал их фамилии. Он умел замечательно сочно и основательно смешать с грязью человека и самым убедительным образом потребовать его удаления из колонии. Страшнее всего было то, что Денис был действительно умен, и его аргументация была часто солидно-убийственна. К колонии он относился с глубокой и серьезной уверенностью в том, что колония вещь полезная, крепко сбитая и налаженная. В его представлении она, вероятно, напоминала хорошо смазанный, исправный хозяйский воз, на котором можно спокойно и не спеша проехать тысячу верст, потом с полчаса походить вокруг него с молотком и мазницей — и снова проехать тысячу верст. По внешнему виду Кудлатый напоминал классического кулака и в нашем театре играл только кулацкие роли, а тем не менее он был первым организатором нашего комсомола и наиболее активным его работником. По-горьковски он был немногословен, относясь к ораторам с молчаливым осуждением, а длинные речи выслушивал с физическим страданием.

5. Евгеньева командир выбрал в качестве необходимой блатной приманки. Евгеньев был хорошим комсомольцем и веселым, крепким товарищем, но в его языке и в ухватках еще живы были воспоминания о бурных временах улицы и реформаториума, а так как он был хороший артист, то ему ничего не стоило поговорить с человеком на его родном диалекте, если это нужно.

6. Жорка Волков, правая комсомольская рука Коваля, выступал в нашем сводном в роли политкома и творца новой конституции. Жорка был природный политический деятель: страстный, уверенный, настойчивый. Отправляя его, Коваль говорил:

— Жорка их там подергает, сволочей, за политические нервы. А то они думают, черт бы их побрал, что они живут в эпоху империализма. Ну, а если до кулаков дойдет, Жорка тоже сзади стоять не будет.

7 и 8. Тоська Соловьев и Ванька Шелапутин — представители младшего поколения. Впрочем, они носили оба красивые волнистые «политики», только Тоська блондин, а Ванька темно-русый. У Тоськи хорошенькая юношеская свежая морда, а у Ваньки курносое ехидно-оживленное лицо.

Наконец девятым номером шел колонист... Костя Ветковский. Возвращение его в колонию произошло самым быстрым, прозаическим и деловым образом. За три дня до нашего отъезда Костя пришел в колонию — худой, синий и смущенный. Его встретили сдержанно, только Лапоть сказал:

— Ну, как там «пронеси господи» поживает?

Костя с достоинством улыбнулся:

— Ну ее к черту! Я там и не был.

— Вот жаль,— сказал Лапоть,— даром стоит, проклятая!

Волохов прищурился на Костю по-приятельски.

— Значит, ты налопался разных интересных вещей по самое горло?

Костя отвечал, не краснея:

— Налопался.

— Ну, а что будет у тебя на сладкое?

Костя громко рассмеялся:

— А вот видишь, буду ожидать совета командиров. Они мастера и на сладкое и на горькое...

— Сейчас нам некогда возиться с твоими меню,— сурово произнес Волохов.— А я вот что скажу: у Алешки Волкова нога растерта, поедешь ты вместо Алешки. Лапоть, как ты думаешь?

— Я думаю: соответствует.

— А совет? — спросил Костя.

— Мы сейчас на военном положении, можно без совета.

Так неожиданно для себя и для нас, без процедур и психологии, Костя попал в передовой сводный. На другой день он ходил уже в колонийском костюме.

С нами ехал еще Иван Денисович Киргизов, новый воспитатель, которого я нарочно сманил с педагогического подвижничества в Пироговке на место уходящего Ивана Ивановича. Непосвященному наблюдателю Иван Денисович казался обыкновенным сельским учителем, а на самом деле Иван Денисович есть тот самый положительный герой, которого так тщательно и давно разыскивает русская литература. Ивану Денисовичу тридцать лет, он добр, умен, спокоен и в особенности работоспособен,— последним качеством герои русской литературы, и отрицательные и положительные, как известно, похвастаться не могут. Иван Денисович все умеет делать и всегда что-нибудь делает, но издали всегда кажется, что ему можно еще что-нибудь поручить. Вы подходите ближе и начинаете различать, что прибавить ничего нельзя, но ваш язык, уже наладившийся на известный манер, быстро перестроиться не умеет, и вы выговариваете, немного все же краснея и заикаясь:

— Иван Денисович, надо... там... упаковать физический кабинет...

Иван Денисович поднимается от какого-нибудь ящика или тетради и улыбается:

— Кабинет? Ага... добре! Ось возьму хлопцив, тай запакуем...

Вы стыдливо отходите прочь, а Иван Денисович уже забыл о вашем изуверстве и ласково говорит кому-то:

— Пиды, голубе, поклычь там хлопцив...

В Харьков мы приехали утром. На вокзале встретил нас сияющий в унисон майскому утру и нашему боевому настроению инспектор наробраза Юрьев. Он хлопал нас по плечам и приговаривал:

— Вот какие горьковцы!.. Здорово, здорово!.. И Любовь Савельевна здесь? Здорово! Так знаете что? У меня машина, заедем за Халабудой, и прямо в Куряж. Любовь Савельевна, вы тоже поедете? Здорово! А ребята пускай дачным поездом до Рыжова. А от Рыжова близко — два километра... там лугом можно пройти. А

вот только... надо же вас накормить, а? Или в Куряже накормят, как вы думаете?

Хлопцы выжидательно посматривали на меня и иронически на Юрьева Их боевые щупальца были наэлектризованы до высшей степени и жадно ощупывали первый харьковский предмет — Юрьева.

Я сказал:

— Видите ли, наш передовой сводный является, так сказать, первым эшелоном горьковцев. Раз мы приедем, пускай и они приедут. Кажется, можно нанять две машины?

Юрьев подпрыгнул от восхищения:

— Здорово, честное слово! Как это у них... все както... по-своему. Ах, какая прелесть! И знаете что? Я нанимаю за счет наробраза! И знаете что? Я поеду с ними... с «хлопцами»...

— Поедем,— показал зубы Волохов.

— Зам-мечательно, зам-мечательно!.. Значит, идем... идем нанимать машины!

Волохов приказал:

— Ступай, Тоська.

Тоська салютнул, пискнул «есть», Юрьев влепился в Тоську восторженным взглядом, потирал руки, танцевал на месте:

— Ну, что ты скажешь, ну, что ты скажешь!..

Он побежал на площадь, оглядываясь на Тоську, который, конечно, не мог быстро забыть о своей солидности члена передового сводного и прыгать по вокзалу.

Хлопцы переглянулись. Горьковский спросил тихо:

— Кто такой... этот чудак?..

Через час три наших авто влетели на куряжскую гору и остановились возле ободранного бока собора. Несколько нестриженых грязных фигур лениво двинулись к машине, волоча по земле длинные истоптанные штанины и без особенного любопытства поглядывая на горьковцев, стройных, как пажи, и строгих, как следователи.

Два воспитателя подошли к нам и, еле скрывая неприязнь, переглянулись между собой.

— Где мы их поместим? Вам можно поставить кровать в учительской, а ребята могут расположиться в спальнях.

— Это неважно. Где-нибудь поместимся. Где заведующий?

Заведующий в городе. Но находится некто в светлосерых штанах, украшенных круглыми масляными пятнами, который с некоторым трудом и воспоминаниями о неправильной очереди соглашается все же объявить себя дежурным и показать нам колонию. Мне смотреть нечего, Юрьев тоже мало интересуется зрительными впечатлениями, Джуринская грустно молчит, а хлопцы, не ожидая официального чичероне, сами побежали осматривать богатства колонии; за ними не спеша поплелся Иван Денисович.

Халабуда затыкал палкой в различные точки небосклона, вспоминая отдельные детали собственной организационной деятельности, перечисляя элементы недвижимого куряжского богатства и приводя все это к одному знаменателю — житу. Хлопцы прибежали обратно, с лицами, перекошенными от удивления. Кудлатый смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет сказать: «Как это вы могли, Антон Семенович, влопаться в такую глупую историю?»

У Митьки Жевелия зло поблескивают глаза, руки в карманах, вокруг себя он оглядывается через плечо; и это презрительное движение хорошо различает Джуринская:

— Что, мальчики, плохо здесь?

Митька ничего не отвечает. Волохов вдруг смеется:

— Я думаю, без мордобоя здесь не обойдется.

— Как это? — бледнеет Любовь Савельевна.

— Придется брать за жабры эту братву,— поясняет Волохов и вдруг берет двумя пальцами за воротник и подводит ближе к Джуринской черненького худого замухрышку в длинном «клифте», но босого и без шапки.

— Посмотрите на его уши.

Замухрышка покорно поворачивается. Его уши действительно примечательны. Это ничего, что они черные, ничего, что грязь в них успела отлакироваться в разных жизненных трениях, но уши эти еще раскрашены буйными налетами кровоточащих болячек, заживающих корок и сыпи.

— Почему у тебя такие уши? — спрашивает Джуринская.

Замухрышка улыбается застенчиво, почесывает ногу о ногу, а ноги у него такие же стильные.

— Короста,— говорит замухрышка хрипло.

— Сколько тебе дней до смерти осталось? — спрашивает Тоська.

— Чего до смерти! Ху, у нас таких сколько, а никто еще не умер!

Колонистов почему-то не видно. В засоренном клубе, на заплеванных лестницах, по забросанным экскрементами дорожкам бродит несколько скучных фигур. В развороченных, зловонных спальнях, куда даже солнцу не удается пробиться сквозь засиженные мухами окна, тоже никого нет.

— Где же колонисты? — спрашиваю я дежурного.

Дежурный гордо отворачивается и говорит сквозь зубы:

— Вопрос этот лишний.

Рядом с нами ходит, не отставая, круглолицый мальчик лет пятнадцати. Я его спрашиваю:

— Ну, как живете, ребята?

Он поднимает ко мне умную мордочку, неумытую, как и все мордочки в Куряже:

— Живем? Какая там жизнь? А вот, говорят, скоро будет лучше, правда?

— Кто говорит?

— Хлопцы говорят, что скоро будет иначе, только, говорят, чуть что, лозинами будут бить?

— Бить? За что?

— Воров бить. Тут воров много.

— Скажи, почему ты не умываешься?

— Так нечем! Воды нету! Электростанция испорчена и воды не качает. И полотенцев нету, и мыла...

— Разве вам не дают?

— Давали раньше... Так покрали все. У нас все крадут. А теперь уже и в кладовой нету.

— Почему?

— Ночью кладовку всю разобрали. Замки сломали и взяли все. Заведующий хотел стрелять...

— Ну?

— Ничего... не стрелял. Он говорит: буду стрелять! А хлопцы сказали: стреляй! Ну, а он не стрелял, а только послал за милицией...

— И что же милиция?

— Не знаю.

— И ты взял что-нибудь в кладовой?

— Нет, я не взял. Я хотел взять штаны, а там были большие, а я когда пришел, так и взял только два ключа, там на полу валялись.

— Давно это было?

— Зимой было.

— Так... Как же твоя фамилия?

— Маликов Петр.

Мы направились к школе. Юрьев молча слушает наш разговор. Отставая от нас, сзади идет Халабуда, и его уже окружили горьковцы: у них удивительный нюх на занятных людей. Халабуда задирает рыжебородое лицо и рассказывает хлопцам о хорошем урожае. За ним тащится и царапает землю толстая суковатая палка.

Наконец заходим в школу. Это бывшая монастырская гостиница, перестроенная помдетом. Единственное здание в колонии, где нет спален: длиннющий коридор и по бокам его длинные узкие классы. Почему здесь школа? Эти комнаты годятся только для спален.

Один из классов, весь заклеенный плакатами и плохими детскими рисунками, нам представляют как пионерский уголок. Видимо, он содержится специально для ревизионных комиссий и политического приличия: нам пришлось подождать не менее получаса, пока нашелся ключ и открыли пионерский уголок.

Мы присели на скамье отдохнуть. Мои ребята притихли. Витька осторожно из-за моего плеча шепчет:

— Антон Семенович, надо спать в этой комнате. Всем вместе. Только кроватей не берите. Там, вы знаете, вшей... алла!

Через Витькины колени наклоняется ко мне Жевелий:

— А хлопцы тут есть ничего. Только воспитателей своих, ну, и не любят же! А работать они так не будут...

— А как?

— Так не будут, чтобы без скандала.

Начинается разговор о порядке сдачи. Из города прикатил на извозчике заведующий. Я смотрю на его тупое бесцветное лицо и думаю: собственно говоря, его даже и под суд нельзя отдавать. Кто посадил на святое место заведующего это жалкое существо?

Заведующий берет воинственный тон и доказывает, что колонию нужно сдавать как можно скорее, что он вообще ни за что не отвечает.

Юрьев спрашивает:

— Как это вы ни за что не отвечаете?

— Да так, воспитанники очень плохо настроены. Могут быть всякие эксцессы. У них ведь и оружие есть.

— А почему же они так настроены плохо? Не вы ли их так настроили?

— Мне нужно настраивать? Они и так понимают, чем тут пахнет. Вы думаете, они не знают? Они все знают!

— Что именно знают?

— Они знают, что их ждет,— говорит выразительно заведующий и еще выразительнее отворачивается к окну, показывая этим, что даже наш вид ничего хорошего не обещает для воспитанников.

Витька шепчет мне на ухо:

— Вот гад, вот гад!..

— Молчи, Витька! — говорю я.— Какие бы здесь эксцессы ни произошли, отвечать за них все равно будете вы, независимо от того, произойдут ли они до сдачи или после сдачи. Впрочем, я тоже прошу о возможно скорейшем окончании всех формальностей.

Мы решаем, что сдача должна произойти завтра, в два часа дня. Весь персонал — одних воспитателей сорок человек — объявляется уволенным и в течение трех дней должен освободить квартиры. Для передачи инвентаря назначается дополнительный срок в пять дней.

— А когда прибудет ваш завхоз?

— У нас нет завхоза. Выделим для приемки одного из наших воспитанников.

— Я воспитаннику не буду сдавать,— начинает топорщиться заведующий.

Меня начинает злить вся эта концентрация глупости. Собственно говоря, что он будет сдавать?

— Знаете что,— говорю я,— для меня, пожалуй, безразлично, будет ли какой-нибудь акт или не будет. Для меня важно, чтобы через три дня из вас здесь не осталось ни одного человека.

— Ага, это значит, чтобы мы не мешали?

— Вот именно!

Заведующий оскорбленно вскакивает, оскорбленно спешит к дверям. За ним спешит дежурный. Заведующий в дверях выпаливает:

— Мы мешать не будем, но вам другие помешают!

Хлопцы хохочут, Джуринская вздыхает, Юрьев что-то смущенно наблюдает на подоконнике, один Халабуда невозмутимо рассматривает плакаты на стене.

— Ну, что же, пожалуй, поедем,— говорит Юрьев.— Завтра мы приедем, Любовь Савельевна?

Джуринская грустно смотрит на меня.

— Не приезжайте,— прошу я.

— А как же?

— Чего вам приезжать? Мне вы ничем не поможете, а время будем убивать на разные разговоры.

Юрьев прощается несколько обиженный. Любовь Савельевна крепко жмет руку мне и хлопцам и спрашивает:

— Не боитесь? Нет?

Они уезжают в город.

Мы выходим во двор. Очевидно, раздают обед, потому что от кухни к спальням несут в кастрюлях борщ. Костя Ветковский дергает меня за рукав и хохочет: Митька и Витька остановили двух ребят, несущих кастрюлю.

— Разве ж так можно делать? — укоряет Митька.— Ну что это за люди! Чи ты не понимаешь, чи ты людоед какой?..

Я не сразу соображаю, в чем дело. Костя двумя пальцами поднимает за рукав одного из куряжских хлебодаров. У него под другой рукой хлеб, корка которого ободрана наполовину. Костя потрясает рукавом смущенного парня: весь рукав в борще, с него течет, он до самого плеча обложен кусочками капусты и бурака.

— А вот! — Костя умирает со смеху. Мы тоже не можем удержаться: в кулаке зажат кусок мяса.

— А другой?

— Тоже! — заливается Митька.— Это они из борща мясо вылавливают... пока донесут... Как же тебе не стыдно, идиот, рукав закатал бы!

— Ой, трудно здесь будет, Антон Семенович! — говорит Костя.

Ребята мои куда-то расползаются. Ласковый майский день наклонился над монастырской горой, но гора не отвечает ему ответной теплой улыбкой. В моем представлении мир разделяется горизонтальной прозрачной плоскостью на две части: вверху пропитанное голубым блеском небо, вкусный воздух, солнце, полеты птиц и гребешки высоких покойных тучек. К краям неба, спустившимся к земле, привешены далекие группы хат, уютные рощицы и уходящая куда-то веселая змейка речки. Черные, зеленые и рыжие нивы, как перед праздником, аккуратно разложены под солнцем. Хорошо все это или плохо, кто его знает, но на это приятно смотреть, это кажется простым и милым, хочется сделаться частью ясного майского дня.

А под моими ногами загаженная почва Куряжа, старые стены, пропитанные запахом пота, ладана и клопов, вековые прегрешения попов и кровоточащая грязь беспризорщины. Нет, это, конечно, не мир, это что-то иное, это как будто выдумано!

Я брожу по колонии, ко мне никто не подходит, но колонистов как будто становится больше. Они наблюдают за мной издали. Я захожу в спальни. Их очень много, я не в состоянии представить себе, где, наконец, нет спален, сколько десятков домов, домиков, флигелей набито спальнями. В спальнях сейчас много колонистов. Они сидят на скомканных грудах тряпья или на голых досках и железных полосках кроватей. Сидят, заложив руки между изодранных колен, и переваривают пищу. Кое-кто истребляет вшей, по углам группы картежников, по другим — доедают холодный борщ из закопченных кастрюль. На меня не обращают никакого внимания, я не существую в этом мире.

В одной из спален я спрашиваю группу ребят, которые, к моему удивлению, рассматривают картинки в старой «Ниве»:

— Объясните, пожалуйста, ребята, куда подевались ваши подушки?

Все подымают ко мне лица. Остроносый мальчик свободно подставляет моему взгляду тонкую ироническую физиономию:

— Подушки? Вы будете товарищ Макаренко? Да? Антон Семенович?

— Да.

— Это вы здесь ходите, смотрите?

— Хожу, смотрю.

— Завтра с двух часов...

— Да, с двух часов,— перебиваю я,— а все-таки ты не ответил на мой вопрос: где ваши подушки?

— Давайте мы вам расскажем, хорошо?

Он мило кивает головой и освобождает место на заплатанном грязном матраце. Я усаживаюсь.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

— Ваня Зайченко.

— Ты грамотный?

— Я был в четвертой группе в прошлом году, а в эту зиму... да вы, наверное, знаете... у нас занятий не было.

— Ну, хорошо... Так где подушки и простыни?

Ваня с разгоревшимся юмором в серых глазах быстро оглядывает товарищей и пересаживается на стол. Его лохматый рыжий ботинок упирается в мое колено. Товарищи тесно усаживаются на кровати. Среди них я вдруг узнаю круглолицего Маликова.

— И ты здесь?

— Угу... Это наша компания! Это Тимка Одарюк, а это Илья... Фонаренко Илья!

Тимка рыжий, в веснушках, глаза без ресниц и улыбка без предрассудков. Илья — толстомордый, бледный, в прыщах, но глаза настоящие: карие, на тугих, основательных мускулах. Ваня Зайченко через головы товарищей оглядывает почти пустую спальню и начинает приглушенным, заговорщицким голосом:

— Вы спрашиваете, где подушки, да? А я вам скажу прямо: нету подушек, и все!

Он вдруг звонко смеется и разводит растопыренными пальцами. Смеются и остальные.

— Нам здесь весело,— говорит Зайченко,— потому что смешно очень! Подушек нету... Были сначала, а потом... ффу... и нету!..

Он снова хохочет.

— Рыжий лег спать на подушке, а проснулся без подушки... ффу... и нету!..

Зайченко веселыми щелочками глаз смотрит на Одарюка. В смехе он отклоняется назад и сильнее толкает ногой мое колено.

— Антон Семенович, вы скажите: чтобы были подушки, надо все записывать, правда? Считать нужно и записывать, правда? И когда кому выдали, и все. А у нас не только подушки, а и людей никто не записывает... Никто!.. И не считают... Никто!..

— Как это так?

— А очень просто: так! Вы думаете, кто-нибудь записал, что здесь живет Илья Фонаренко? Никто! Никто и не знает! И меня никто не знает. О! Вы знаете, вы знаете?.. У нас много таких: здесь живет, а потом пойдет где-нибудь еще поживет, а потом опять сюда приходит. А смотрите: думаете, Тимку сюда кто-нибудь звал? Никто! Сам пришел и живет.

— Значит, ему здесь нравится?

— Нет, он сюда пришел две недели назад. Он убежал из Богодуховской колонии. Он, знаете, захотел в колонию Горького.

— А разве в Богодухове знают?

— Ого! Все знают! А как же!

— Почему он только один прибежал сюда?

— Так кому что нравится, конечно. Многим ребятам не нравится строгость. У вас, говорят, строгость такая: есть, труба заиграла — бегом, вставать — раз, два, три. Видите? А потом — работать. У нас тоже хлопцы такого не хотят...

— Они поубегают,— сказал Маликов.

— Куряжане?

— Угу. Куряжане поубегают. На все стороны. Они так говорят: «Макаренко еще не видели? Ему награды получать нужно, а нам работать?» Они поубегают все.

— Куда?

— Разве мало куда? Ого! В какую хочешь колонию.

— А вы?

— Ну, так у нас компания,— весело заспешил Зайченко.— Нас компания четыре человека. Вы знаете что? Мы не крадем. Мы не любим этого. И все! Вот Тимка... ну, так и то для себя ни за что, а для компании...

Тимка добродушно краснеет на кровати и старается посмотреть на меня сквозь стыдливые, закрывающиеся веки.

— Ну, компания, до свиданья,— говорю я.— Будем, значит, жить вместе!

Все отвечают мне: «До свиданья» и улыбаются.

Я иду дальше. Итак, четверо уже на моей стороне. Но ведь, кроме них, еще двести семьдесят шесть, может быть и больше. Зайченко, вероятно, прав: здесь люди незаписанные и несчитанные. Я вдруг прихожу в ужас перед этой страшной, несчитанной цифрой. Как я мог так легкомысленно броситься в это совершенно губительное дело? Как я мог рискнуть не только моей удачей, но жизнью целого коллектива? Пока это число «280» представлялось мне в виде трех цифр, написанных на бумаге, моя сила казалась мне могучей, но вот сегодня, когда эти двести восемьдесят расположились грязным лагерем вокруг моего ничтожного отряда мальчиков, у меня начинает холодеть где-то около диафрагмы, и даже в ногах я начинаю ощущать неприятную тревожную слабость.

Посреди двора ко мне подошли трое. Им лет по семнадцати, их головы даже пострижены, на ногах исправные ботинки. Один в сравнительно новом коричневом пиджаке, но под пиджаком испачканная какой-то снедью, измятая рубаха; другой — в кожанке, третий — в чистой белой рубахе. Обладатель пиджака заложил руки в карманы брюк, наклонил голову к плечу и вдруг засвистел мне в лицо известный вихляющий «одесский» мотив, выставляя напоказ белые красивые зубы. Я заметил, что у него большие мутные глаза и рыжие мохнатые брови. Двое других стояли рядом, обнявши друг друга за плечи, и курили папиросы, перебрасывая их языком из одного угла рта в другой. К нашей группе придвинулось несколько куряжских фигур.

Рыжий прищурил один глаз и сказал громко:

— Макаренко, значит, да?

Я остановился против него и ответил спокойно, стараясь из всех сил ничего не выразить на своем лице:

— Да, это моя фамилия. А тебя как зовут?

Рыжий, не отвечая, засвистел снова, пристально меня разглядывая прищуренным глазом и пошатывая одной ногой. Вдруг он круто повернул спиной, поднял плечи и, продолжая свистеть, пошел прочь, широко расставляя ноги и роясь глубоко в карманах. Его приятели направились за ним, как и раньше, обнявшись, и затянули оглушительно:

Гулял, гулял мальчишка,
Гулял я в городах...

Фигуры, окружающие нас, продолжают рассматривать меня, одна тихо говорит другой:

— Новый заведующий...

— Один черт,— так же тихо отвечает другая.

— Думаете с чего начинать, товарищ Макаренко?

Оглядываюсь: черноокая молодая женщина улыбается. Так необычно видеть здесь белоснежную блузку и строгий черный галстук.

— Я — Гуляева.

Знаю: это инструктор швейной мастерской — единственный член партии в Куряже. На неё приятно смотреть: Гуляева начинает полнеть, но у нее еще гибкая талия, блестящие черные локоны, тоже молодые, и от нее пахнет еще не истраченной силой души. Я отвечаю весело:

— Давайте начинать вместе.

— О нет, я вам плохой помощник. Я не умею.

— Я научу вас.

— Ну, хорошо... Я пришла пригласить вас к девочкам, вы еще не были у них. Они вас ожидают... Даже страстно ожидают. Я могу немножко гордиться: девочки здесь были под моим влиянием — у них даже три комсомолки есть. Пойдемте.

Мы направляемся к центральному двухэтажному зданию.

— Вы очень хорошо поступили,— говорит Гуляева,— что потребовали снятия всего персонала. Гоните всех, до одного, ни на кого не смотрите... И меня гоните.

— Нет, относительно вас мы уже договорились. Я как раз рассчитываю на вашу помощь.

— Ну, смотрите, чтобы потом не жалели.

Спальня девочек очень большая, в ней стоит шестьдесят кроватей. Я поражен: на каждой кровати одеяло, правда, старенькое и худое. Под одеялами простыни. Даже есть подушки.

Девочки нас действительно ожидали. Они одеты в изношенные, заплатанные ситцевые платьица. Самой старшей из девочек лет пятнадцать.

Я говорю:

— Здравствуйте, девочки!

— Ну вот, привела к вам Антона Семеновича, вы хотели его видеть.

Девочки шепотом произносят приветствие и потихоньку сходятся к нам, по дороге поправляя постели. Мне становится почему-то очень жаль этих девочек, мне страшно хочется доставить им хотя бы маленькое удовольствие. Они усаживаются на кроватях вокруг нас и несмело смотрят на меня. Я никак не могу разобрать, почему мне так жаль их. Может быть, потому, что они бледные, что у них бескровные губы и осторожные взгляды, а может быть, потому, что у них заплатанные платья. Я мельком думаю: нельзя девочкам давать носить такую дрянь, это может обидеть на всю жизнь.

— Расскажите, девчата, как вы живете? — прошу их я.

Девочки молчат, смотрят на меня и улыбаются одними губами. Я вдруг ясно вижу: только их губы умеют улыбаться, на самом деле девочки и понятия не имеют, что такое настоящая живая улыбка. Я медленно осматриваю все лица: перевожу взгляд на Гуляеву и спрашиваю:

— Вы знаете, я опытный человек, но я чего-то здесь не понимаю.

Гуляева поднимает брови:

— А что такое?

Вдруг девочка, сидящая прямо против меня, смуглянка, в такой короткой розовой юбочке, что всегда видны ее колени, говорит, глядя на меня немигающими глазами:

— Вы скорее к нам приезжайте с вашими горьковцами, потому что здесь очень опасно жить.

И тотчас я понял, в чем дело: на лице этой смуглянки, в ее остановившихся глазах, в нечаянных конвульсиях рта живет страх, настоящий обыкновенный испуг.

— Они запуганы,— говорю я Гуляевой.

— У них тяжелая жизнь, Антон Семенович, у них очень тяжелая жизнь...

У Гуляевой краснеют глаза, и она быстро уходит к окну.

Я решительно пристал к девочкам:

— Чего вы боитесь? Рассказывайте!

Сначала несмело, подталкивая и заменяя друг друга, потом откровенно и убийственно подробно девочки рассказали мне о своей жизни.

Сравнительно безопасно чувствуют себя они только в спальне. Выйти во двор боятся, потому что мальчики преследуют их, щиплют, говорят глупости, подглядывают в уборную и открывают в ней двери. Девочки часто голодают, потому что им не оставляют пищи в столовой. Пищу расхватывают мальчики и разносят по спальням. Разносить по спальням запрещается, и кухонный персонал не дает этого делать, но мальчики не обращают внимания на кухонный персонал, выносят кастрюли и хлеб, а девочки этого не могут сделать. Они приходят в столовую и ожидают, а потом им говорят, что мальчики все растащили и есть уже нечего, иногда дадут немного хлеба. И в столовой сидеть опасно, потому что туда забегают мальчики и дерутся, называют проститутками и еще хуже и хотят научить разным словам. Мальчики еще требуют от них разных вещей для продажи, но девочки не дают; тогда они забегают в спальню, хватают одеяло или подушку, или что другое — и уносят продавать в город. Стирать свое белье девочки решаются только ночью, но теперь и ночью стало опасно; мальчики подстерегают в прачечной и такое делают, что и сказать нельзя. Валя Городкова и Маня Василенко пошли стирать, а потом пришли и целую ночь плакали, а утром взяли и убежали из колонии кто его знает куда. А одна девочка пожаловалась заведующему, так на другой день она пошла в уборную, а ее поймали и вымазали лицо... этим самым... в уборной. Теперь все рассказывают, что будет иначе, а хлопцы другие говорят, что все равно ничего не выйдет, потому что горьковцев очень мало и их все равно поразгоняют.

Гуляева слушала девочек, не отрывая взгляда от моего лица. Я улыбнулся не столько ей, сколько только что пролитым ею слезам.

Девочки окончили свое печальное повествование, а одна из них, которую все называли Сменой, спросила меня серьезно:

— Скажите, разве можно такое при советской власти?

Я ответил:

— То, что вы рассказали, большое безобразие, и при советской власти такого безобразия не должно быть. Пройдет несколько дней, и все у вас изменится. Вы будете жить счастливо, никто вас не будет обижать, и платья эти мы выбросим.

— Через несколько дней? — спросила задумчиво белобрысая девочка, сидящая на окне.

— Ровно через десять дней,— ответил я.

Я бродил по колонии до наступления темноты, обуреваемый самыми тяжелыми мыслями.

На самом древнем круглом пространстве, огороженном трехсотлетними стенами саженной толщины, с облезлым бестолковым собором в центре, на каждом квадратном метре загаженной земли росли победоносным бурьяном педагогические проблемы. В пошатнувшейся старой конюшне, по горло утонувшей в навозе, в коровнике, представлявшем собой богадельню для десятка старых дев коровьего племени, на всем хозяйском дворе, в изломанной решетке уничтоженного давно сада, по всему пространству, окружавшему меня, торчали засохшие стебли соцвоса. А в спальнях колонистов и поближе к ним — в пустых квартирах персонала, в так называемых клубах, на кухне, в столовой на этих стеблях качались тучные ядовитые плоды, которые я обязан был проглотить в течение самых ближайших дней.

Вместе с мыслями у меня расшевелилась злоба. Я начинал узнавать в себе гнев тысяча девятьсот двадцатого года. За моей спиной вдруг обнаружился соблазняющий демон бесшабашной ненависти. Хотелось сейчас, немедленно, не сходя с места, взять кого-то за шиворот, тыкать носом в зловонные кучи и лужи, требовать самых первоначальных действий... нет, не педагогики, не теории соцвоса, не революционного долга, не коммунистического пафоса, нет, нет,— обыкновенного здравого смысла, обыкновенной презренной мещанской честности. Злоба потушила у меня страх перед неудачей. Возникшие на мгновение припадки неуверенности безжалостно уничтожались тем обещанием, которое я дал девочкам. Эти несколько десятков запуганных, тихоньких бледных девочек, которым я так бездумно гарантировал человеческую жизнь через десять дней, в моей душе вдруг стали представителями моей собственной совести.

Постепенно темнело. В колонии не было освещения. От монастырских стен ползли к собору угрюмые деловые сумерки. По всем углам, щелям, проходам копошились беспризорные, кое-как расхватывая ужин и устраиваясь на ночлег. Ни смеха, ни песни, ни бодрого голоса. Доносилось иногда заглушенное ворчание, ленивая привычная ссора. На крыльцо одной спальни с утерянными ступенями карабкались двое пьяных и скучно матюкались. На них с молчаливым презрением смотрели из сумерек Костя Ветковский и Волохов.

3. БЫТИЕ

На другой день в два часа заведующий Куряжем высокомерно подписал акт о передаче власти и о снятии всего персонала, сел на извозчика и уехал. Глядя на его удаляющийся затылок, я позавидовал лучезарной удаче этого человека: он сейчас свободен, как воробей, никто вдогонку ему даже камнем не бросил.

У меня нет таких крыльев, поэтому я тяжело передвигаюсь между земными персонажами Куряжа, и у меня сосет под ложечкой.

Ванька Шелапутин освещен майским солнцем. Он сверкает, как брильянт, смущением и улыбкой. Вместе с ним хочет сверкать медный колокол, приделанный к соборной стене. Но колокол стар и грязен, он способен только тускло гримасничать под солнцем. И, кроме того, он расколот, и, как ни старается Ванька, ничего нельзя извлечь из колокола путного. А Ваньке нужно прозвонить сигнал на общее собрание.

Неприятное, тяжелое, сосущее чувство ответственности по природе своей неразумно. Оно придирается к каждому пустяку, оно пронырливо старается залезть в самую мелкую щель и там сидит и дрожит от злости и беспокойства. Пока звонит Шелапутин, оно привязалось к колоколу: как это можно допустить, чтобы такие безобразные звуки разносились над колонией?

Возле меня стоит Витька Горьковский и внимательно изучает мое лицо. Он переводит взгляд на колокольню у монастырских ворот, зрачки его глаз вдруг темнеют и расширяются, дюжина чертенят озабоченно выглядывает

оттуда. Витька неслышно хохочет, задирая голову, чуточку краснеет и говорит хрипло:

— Сейчас это организуем, честное слово!

Он спешит к колокольне и по дороге устраивает летучее совещание с Волоховым. А Ванька уже второй раз заставляет кашлять старый колокол и смеется:

— Не понимают они, что ли? Звоню, звоню, хоть бы тебе что!..

Клуб — это бывшая теплая церковь. Высокие окна с решетками, пыль и две утермарковские печки. В алтарном полукружии на дырявом помосте анемичный столик. Китайская мудрость, утверждающая, что «лучше сидеть, чем стоять», в Куряже не пользуется признанием: сесть в клубе не на чем. Куряжане, впрочем, и не собираются усаживаться. Иногда в дверь заглянет всклокоченная голова и немедленно скроется; по двору бродят стайки в три-четыре человека и томятся в ожидании обеда, который благодаря междоусобному времени сегодня будет поздно. Но это все плебс: истинные двигатели куряжской цивилизации где-то скрываются.

Воспитателей нет. Я теперь уже знаю, в чем дело. Ночью нам не очень сладко спалось на твердых столах пионерской комнаты, и хлопцы рассказывали мне захватывающие истории из куряжского быта.

Сорок воспитателей имели в колонии сорок комнат. Полтора года назад они победоносно наполнили эти комнаты разными предметами культуры, вязаными скатертями и оттоманками уездного образца. Были у них и другие ценности, более портативные и более приспособленные к переходу от одного владельца к другому. Именно эти ценности начали переходить во владение куряжских воспитанников наиболее простым способом, известным еще в древнем Риме под именем кражи со взломом. Эта классическая форма приобретения настолько распространилась в Куряже, что воспитатели один за другим поспешили перетащить в город последние предметы культуры, и в их квартирах осталась меблировка чрезвычайно скромная, если можно считать мебелью номер «Известий», распластанный на полу и служивший педагогам постелью во время дежурств.

Но так как воспитатели Куряжа привыкли дрожать не только за свое имущество, но и за свою жизнь и вообще

за целость личности, то в непродолжительном времени сорок воспитательских комнат приобрели характер боевых бастионов, в стенах которых педагогический персонал честно проводил положенные часы дежурства. Ни раньше, ни после того в своей жизни я никогда не видел таких мощных защитных приспособлений, какие были приделаны к окнам, дверям и другим отверстиям в квартирах воспитателей в Куряже. Огромные крюки, толстые железные штанги, нарезные украинские «прогонычи», российские полупудовые замки целыми гроздьями висели на рамах и наличниках.

С момента прихода передового сводного я никого из воспитателей не видел. Поэтому самое увольнение их имело характер символического действия: даже и квартиры их я воспринял как условные обозначения, ибо напоминали о человеческом существе в этих квартирах только водочные бутылки и клопы.

Промелькнул мимо меня какой-то Ложкин, человек весьма неопределенной внешности и возраста. Он сделал попытку доказать мне свою педагогическую мощь и остаться в колонии имени Горького, «чтобы под вашим руководством и дальше вести юношество к прогрессу». Целых полчаса он ходил вокруг меня и болтал о разных педагогических тонкостях.

— Здесь разброд, полный разброд! Вы вот звоните, а они не идут. А почему? Я говорю: нужен педагогический подход. Совершенно правильно говорят: нужно обусловленное поведение, а как же может быть обусловленное поведение, если, извините, он крадет и ему никто не препятствует? У меня к ним есть подход, и они всегда ко мне обращаются и уважают, но все-таки... я был два дня у тещи,— заболела,— так вынули стекла и все решительно украли, остался, как мать родила, в одной толстовке. А почему, спрашивается? Ну, бери у того, кто к тебе плохо относится, но зачем же ты берешь у того, кто к тебе хорошо относится? Я говорю: нужен педагогический подход. Я соберу ребят, поговорю с ними раз, другой, третий, понимаете? Заинтересую их, и хорошо. Задачку скажу. В одном кармане на семь копеек больше, чем в другом, а вместе двадцать три копейки, сколько в каждом? Хитро, правда?

Ложкин лукаво скосил глаза.

— Ну, и что же? — спросил я из вежливости.

— Нет, а вот вы скажите, сколько?

— Чего — сколько?

— Скажите: сколько в каждом кармане? — приставал Ложкин.

— Это... вы хотите, чтобы я сказал?

— Ну да, скажите, сколько в каждом кармане.

— Послушайте, товарищ Ложкин,— возмутился я,— вы где-нибудь учились?

— А как же... Только я больше самообразованием взял. Вся моя жизнь есть самообразование, а, конечно, в педагогических техникумах или там институтах не пришлось. И я вам скажу: у нас здесь были и такие, которые с высшим образованием, один даже окончил стенографические курсы, а другой юрист, а вот дашь им такую задачку... Или вот: два брата получили наследство...

— Это что ж... этот самый стенограф написал там, на стене?

— Он написал, он... Все хотел стенографический кружок завести, но как его обокрали, он сказал: не хочу в такой некультуре работать, и кружка не завел, а нес только воспитательскую работу...

В клубе возле печки висел кусок картона, и на нем было написано:

СТЕНОГРАФИЯ — ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ

Ложкин еще долго о чем-то говорил, потом весьма незаметно испарился, и я помню только, что Волохов сказал сквозь зубы ему вдогонку в качестве последнего прости:

— Зануда!

В клубе нас ожидали неприятные и обидные вещи, куряжане на общее собрание не пришли. Глаза Волохова с тоской поглядывали на высокие пустые стены клуба, Кудлатый, зеленый от злости, с напряженными скулами, что-то шептал, Митька смущенно-презрительно улыбался, один Миша Овчаренко был добродушно-спокоен и продолжал что-то, давно начатое:

— ...Самое главное, пахать надо... И сеять. Как же

можно так, подумайте: май же, кони даром стоят, все стоит!..

— И в спальнях никого нет, все в городе,— сказал Волохов и отчетливо, крепко выругался, не стесняясь моего присутствия.

— Пока не соберутся, не давать обедать,— предложил Кудлатый.

— Нет,— сказал я.

— Как «нет»! — закричал Кудлатый.— Собственно говоря, чего нам здесь сидеть? На поле бурьян какой, даже не вспахано, что это такое? А они тут обеды себе устраивают. Дармоедам воля, значит, или как?

Волохов облизал сухие гневные губы, повел плечами, как в ознобе, и сказал:

— Антон Семенович, пойдем к нам, поговорим.

— А обед?

— Подождут, черт их не возьмет. Да они все равно в городе.

В пионерской комнате, когда все расселись на скамьях, Волохов произнес такую речь:

— Пахать надо? Сеять надо? А какого чертового дьявола сеять, когда у них ничего нет, даже картошки нет! Черт с ними, мы и сами посеяли бы, так ничего нет. Потом... эта гадость всякая, вонь. Если наши приедут, стыдно будет, чистому человеку ступить некуда. А спальни, матрацы, кровати, подушки? А костюмы? Босиком все, а белье где? Посуда, смотрите, ложки, ничего нет! С чего начинать? Надо с чего-нибудь начинать?

Хлопцы смотрели на меня с горячим ожиданием, как будто я знал, с чего начинать.

Меня беспокоили не столько куряжские ребята, сколько бесчисленные детали чисто материальной работы, представлявшие такое сложное и неразборчивое месиво, что в нем могли затеряться все триста куряжан.

По договору с помдетом я должен был получить двадцать тысяч рублей на приведение Куряжа в порядок, но и сейчас уже было видно, что эта сумма — сущие слезы в сравнении с наличной нуждой. Мои хлопцы были правы в своем списке отсутствующих вещей. Совершенно исключительная нищета Куряжа обнаружилась полностью, когда Кудлатый приступил к приемке имущества. Заведующий напрасно беспокоился о том, что передаточ-

ный акт будет иметь недостойные подписи. Заведующий был просто нахал; акт получился очень короткий. В мастерских были кое-какие станки, да в конюшне стояло несколько обыкновенных восточно-европейских одров, а больше ничего не было: ни инструмента, ни материалов, ни сельскохозяйственного инвентаря. В жалкой, затопленной навозной жижей свинарне верещало полдюжины свиней. Хлопцы, глядя на них, не могли удержаться от хохота,— так мало напоминали наших англичан эти юркие, пронырливые звери, у которых большая голова торчала на тоненьких ножках. В дальнем углу двора Кудлатый откопал плуг и обрадовался ему, как родному. А борону еще раньше обнаружили в куче старого кирпича. В школе нашлись только отдельные ножки столов и стульев да остатки классных досок — явление вполне естественное, ибо каждая зима имеет свой конец, и у всякого хозяина могут на весну остаться небольшие запасы топлива.

Все нужно было покупать, делать, строить. Прежде всякого другого действия необходимо было построить уборные. В методике педагогического процесса об уборных ничего не говорится, и, вероятно, поэтому в Куряже так легкомысленно обходились без этого полезного жизненного института.

Куряжский монастырь был построен на горе, довольно круто обрывавшейся во все стороны. Только на южном обрыве не было стены, и здесь, через заболоченный монастырский пруд, открывался вид на соломенные крыши села Подворки. Вид был во всех отношениях сносный, приличный украинский вид, от которого защемило бы сердце у любого лирика, воспитанного на созвучиях: маты, хаты, дивчата, с прибавлением небольшой дозы ставкá и вышневого садкá. Наслаждаясь таким хорошим видом, куряжане платили подворчанам черной неблагодарностью, подставляя их взорам только шеренги сидящих над обрывом туземцев, увлеченных последним претворением миллионов, ассигнованных по сметам соцвоса, в продукт, из которого уже ничего больше нельзя сделать.

Мои хлопцы очень страдали в области затронутой проблемы. Миша Овчаренко достигал максимума серьезности и убедительности, когда жаловался:

— Шо ж это, в самом деле? Как же нам? В Харьков ездить, чи как? Так на чем ездить?

Поэтому уже в конце нашего совещания в дверях пионерской комнаты стояло два подворских плотника, и старший из них, солдатского вида человек в хаковой фуражке, с готовностью поддерживал мои предначертания:

— Конешно, как же это можно? Раз человек кушает, он же не может так... А насчет досок,— тут на Рыжове склад. Вы не стесняйтесь, меня здесь все знают, давайте назначенную сумму, сделаем такую постройку — и у монахов такой не было. Если, конешно, дешево желаете, шелевка пойдет или, допустим, лапша,— легкое будет строение, а в случае вашего желания советую полтора дюйма или двухдюймовку взять, тогда выйдет вроде как лучше и для здоровья удобнее: ветер тебе не задует, и зимой затышек, и летом жара не потрескает.

Кажется, первый раз в жизни я испытывал настоящее умиление, взирая на этого прекрасного человека, строителя и организатора зимы и лета, ветров и «затышка». И фамилия у него была приятная — Боровой. Я дал ему стопку кредиток и еще раз порадовался, слушая, как он сочно внушал своему помощнику, сдобному румяному парню:

— Так я пойду, Ваня, за лесом пойду, а ты начинай. Сбегай за лопаткой и мою забери. Пока сё да то, а людям сделаем строение... А кто-нибудь нам покажет, где и как...

Киргизов и Кудлатый, улыбаясь, отправились показывать, а Боровой запеленал деньги в некую тряпочку и еще раз морально поддержал меня:

— Сделаем, товарищ заведующий, будьте в надежде!

Я был в надежде. На душе стало удобнее, мы стряхнули с себя неповоротливую, дохлую, подготовительную стадию и приступили к педагогической работе в Куряже.

Вторым вопросом, который мы удовлетворительно разрешили на этот вечер, был вопрос, тоже относящийся к бытию: тарелки и ложки. В сводчатой трапезной, на стенах которой выглядывали из-под штукатурки черные серьезные глаза святителей и богородиц и кое-где торчали их благословляющие персты, были столы и скамьи, но никакой посуды куряжане не знали. Волохов после получасовых хлопот и дипломатических представ-

лений в конюшне усадил на старенькую линейку Евгеньева и отправил его в город с поручением купить четыреста пар тарелок и столько же деревянных ложек.

На выезде из ворот линейка Евгеньева была встречена восторженными кликами, объятиями и рукопожатиями целой толпы. Хлопцы нюхом почувствовали приток знакомого радостного ветра и выскочили к воротам. Выскочил и я и моментально попал в лапы Карабанова, который с недавних пор усвоил привычку показывать на моей грудной клетке свою силу.

Седьмой сводный отряд под командой Задорова прибыл в полном составе, и в моем сознании толпа таинственных опасных куряжан вдруг обратилась в мелкую пустячную задачку, которой отказал бы в уважении даже Ложкин.

Это большое удовольствие — в трудную, неразборчивую минуту встретить всех своих рабфаковцев: и основательного, тяжелого Буруна, и Семена Карабанова, на горячей черной страсти которого так приятно было различать тонкий орнамент, накладываемый наукой, и Антона Братченко, у которого и теперь широкая душа умела вместиться в узких рамках ветеринарного дела, и радостно-благородного Матвея Белухина, и серьезного Осадчего, пропитанного сталью, и Вершнева — интеллигента и искателя истины, и черноокую умницу Марусю Левченко, и Настю Ночевную, и «сына иркутского губернатора» Георгиевского, и Шнайдера, и Крайника, и Голоса, и, наконец, моего любимца и крестника, командира седьмого сводного Александра Задорова. Старшие в седьмом сводном отряде уже заканчивали рабфак, и у нас не было сомнений, что и в вузе дела пойдут хорошо. Впрочем, для нас они были больше колонистами, чем студентами, и сейчас нам было некогда долго заниматься счетом их учебных успехов. После первых приветствий мы снова засели в пионерской комнате. Карабанов залез за стол, поплотнее уселся на стуле и сказал:

— Мы знаем, Антон Семенович, тут дело ясное: або славы добуты, або дома не буты! Ось мы и приехали!

Мы рассказали рабфаковцам о нашем первом сегодняшнем дне. Рабфаковцы нахмурились, беспокойно оглянулись, заскрипели стульями. Задоров задумчиво посмотрел в окно и прищурился:

— Да нет... силой сейчас нельзя: много очень!

Бурун повел пудовыми плечами и улыбнулся:

— Понимаешь, Сашка, не много! Много-то наплевать! Не много, а... черт его знает, взять не за что. Много, ты говоришь, а где они? Где? За кого ты ухватишься? Надо их как-нибудь... той... в кучу собрать. А как ты их соберешь?

Вошла Гуляева, послушала наши разговоры, улыбкой ответила на подозрительный взгляд Карабанова и сказала:

— Всех ни за что не соберете! Ни за что!..

— А ось побачим! — рассердился Семен.— Как это «ни за что»? Соберем! Пускай не двести восемьдесят, так сто восемьдесят придут. Там будет видно. Чего тут сидеть?

Выработали такой план действий. Сейчас дать обед. Куряжане как следует проголодались, все в спальнях ожидают обеда. Черт с ними, пускай лопают. А во время обеда всем пойти по спальням и агитнуть. Надо им сказать, сволочам: приходите на собрание, люди вы или что? Приходите! Для вас же, гады, интересно, у вас новая жизнь начинается, а вы, как мокрицы, разлазитесь. А если кто будет налазить, заедаться с ним не надо. А лучше так сказать: ты здесь герой, возле кастрюли с борщом,— приходи на собрание и говори, что хочешь. Вот и все. А после обеда позвонить на собрание.

У дверей кухни сидело несколько десятков куряжан, ожидавших раздачи обеда. Мишка Овчаренко стоял в дверях и поучал того самого рыжего, который вчера интересовался моей фамилией:

— Если кто не работает, так ему никакой пищи не полагается, а ты мне толкуешь: полагается! Ничего тебе не полагается. Понимаешь, друг? Ты это должен хорошенько понять, если ты человек с умом. Я, может, тебе и выдам, так это будет, милый мой, по моему доброму желанию. Потому что ты не заработал, понимаешь, дружок? Каждый человек должен заработать, а ты, милый мой, дармоед, и тебе ничего не полагается. Могу подать милостыню, и все.

Рыжий смотрел на Мишку глазом обиженного зверя. Другой глаз не смотрел, и вообще со вчерашнего дня на физиономии рыжего произошли большие изменения: не-

которые детали этого лица значительно увеличились в объеме и приобрели синеватый оттенок, верхняя губа и правая щека измазаны были кровью. Все это давало мне право обратиться к Мишке Овчаренко с серьезным вопросом:

— Это что такое? Кто его разукрасил?

Но Мишка солидно улыбнулся и усомнился в правильной постановке вопроса:

— С какой стати вы меня спрашиваете, Антон Семенович? Не моя это морда, а этого самого Ховраха. А я свое дело делаю, про свое дело могу вам дать подробный доклад, как нашему заведующему. Волохов сказал: стой у дверей, и никаких хождений на кухню! Я стал и стою. Или я за ним гонялся, или я ходил к нему в спальню, или приставал к нему? Пускай сам Ховрах и скажет: они лазят здесь без дела, может, он на что-нибудь напоролся сдуру?

Ховрах вдруг захныкал, замотал на Мишку головой и высказал свою точку зрения:

— Хорошо! Голодом морить будете, хорошо, ты имеешь право бить по морде? Ты меня не знаешь? Хорошо, ты меня узнаешь!..

В то время еще не были разработаны положения об агрессоре, и я принужден был задуматься. Подобные неясные случаи встречались и в истории и разрешались всегда с большим трудом. Я вспомнил слова Наполеона после убийства принца Ангиенского: «Это могло быть преступлением, но это не было ошибкой».

Я осторожно повел среднюю линию:

— Какое же ты имел право бить его?

Продолжая улыбаться, Миша протянул мне финку:

— Видите: это финка. Где я ее взял? Я, может, украл ее у Ховраха? Здесь разговоры были большие. Волохов сказал, на кухню — никого! Я с этого места не сходил, а он с финкой пришел и говорит: пусти! Я, конечно, не пускаю, Антон Семенович, а он обратно: пусти, и лезет. Ну, я его толкнул. Полегоньку так, вежливо толкнул, а он, дурак такой, размахивает и размахивает финкой. Он не может того сообразить, какой есть порядок. Все равно, как остолоп...

— Все-таки ты его избил, вот... до крови... Твои кулаки?

Миша посмотрел на свои кулаки и смутился:

— Кулаки, конечно, мои, куда я их дену? Только я с места не сходил. Как сказал Волохов, так я и стоял на месте. А он, конечно, размахивал тут, как остолоп...

— А ты не размахивал?

— А кто мне может запретить размахивать? Если я стою на посту, могу я как-нибудь ногу переставить, или, скажем, мне рука не нужна на этой стороне, могу я на другую сторону как-нибудь повернуть? А он наперся, кто ему виноват? Ты, Ховрах, должен разбираться, где ты ходишь! Скажем, идет поезд... Видишь ты, что поезд идет, стань в сторонку и смотри. А если ты будешь на пути с финкой своей, так, конечно, поезду некогда сворачивать, от тебя останется лужа, и все. Или, если машина работает, ты должен осторожно подходить, ты же не маленький!

Миша все это пояснял Ховраху голосом добрым, даже немного разнеженным, убедительно и толково жестикулируя правой рукой, показывая, как может идти поезд и где в это время должен стоять Ховрах. Ховрах слушал его молчаливо-пристально, кровь на его щеках начинала уже присыхать под майскими лучами солнца. Группа рабфаковцев серьезно слушала речи Миши Овчаренко, отдавая должное Мишиной трудной позиции и скромной мудрости его положений.

За время нашего разговора прибавилось куряжан. По их лицам я видел, как они очарованы строгими силлогизмами Миши, которые в их глазах тем более были уместны, что принадлежали победителю. Я с удовольствием заметил, что умею кое-что прочитать на лицах моих новых воспитанников. Меня в особенности заинтересовали еле уловимые знаки злорадства, которые, как знаки истертой телеграммы, начинали мелькать в слоях грязи и размазанных борщей. Только на мордочке Вани Зайченко, стоявшего впереди своей компании, злая радость была написана открыто большими яркими буквами, как на праздничном лозунге. Ваня заложил руки за пояс штанишек, расставил босые ноги и с острым, смеющимся вниманием рассматривал лицо Ховраха. Вдруг он затоптался на месте и даже не сказал, а пропел, откидывая назад мальчишескую стройную талию:

— Ховрах!.. Выходит, тебе не нравится, когда дают по морде? Не нравится, правда?

— Молчи ты, козявка,— хмуро, без выражения сказал Ховрах.

— Ха!.. Не нравится! — Ваня показал на Ховраха пальцем.— Набили морду, и все!

Ховрах бросился к Зайченко, но Карабанов успел положить руку на его плечо, и плечо Ховраха осело далеко книзу, перекашивая всю его городскую, в пиджаке, фигуру. Ваня, впрочем, не испугался. Он только ближе подвинулся к Мише Овчаренко. Ховрах оглянулся на Семена, перекосил рот, вырвался. Семен добродушно улыбнулся. Неприятные светлые глаза Ховраха заходили по кругу и снова натолкнулись на прежний, внимательный и веселый глаз Вани. Очевидно, Ховрах запутался: неудача и одиночество, и только что засохшая на щеке кровь, и только что произнесенные сентенции Миши, и улыбка Карабанова требовали некоторого времени на анализ, и поэтому тем труднее было для него оторваться от ненавистного ничтожества Вани и потушить свой, такой привычно непобедимый, такой уничтожающий наглый упор. Но Ваня встретил этот упор всесильной миной сарказма:

— Какой ты ужасно страшный!.. Я сегодня спать не буду!.. Перепугался, и все! И все!

И горьковцы и куряжане громко засмеялись. Ховрах зашипел:

— Сволочь! — и приготовился к какому-то, особенного пошиба, блатному прыжку.

Я сказал:

— Ховрах!

— Ну, что? — спросил он через плечо.

— Подойди ко мне!

Он не спешил выполнить мое приказание, рассматривая мои сапоги и по обыкновению роясь в карманах. К железному холодку моей воли я прибавил немного углерода:

— Подойди ближе, тебе говорю!

Вокруг нас все затихли, и только Петька Маликов испуганно шепнул:

— Ого!

Ховрах двинулся ко мне, надувая губы и стараясь

смутить меня пристальным взглядом. В двух шагах он остановился и зашатал ногою, как вчера.

— Стань смирно!

— Как это смирно еще? — пробурчал Ховрах, однако, вытянулся и руки вытащил из карманов, но правую кокетливо положил на бедро, расставив впереди пальцы.

Карабанов снял эту руку с бедра:

— Детка, если сказано «смирно», так гопака танцевать не будешь. Голову выше!

Ховрах сдвинул брови, но я видел, что он уже готов. Я сказал:

— Ты теперь горьковец. Ты должен уважать товарищей. Насильничать над младшими ты больше не будешь, правда?

Ховрах деловито захлопал веками и улыбнулся каким-то миниатюрным хвостиком нижней губы. В моем вопросе было больше угрозы, чем нежности, и я видел, что Ховрах на этом обстоятельстве уже поставил аккуратное нотабене. Он коротко ответил:

— Можно.

— Не можно, а есть, черт возьми! — зазвенел мажорный тенор Белухина.

Матвей без церемонии за плечи повернул Ховраха, хлопнул с двух сторон по его опущенным рукам, точно и ловко вскинул руку в салюте и отчеканил:

— Есть не насильничать над младшими! Повтори!

Ховрах растянул рот:

— Да чего вы, хлопцы, на меня взъелись? Что я такое изделал? Ничего такого не изделал. Это он меня в рыло двинул — факт! Так я ж ничего...

Куряжане, захваченные до краев всем происходящим, придвинулись ближе. Карабанов обнял Ховраха за плечи и произнес горячо:

— Друг! Дорогой мой, ты же умный человек! Мишка стоит на посту, он защищает не свои интересы, а общие. Вот пойдем на дубки, я тебе растолкую...

Окруженные венчиком любителей этических проблем, они удаляются на дубки.

Волохов дал приказ выдавать обед. Давно торчащая за спиной Мишки усатая голова повара в белом колпаке дружески закивала Волохову и скрылась. Ваня Зай-

ченко усиленно задергал всю свою компанию за рукава и зашептал с силой:

— Понимаете, белую шапку надел! Как это надо понимать? Тимка! Ты сообрази!

Тимка, краснея, опустил глаза и сказал:

— Это его собственный колпак, я знаю!

В пять часов состоялось общее собрание. Либо агитация рабфаковцев помогла, либо от чего другого, но куряжане собрались в клуб довольно полно. А когда Волохов поставил в дверях Мишу Овчаренко и Осадчий с Шелапутиным стали переписывать присутствующих, начиная необходимый в педагогическом деле учет объектов воспитания, в двери заломились запоздавшие и спрашивали с тревогой:

— А кто не записался, дадут ужин?

Бывший церковный зал насилу вместил эту массу человеческой руды. С алтарного возвышения я всматривался в груду беспризорщины, поражался и ее объемом и мизерной выразительностью. В редких точках толпы выделялись интересные живые лица, слышались человеческие слова и открытый детский смех. Девочки жались к задней печке, и среди них царило испуганное молчание. В черновато-грязном море «клифтов», всклокоченных причесок и ржавых запахов мертвыми круглыми пятнами стояли лица, безучастные, первобытные, с открытыми ртами, с шероховатыми взглядами, с мускулами, сделанными из пакли.

Я коротко рассказал о колонии Горького, о ее жизни и работе. Коротко описал наши задачи: чистота, работа, учеба, новая жизнь, новое человеческое счастье. Они ведь живут в счастливой стране, где нет панов и капиталистов, где человек может на свободе расти и развиваться в радостном труде. Я скоро устал, не поддержанный живым вниманием слушателей. Было похоже, как если бы я обращался к шкафам, бочкам, ящикам. Я объявил, что воспитанники должны организоваться по отрядам, в каждом отряде двадцать человек, просил назвать четырнадцать фамилий для назначения командирами. Они молчали. Я просил задавать вопросы, они тоже молчали. На возвышение вышел Кудлатый и сказал:

— Собственно говоря, как вам не стыдно? Вы хлеб лопаете и картошку лопаете, и борщ, а кто это обязан

для вас делать? Кто обязан? А я вам завтра если не дам обедать? Как тогда?

И на этот вопрос никто ничего не ответил. Вообще «народ безмолвствовал».

Кудлатый рассердился:

— Тогда я предлагаю с завтрашнего дня работать по шесть часов,— надо же сеять, черт бы вас побрал! Будете работать?

Кто-то один крикнул из далекого угла:

— Будем!

Вся толпа не спеша оглянулась на голос и снова выпрямила линии тусклых физиономий.

Я глянул на Задорова. Он засмеялся в ответ на мое смущение и положил руку на мое плечо:

— Ничего, Антон Семенович, это пройдет!

4. «ВСЕ ХОРОШО»

Мы провозились до глубокой ночи в попытках организовать куряжан. Рабфаковцы ходили по спальням и снова переписывали воспитанников, стараясь составить отряды. Бродил по спальням и я, захватив с собою Горьковского в качестве измерительного инструмента. Нам нужно было, хотя бы на глаз, определить первые признаки коллектива, хотя бы в редких местах найти следы социального клея. Горьковский чутко поводил носом в темной спальне и спрашивал:

— А ну? Какая тут компания?

Ни компаний, ни единиц почти не было в спальнях. Черт их знает, куда они расползались, эти куряжане. Мы расспрашивали присутствовавших, кто в спальнях живет, кто с кем дружит, кто здесь плохой, кто хороший, но ответы нас не радовали. Большинство куряжан не знало своих соседей, редко знали даже имена, в лучшем случае называли прозвища: Ухо, Подметка, Комаха, Шофер или вспоминали внешние приметы:

— На этой койке рябой, а на этой — из Валок пригнали.

В некоторых местах мы ощущали и слабые запахи социального клея, но склеивалось вместе не то, что нам было нужно.

К ночи я все-таки имел представление о составе Куряжа.

Разумеется, это были настоящие беспризорные, но это не были беспризорные, так сказать, классические. Почему-то в нашей литературе и среди нашей интеллигенции представление о беспризорном сложилось в образе некоего байроновского героя. Беспризорный — это прежде всего якобы философ, и притом очень остроумный, анархист и разрушитель, блатняк и противник решительно всех этических систем. Перепуганные и слезливые педагогические деятели прибавили к этому образу целый ассортимент более или менее пышных перьев, надерганных из хвостов социологии, рефлексологии и других богатых наших родственников. Глубоко веровали, что беспризорные организованы, что у них есть вожаки и дисциплина, целая стратегия воровского действия и правила внутреннего распорядка. Для беспризорных не пожалели даже специальных ученых терминов: «самовозникающий коллектив» и т. п.

И без того красивый образ беспризорного в дальнейшем был еще более разукрашен благочестивыми трудами обывателей (российских и заграничных). Все беспризорные — воры, пьяницы, развратники, кокаинисты и сифилитики. Во всей всемирной истории только Петру I пришивали столько смертных грехов. Между нами говоря, все это сильно помогало западноевропейским сплетникам слагать о нашей жизни самые глупые и возмутительные анекдоты.

А между тем... ничего подобного в жизни нет.

Надо решительно отбросить теорию о постоянно существующем беспризорном обществе, наполняющем будто бы наши улицы не только своими «страшными преступлениями» и живописными нарядами, но и своей «идеологией». Составители романтических сплетен об уличном советском анархисте не заметили, что после гражданской войны и голода миллионы детей были с величайшим напряжением всей страны спасены в детских домах. В подавляющем большинстве случаев все эти дети давно уже выросли и работают на советских заводах и в советских учреждениях. Другой вопрос, насколько педагогически безболезненно протекал процесс воспитания этих детей.

В значительной мере по вине тех же самых романтиков работа детских домов развивалась очень тяжело, сплошь и рядом приводя к учреждениям типа Куряжа. Поэтому некоторые мальчики (речь идет только о мальчиках) очень часто уходили на улицу, но вовсе не для того, чтобы жить на улице, и вовсе не потому, что считали уличную жизнь для себя самой подходящей. Никакой специальной уличной идеологии у них не было, а уходили они в надежде попасть в лучшую колонию или детский дом. Они обивали пороги спонов и соцвосов, помдетов и комиссий, но больше всего любили такие места, где была надежда приобщиться к нашему строительству, минуя благодать педагогического воздействия. Последнее им не часто удавалось. Настойчивая и самоуверенная педагогическая братия не так легко выпускала из своих рук принадлежащие ей жертвы и вообще не представляла себе человеческую жизнь без предварительной соцвосовской обработки. По этой причине большинство беглецов принуждено было вторично начинать хождения по педагогическому процессу в какой-нибудь другой колонии, из которой, впрочем, тоже можно было убежать. Между двумя колониями биография этих маленьких граждан протекала, конечно, на улицах, и так как для занятий принципиальными и моральными вопросами они не имели ни времени, ни навыков, ни письменных столов, то естественно, что продовольственные, например, вопросы разрешались ими и аморально и апринципиально. И в других областях уличные обитатели не настаивали на точном соответствии их поступков с формальными положениями науки о нравственности; беспризорные вообще никогда не имели склонности к формализму. Имея кое-какое понятие о целесообразности, беспризорные в глубине души полагали, что они идут по прямой дороге к карьере металлиста или шофера, что для этого нужно только две вещи: покрепче держаться на поверхности земного шара, хотя бы для этого и приходилось хвататься за дамские сумки и мужские портфели, и поближе пристроиться к какому-нибудь гаражу или механической мастерской.

В нашей ученой литературе было несколько попыток составить удовлетворительную систему классификации человеческих характеров; при этом очень старались, что-

бы и для беспризорных было там отведено соответствующее антиморальное и дефективное место. Но из всех классификаций я считаю самой правильной ту, которую составили для практического употребления харьковские коммунары-дзержинцы.

По коммунарской рабочей гипотезе все беспризорные делятся на три сорта. «Первый сорт» — это те, которые самым деятельным образом участвуют в составлении собственных гороскопов, не останавливаясь ни перед какими неприятностями; которые в погоне за идеалом металлиста готовы приклеиться к любой части пассажирского вагона, которые больше кого-нибудь другого обладают вкусом к вихрям курьерских и скорых поездов, будучи соблазняемы при этом отнюдь не вагонами-ресторанами, и не спальными принадлежностями, и не вежливостью проводников. Находятся люди, пытающиеся очернить этих путешественников, утверждая, будто они носятся по железным дорогам в расчете на крымские благоухания или сочинские воды. Это неправда. Их интересуют главным образом днепропетровские, донецкие и запорожские гиганты, одесские и николаевские пароходы, харьковские и московские предприятия.

«Второй сорт» беспризорных, отличаясь многими достоинствами, все же не обладает полным букетом благородных нравственных качеств, какими обладает «первый». Эти тоже ищут, но их взоры не отворачиваются с презрением от текстильных фабрик и кожевенных заводов, они готовы помириться даже на деревообделочной мастерской, хуже — они способны заняться картонажным делом, наконец, они не стыдятся собирать лекарственные растения.

«Второй сорт» тоже ездит, но предпочитает задний буфер трамвая, и ему неизвестно, какой прекрасный вокзал в Жмеринке и какие строгости в Москве.

Коммунары-дзержинцы всегда предпочитали привлекать в свою коммуну только граждан «первого сорта». Поэтому они пополняли свои ряды, развивая агитацию в скорых поездах. «Второй сорт» в представлении коммунаров гораздо слабее.

Но в Куряже преобладал не «первый сорт» и не «второй» даже, а «третий». В мире беспризорных, как и в мире ученых, «первого сорта» очень мало, немного боль-

ше «второго», а подавляющее большинство — «третий сорт»: подавляющее большинство никуда не бежит и ничего не ищет, а простодушно подставляет нежные лепестки своих детских душ организующему влиянию соцвоса.

В Куряже я напоролся на основательную жилу именно «третьего сорта». Эти дети в своих коротких историях тоже насчитывают три-четыре детских дома или колонии, а то и гораздо больше, иногда даже до одиннадцати, но это уже результат не их стремлений к лучшему будущему, а наробразовских стремлений к творчеству, стремлений, часто настолько туманных, что и самое опытное ухо не способно бывает различить, где начинается или кончается реорганизация, уплотнение, разукрупнение, пополнение, свертывание, развертывание, ликвидация, восстановление, расширение, типизация, стандартизация, эвакуация и реэвакуация.

А так как и я тоже прибыл в Куряж с реорганизаторскими намерениями, то и встретить меня должно было то самое безразличие, которое является единственной защитной позой каждого беспризорного против педагогических пасьянсов наробраза.

Тупое безразличие было продуктом длительного воспитательного процесса и в известной мере доказывает великое могущество педагогики.

Большинство куряжан было в возрасте тринадцати — пятнадцати лет, но на их физиономиях уже успели крепко отпечататься разнообразные атавизмы. Прежде всего бросалось в глаза полное отсутствие у них чего бы то ни было социального, несмотря на то, что с самого рождения они росли под знаком «социального воспитания». Первобытная растительная непосредственность сквозила в каждом их движении, но это не была непосредственность ребенка, прямодушно отзывающегося на все явления жизни. Никакой жизни они не знали. Их горизонты ограничивались списком пищевых продуктов, к которым они влеклись в сонном и угрюмом рефлексе. До жратвенного котла нужно было дорваться через толпу таких же звереньшей — вот и вся задача. Иногда она решалась более благополучно, иногда менее, маятник их личной жизни других колебаний не знал. Куряжане и крали в порядке непосредственного действия только те

предметы, которые действительно плохо лежат или на которые набрасывалась вся их толпа. Воля этих детей давно была подавлена насилиями, тумаками и матюками старших, так называемых «глотов», богато расцветших на почве соцвосовского непротивления и «самодисциплины».

В то же время эти дети вовсе не были идиотами, в сущности — они были обыкновенными детьми, поставленными судьбой в невероятно глупую обстановку: с одной стороны, они были лишены всех благ человеческого развития, с другой стороны, их оторвали и от спасительных условий простой борьбы за существование, подсунув им хотя и плохой, но все же ежедневный котел.

На фоне этой основной массы выделялись некоторые группы иного порядка. В той спальне, где жил Ховрах, очевидно, находился штаб «глотов». Наши рассказывали, что их насчитывалось человек пятнадцать и что главную роль у них играл Коротков. Самого Короткова я еще не видел, да и вообще эти воспитанники большую часть времени проводили в городе. Евгеньев, нашедший среди них старых приятелей, утверждал, что все они обыкновенные городские воры, что колония нужна им только в качестве квартиры. Витька Горьковский не соглашался с Евгеньевым:

— Какие они там воры? Шпана!..

Витька рассказывал, что и Коротков, и Ховрах, и Перец, и Чурило, и Поднебесный, и все остальные промышляют именно в колонии. Сначала они обкрадывали квартиры воспитателей, мастерские и кладовые. Кое-что можно было украсть и у воспитанников: к Первому мая многим воспитанникам были выданы новые ботинки; по словам Горьковского, ботинки были главным предметом их деятельности. Кроме того, они промышляли на селе, а кое-кто даже на дороге. Колония стояла на большом ахтырском шляху.

Витька вдруг прищурился и рассмеялся:

— А теперь знаете, что они изобрели, гады? Пацаны их боятся, дрожат прямо, так что они делают: организаторы, понимаете! У них эти пацаны называются «собачками». У каждого несколько «собачек». Им и говорят это утром: иди, куда хочешь, а вечером приноси.

Кто крадет — то в поездах, а то и на базаре, а больше таких — куда там им украсть, так больше просят. И на улицах стоят, и на мосту, и на Рыжове. Говорят, в день рубля два-три собирают. У Чурила самые лучшие «собачки»,— по пяти рублей приносят. И норма у них есть: четвертая часть — «собачке», а три четверти — хозяину. О, вы не смотрите, что у них в спальнях ничего нету. У них и костюмы, и деньги, только все попрятано. Тут на Подворках есть такие дворы, и каинов сколько угодно. Они там каждый вечер гуляют.

Вторую группу составляли такие, как Зайченко и Маликов. При ближайшем знакомстве с колонией оказалось, что их не так мало, человек до тридцати. Каким-то чудом им удалось пронести через жизненные непогоды блестящие глаза, прелестную мальчишескую агрессивность и свежие аналитические таланты, позволявшие им к каждому явлению относиться с боевой привязчивостью. Я очень люблю этот отдел человечества, люблю за красоту и благородство душевных движений, за глубокое чувство чести, даже за то, что все они убежденные холостяки и женоненавистники. С первыми шагами моего передового сводного люди эти подняли носы, втянули в себя, отдуваясь, свежий воздух, потом заметались по спальням, поставив хвосты трубой и приведя в быстрое вращение указанные выше аналитические таланты. Они еще боялись открыто перейти на мою сторону, но поддержка их была все равно обеспечена.

На третью группу социальных элементов мы наткнулись с Витькой нечаянно, и Витька остановился перед ней, как сеттер перед зайцем, в оторопелом удивлении. В дальнем углу двора стоял, прислонившись к древней стене, одинокий флигель с деревянной резной верандой. Ваня Зайченко, показывая на это строение, сказал:

— А там живут агрономы.

— Кто это агрономы? Сколько же их?

— А их четырнадцать человек.

— Четырнадцать агрономов? Зачем так много?

— А они жито сеяли, а теперь там живут...

Я услышал запах Халабуды и еще более усомнился:

— Это вы их так дразните?

Но Ваня сделал серьезное лицо и еще настойчивее мотнул головой по направлению к флигелю:

— Нет, настоящие агрономы, вот посмотрите! Они пахали и сеяли жито! И смотрите: выросло! Вот такое уже выросло!

Витька воззрился на Зайченко с негодованием:

— Это те... в синих рубашках? Они же воспитанники у вас? Что же ты брешешь?

— Да не брешу! — запищал Ванька.— Не брешу! Они и аттестаты должны получить. Как только получат аттестаты, так и поедут...

— Ну, хорошо, пойдем к вашим агрономам.

Во флигеле были две спальни. На кроватях, покрытых сравнительно свежими одеялами, сидели подростки, действительно в синих сатиновых рубашках, чистенько причесанные и как-то по-особенному добродетельные. На стенах были аккуратно разлеплены открытки, вырезки из журналов и в деревянных рамах маленькие зеркальца. С подоконников свешивались узорные края чистой бумаги.

Серьезные мальчики суховато ответили на мое приветствие и не высказали никакого возмущения, когда Ваня Зайченко с воодушевлением представил их нам:

— Вот это все агрономы, я ж говорил! А это главный — Воскобойников!

Витька Горьковский посмотрел на меня с таким выражением, как будто нас приглашали познакомиться не с агрономами, а с лешими или водяными, в бытие которых поверить Витька ни в коем случае не мог.

— Вот что, ребята, вы не обижайтесь, только скажите, пожалуйста, почему вас называют агрономами?

Воскобойников — высокий юноша, на лице которого бледность боролась с важностью, и обе одинаково не могли прикрыть неподвижной, застывшей темноты,— поднялся с постели, с большим усилием засунул руки в тесные карманы брюк и сказал:

— Мы — агрономы. Скоро получим аттестаты...

— Кто вам даст аттестаты?

— Как — кто даст? Заведующий.

— Какой заведующий?

— Бывший заведующий.

Витька расхохотался:

— Может быть, он и мне даст?

— Нечего насмехаться,— сказал Воскобойников,— ты ничего не понимаешь, так и не говори. Что ты понимаешь?

Витька рассердился:

— Я понимаю, что вы здесь все олухи. Говорите подробно, кто тут дурака валяет?

— Может быть, ты и валяешь дурака,— остроумно начал Воскобойников, но Витька больше не мог выносить никакой чертовщины:

— Брось, говорю тебе!.. Ну, рассказывай!

Мы уселись на кроватях. Пересиливая важность и добродетель, сопротивляясь и оскорбляясь, пересыпая скупые слова недоверчивыми и презрительными гримасами, агрономы раскрыли пред нами секреты халабудовского жита и собственной головокружительной карьеры. Осенью в Куряже работал какой-то уполномоченный Халабуды, имевший от него специальное поручение посеять жито. Он уговорил работать пятнадцать старших мальчиков и расплатился с ними очень щедро: их поселили в отдельном флигеле, купили кровати, белье, одеяла, костюмы, пальто, заплатили по пятьдесят рублей каждому и обязались по окончании работы выдать дипломы агрономов. Поскольку все договоренное, кровати и прочее, оказалось реальностью, у мальчиков не было оснований сомневаться и в реальности дипломов, тем более, что все они были малограмотны и никто из них выше второй группы трудовой школы не бывал. Выдача дипломов затянулась до весны. Это обстоятельство, однако, не очень беспокоило мальчиков, хотя халабудовский уполномоченный и растворился в эфире помдетовских комбинатов, но его обязательства благородно принял на себя заведующий колонией. Уезжая вчера, он подтвердил, что дипломы уже готовы, только нужно их привезти в Куряж и торжественно выдать агрономам.

Я сказал мальчикам:

— Ребята, вас просто надули! Чтобы быть агрономом, нужно много учиться, несколько лет учиться, есть такие институты и техникумы, а чтобы поступить туда, тоже нужно учиться в обыкновенной школе несколько лет. А вы... Сколько семью восемь?

Черненький смазливый юноша, к которому я в упор обратился с вопросом, неуверенно ответил:

— Сорок восемь.

Ваня Зайченко охнул и вытаращил искренние глазенки:

— Ой-ой-ой, агрономы! Сорок восемь! Вот покупка, так покупка! Скажите, пожалуйста!

— А ты чего лезешь? Тебе какое дело? — закричал на Ваньку Воскобойников.

— Так пятьдесят шесть!— Ванька даже побледнел от страстной убедительности.— Пятьдесят шесть!

— Так как же? — спросил широкоплечий, угловатый парень, которого все называли Сватко.— Нам обещали, что дадут место в совхозе, а теперь как?

— А это можно,— ответил я.— Работать в совхозе хорошее дело, только вы будете не агрономами, а рабочими.

Агрономы запрыгали на кроватях в горячем возмущении. Сватко побледнел от злости:

— Вы думаете, мы правды не найдем? Мы понимаем, все понимаем! Нас и заведующий предупреждал, да! Вам сейчас нужно пахать, а никто не хочет, так, значит, вы крутите! И товарища Халабуду подговорили! По-вашему не будет, не будет!

Воскобойников снова засунул руки в карманы и снова вытянул до потолка свое длинное тело.

— Чего вы пришли сюда обдуривать? Нам знающие люди говорили. Мы сколько посеяли и занимались. А вам нужно эксплуатировать? Довольно!

— Вот дурачье,— спокойно произнес Витька.

— Вот я ему двину в морду!.. Горьковцы!.. Приехали сюда чужими руками жар загребать?

Я поднялся с кровати. Агрономы направили на нас сердитые тупые лица. Я постарался как можно спокойнее попрощаться с ними:

— Дело ваше, ребята. Хотите быть агрономами — пожалуйста... Ваша работа нам сейчас не нужна, обойдемся без вас.

Мы направились к выходу. Витька все-таки не утерпел и уже на пороге настойчиво заявил:

— А все-таки вы идиоты.

Заявление это вызвало такое недовольство у агрономов, что Витьке пришлось с крыльца взять третью скорость.

В пионерской комнате Жорка Волков производил смотр куряжан, выделенных разными правдами и неправдами в командиры. Я и раньше говорил Жорке, что из этого ничего не выйдет, что такие командиры нам не нужны. Но Жорка захотел увериться в этом на опыте.

Выделенные кандидаты сидели на лавках, и их босые ноги, как у мух, то и дело почесывали одна другую. Жорка сейчас похож на тигра: глаза у него острые и искрящиеся. Кандидаты держат себя так, как будто их притащили сюда играть в новую игру, но правила игры запутаны, старые игры вообще лучше. Они стараются деликатно улыбаться в ответ на страстные объяснения Жорки, но эффект этот Жорку мало радует:

— Ну, чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Ты понимаешь? Довольно жить паразитом! Ты знаешь, что такое Советская власть?

Лица кандидатов суровеют, и стыдливо жеманятся разыгравшиеся в улыбке щеки.

— Я же вам объясняю: раз ты командир, твой приказ должен быть выполнен.

— А если он не захочет? — снова порывается улыбкой лобастый блондин, видимо лодырь и губошлеп,— фамилия его Петрушко.

Среди приглашенных сидит и Спиридон Ховрах. Недавняя беседа его с Белухиным и Карабановым, кажется, привела его в умиление, но сейчас он разочарован: от него требуют невыгодных и неприятных осложнений с товарищами.

В этот вечер, после страстных речей Жорки и улыбчивого равнодушия куряжан, мы все же составили совет командиров, переписали всех обитателей колонии и даже сделали наряд на работы завтрашнего дня. В это время Волохов и Кудлатый налаживали инвентарь к завтрашнему выезду в поле. И совет командиров и инвентарь имели очень дрянной вид, и мы улеглись спать в настроении усталости и неудачи. Хотя Боровой с помощником приступили к работе и вокруг ярко-черных навалов земли уже блестели свежие щепки, общая задача в Куряже все равно представлялась неразборчивой и лишенной того спасительного хвостика, за который необходимо дернуть для начала.

На другой день рано утром рабфаковцы уехали в Харьков. Как было условлено в совете командиров, в шесть часов позвонили побудку. Несмотря на то, что у соборной стены висел уже новый колокол с хорошим голосом, побудка не произвела на куряжан никакого впечатления. Дежурный по колонии Иван Денисович Киргизов в свеженькой красной повязке заглянул в некоторые спальни, но вынес оттуда только испорченное настроение. Колония спала; лишь у конюшни возился наш передовой сводный, собираясь в поле. Через двадцать минут он выступил в составе трех парных запряжек плугов и борон. Кудлатый уселся на линейку и поехал в город доставать семенную картошку. Ему навстречу тащились из города отсыревшие бледные фигуры. В моем распоряжении не осталось сил, чтобы остановить их и обыскать, поговорить об обстоятельствах минувшей ночи. Они беспрепятственно пролезли в спальни, и число спящих, таким образом, даже увеличилось.

По составленным вчера нарядам, единодушно утвержденным советом командиров, все силы куряжан предполагалось бросить на уборку спален и двора, на расчистку площадки под парники, на вскопку огородных участков вокруг монастырской стены и на разборку самой стены. В моменты оптимистических просветов я начинал ощущать в себе новое приятное чувство силы. Четыреста колонистов! Воображаю, как обрадовался бы Архимед, если бы ему предложили четыреста колонистов. Очень возможно, что он отказался бы даже от точки опоры в своей затее перевернуть мир. Да и двести восемьдесят куряжан были для меня непривычным сгустком энергии после ста двадцати горьковцев.

Но этот сгусток энергии валяется в грязных постелях и даже не спешит завтракать. У нас уже имелись тарелки и ложки, и все это в сравнительном порядке было разложено на столах в трапезной, но целый час тарабанил в колокол Шелапутин, пока в столовой показались первые фигуры. Завтрак тянулся до десяти часов. В столовой я произнес несколько речей, в десятый раз повторил, кто в каком отряде, кто в отряде командир и какая для отряда назначена работа. Воспитанники выслушивали мои речи, не подымая головы от тарелки. Эти черти даже не учли того обстоятельства, что

для них приготовлен был очень жирный и вкусный суп, а на хлеб положены кубики масла. Они равнодушно сожрали суп и масло, позапихивали в карманы куски хлеба и вылезли из столовой, облизывая грязные пальцы и игнорируя мои взгляды, полные архимедовской надежды.

Никто не подошел к Мише Овчаренко, который возле самой соборной паперти разложил на ступенях новые, вчера купленные лопаты, грабли, метлы. В руках Миши новенький блокнот, тоже вчера купленный. В этом блокноте Миша должен был записывать, какому отряду сколько выдано инструментов. Миша имел вид очень глупый рядом со своей ярмаркой, ибо к нему не подошел ни один человек. Даже Ваня Зайченко, командир десятого отряда куряжан, составленного из его приятелей, на которого я особенно надеялся, не пришел за инструментами, и за завтраком я его не заметил. Из новых командиров в столовой подошел ко мне Ховрах, стоял со мной рядом и развязно рассматривал проходящую мимо нас толпу. Его отряд — четвертый — должен был приступить к разломке монастырской стены: для него у Миши заготовлены были ломы. Но Ховрах даже не вспомнил о порученной ему работе. По-прежнему развязно он заговорил со мной о предметах, никакого отношения к монастырской стене не имеющих:

— Скажите, правда, что в колонии имени Горького девчата хорошие?

Я отвернулся от него и направился к выходу, но он пошел со мной рядом и, заглядывая мне в лицо продолжал:

— И еще говорят, что воспитательки у вас есть... Такие... хлеб с маслом. Га-га, интересно будет, когда сюда приедут! У нас здесь тоже были бабенки подходящие... только знаете что? Глаза моего ну и боялись! Я как гляну на них, так аж краснеют! А отчего это так, скажите мне, отчего это у меня глаз такой опасный, скажите?

— Почему твой отряд не вышел на работу?

— А черт его знает, мне какое дело! Я и сам не вышел...

— Почему?

— Не хочется, га-га-га!..

Он прищурился на соборный крест:

— А у нас тут, на Подворках, тоже есть бабенки забористые... га-га... если желаете, могу познакомить...

Мой гнев еще со вчерашнего дня был придавлен мертвой хваткой сильнейших тормозов. Поэтому внутри меня что-то нарастало круто и настойчиво, но на поверхности моей души я слышал только приглушенный скрип, да нагревались клапаны сердца. В голове кто-то скомандовал «смирно», и чувства, мысли и даже мыслишки поспешили выпрямить пошатнувшиеся ряды. Тот же «кто-то» сурово приказал:

«Отставить Ховраха! Спешно нужно выяснить, почему отряд Вани Зайченко не вышел на работу и почему Ваня не завтракал?»

И поэтому и по другим причинам я сказал Ховраху:

— Убирайся от меня к чертовой матери!.. Г...о!

Ховрах очень был поражен моим обращением и быстро ушел. Я поспешил к спальне Зайченко.

Ванька лежал на голом матраце, и вокруг матраца сидела вся его компания. Ваня положил руку под голову, и его бледная худая ручонка на фоне грязной подушки казалась чистой.

— Что случилось? — спросил я.

Компания молча пропустила меня к кровати. Одарюк через силу улыбнулся и сказал еле слышно:

— Побили.

— Кто побил?

Неожиданно звонко Ваня сказал с подушки:

— Кто-то, понимаете, побил! Вы можете себе представить? Пришли ночью, накрыли одеялом и... здорово побили! В груди болит!

Звонкий голос Вани Зайченко сильно противоречил его похудевшему синеватому личику.

Я знал, что среди куряжских флигелей один называется больничкой. Там среди пустых грязных комнат была одна, в которой жила старушка-фельдшерица. Я послал за нею Маликова. В дверях Маликов столкнулся с Шелапутиным:

— Антон Семенович, там на машине приехали, вас ищут!

У большого черного фиата стояли Брегель, товарищ Зоя и Клямер. Брегель величественно улыбнулась:

— Приняли?

— Принял.

— Как дела?

— Все хорошо.

— Совсем хорошо?

— Жить можно.

Товарищ Зоя недоверчиво на меня посматривала. Клямер оглядывался во все стороны. Вероятно, он хотел увидеть моих сторублевых воспитателей. Мимо нас спотыкающимся старческим аллюром спешила к Ване Зайченко фельдшерица. От конюшни доносились негодующие речи Волохова:

— Сволочи, людей перепортили и лошадей перепортили! Ни одна пара не работает, поноровили коней, гады, не кони, а проститутки!

Товарищ Зоя покраснела, подпрыгнула и завертела большой нескладной головой:

— Вот это соцвос, я понимаю!

Я расхохотался:

— Это не соцвос. Это просто человек слов не находит.

— Как не находит? — язвительно улыбнулся Клямер.— Кажется, именно находит?

— Ну да, сначала не находил, а потом уже нашел.

Брегель что-то хотела сказать, пристально глянула мне в глаза и ничего не сказала.

5. ИДИЛЛИЯ

На другой день я отправил Ковалю такую телеграмму:

«Колония Горького Ковалю ускорь отъезд колонии воспитательскому персоналу прибыть Куряж первым поездом полном составе».

На следующий день к вечеру я получил такой ответ:

«Вагонами задержка воспитатели выезжают сегодня».

Единственная в Куряже линейка в два часа ночи доставила с рыжовской станции Екатерину Григорьевну, Лидию Петровну, Буцая, Журбина и Горовича. Из бесчисленных педагогических бастионов мы выбрали для них комнаты, наладили кое-какие кровати, матрацы пришлось купить в городе.

Встреча была радостная. Шелапутин и Тоська, несмотря на свои пятнадцать лет, обнимались и целова-

лись, как девчонки, пищали и вешались на шеи, задирая ноги. Горьковцы приехали жизнерадостные и свежие, и на их лицах я прочитал рапорт о состоянии дел в колонии. Екатерина Григорьевна подтвердила коротко:

— Там все готово. Все сложено. Нужны только вагоны.

— Как хлопцы?

— Хлопцы сидят на ящиках и дрожат от нетерпения. Я думаю, что хлопцы наши большие счастливцы. И кажется, мы все счастливые люди. А вы?

— Я тоже переполнен счастьем,— ответил я сдержанно,— но в Куряже больше, кажется, нет счастливцев...

— А что случилось? — взволнованно спросила Лидочка.

— Да ничего страшного,— сказал Волохов презрительно,— только у нас сил мало. И не мало, так в поле ж работа. Мы теперь и первый сводный, и второй сводный, и какой хотите.

— А здешние?

Ребята засмеялись:

— Вот увидите...

Петр Иванович Горович крепко сжал красивые губы, пригляделся к хлопцам, к темным окнам, ко мне:

— Надо скорее ребят?

— Да, как можно скорее,— сказал я,— надо, чтобы колония спешила как на пожар. А то сорвемся.

Петр Иванович крякнул:

— Нехорошо выходит... нужно поехать в колонию, хотя бы нам и трудно пришлось в Куряже. За вагоны просят очень дорого, не дают никакой скидки, да и вообще волынят. Вам необходимо на один день... Коваль уже перессорился на железной дороге.

Мы задумались. Волохов пошевелил плечами и тоже крякнул, как старик:

— Та ничего... Поезжайте скорише, как-нибудь обойдемся... и все равно, хуже не будет. А только наши пускай там не барятся [1].

---

[1] Не барятся — не задерживаются.

Иван Денисович, сидя на подоконнике, ухмылялся спокойно и рассматривал часовые стрелки:

— А через два часа и поезд. А какое ваше завещание будет?

— Мое завещание? Черт, какие тут завещания! Силы, конечно, никакой применять нельзя. Вас теперь шестеро. Если сможете повернуть на нашу сторону два-три отряда, будет прекрасно. Только старайтесь перетягивать не одиночками, а отрядами.

— Агитация, значит? — спросил Горович грустно.

— Агитация, только как-нибудь не очень прозрачно. Больше рассказывайте о колонии, о разных случаях, о строительстве. Да чего мне учить вас! Глаза раскрыть, конечно, не сможете так скоро, но понюхать что-нибудь дайте.

В моей голове варилась самая возмутительная каша. Прыгали, корчились, ползали, даже в обморок падали разные мысли и образы, а если какая-нибудь из них и кричала иногда веселым голосом, я начинал серьезно подозревать, что она в нетрезвом виде.

Есть педагогическая механика, физика, химия, даже педагогическая геометрия, даже педагогическая метафизика. Спрашивается, для чего я оставлял здесь, в Куряже, в темную ночь этих шестерых подвижников? Я разглагольствовал с ними об агитации, а на самом деле рассчитывал: вот в обществе куряжан завтра появятся шестеро культурных, серьезных, хороших людей. Честное слово, это была ставка на ложку меда в бочке дегтя... впрочем, дегтя ли? Жалкая, конечно, химия. И химическая реакция могла наметиться жалкая, дохлая, бесконечная. Если уж нужна здесь химия, то другая: динамит, нитроглицерин, вообще неожиданный, страшный, убедительный взрыв, чтобы стрелой прыгнули в небеса и стены собора, и «клифты», и детские души, и «глоты», и агрономические дипломы.

Между нами говоря, я готов был и себя самого и свой передовой сводный заложить в какую-нибудь хорошую бочку,— взрывной силы у нас, честное слово, было довольно. Я вспомнил тысяча девятьсот двадцатый год. Да, тогда начинали сильнее, тогда были взрывы и меня самого носило между тучами, как гоголевского Вакулу, и ничего я тогда не боялся. А теперь торчали в голове

всякие бантики, которыми будто бы необходимо украшать святейшую ханжу — педагогику. «Будьте добры, grand'maman, разрешите один разок садануть в воздух». «Пожалуйста,— говорит она,— садаците, только чтобы мальчики не обижались».

Какие уж там взрывы!

— Волохов, запрягай, еду.

Через час я стоял у открытого окна вагона и смотрел на звезды. Поезд был четвертого сорта, сесть было негде.

Не удрал ли я с позором из Куряжа, не испугался ли собственных запасов динамита? Надо было себя успокоить. Динамит — вещь опасная, и зачем с ним носиться, когда есть на свете мои замечательные горьковцы? Через четыре часа я оставлю душный, грязный чужой вагон и буду в их изысканном обществе.

В колонию я приехал на извозчике, когда солнце давно уже сожалело, что у него нет радиатора. Колонисты сбежались ко мне со всех сторон. Это колонисты или эманация радия? Даже Галатенко, раньше категорически отрицавший бег как способ передвижения, теперь выглянул из дверей кузницы и вдруг затопал по дорожке, потрясая землю и напоминая одного из боевых слонов царя Дария Гистаспа. В общий гам приветствий, удивлений и нетерпеливых вопросов и он внес свою долю:

— Как там оно, помогает чи не помогает, Антон Семенович?

Откуда у тебя, Галатенко, такая мужественная, открытая улыбка, где ты достал тот хорошенький мускул, который так грациозно морщит твое нижнее веко, чем ты смазал глаза — брильянтином, китайским лаком или ключевой чистой водой? И хоть медленно еще поворачивается твой тяжелый язык, но ведь он выражает эмоцию. Черт возьми, эмоцию!

— Почему вы такие нарядные, что у вас, бал? — спросил я у хлопцев.

— Ого! — ответил Лапоть.— Настоящий бал! Сегодня мы первый день не работаем, а вечером — «Блоха» — последний спектакль, и будем с граками прощаться... Нет, вы скажите, как там дела?

В новых трусиках и в новых бархатных тюбетейках, специально изготовленных, чтобы поразить куряжан, колонисты пахли праздником. По колонии метались шестые

сводные, подготовляя спектакль. В спальнях, в школе, в мастерских, в клубных помещениях по углам стояли забитые ящики, завернутые в рогожи вещи, лежали стопки матрацев и груды узлов. Везде было подметено и помыто, как и полагается для праздника. В моей квартире царил одиннадцатый отряд во главе с Шуркой Жевелием. Бабушка тоже сидела на чемоданах; только кровать-раскладушку пацаны великодушно оставили ей, и Шурка гордился этим великодушием:

— Бабушке нельзя так, как нам. Вы видели? Хлопцы сейчас все на току спят,— сено... даже лучше, чем на кроватях. А девчата — на возах. Так вы смотрите: Нестеренко этот, вчера только хозяином стал, а сегодня уже заедается,— жалко ему сена. Смотрите, мы ему дали целую колонию, а он за сеном жалеет. А мы бабушку разве плохо упаковали, а? Как вы скажете, бабушка?

Бабушка покорно улыбается пацанам, но у нее есть пункты расхождения с ними:

— Упаковали вы хорошо, а где ваш завкол спать будет?

— Есть! — кричит Шурка.— В нашем отряде, в одиннадцатом, самое лучшее сено, пирей. Даже Эдуард Николаевич ругался, говорит: такое сено, разве можно спать? А мы спали, а после того Молодцу давали,— лопает хиба ж так! Мы уложим, вы не бойтесь!

Значительная часть колонистов расположилась в квартирах воспитателей, изображая из себя целые опекунско-упаковочные организации. В комнате Лидочки штаб Коваля и Лаптя. Коваль, желтый от злости и утомления, сидит на подоконнике, размахивает кулаком и ругает железнодорожников:

— Чиновники, бюрократы, Акакии! Им говорю, дети,— так не верят. Что, говорю, тебе метрики представить? Так наши сроду метрик не видели. Ну, что ты ему скажешь, когда он, чтоб ему, ничего не понимает? Говорит: при одном взрослом полагается один ребенок бесплатно, а если только ребенки... Я ему, проклятому, толкую: какие ребенки, какие ребенки, черт тебя нянчил,— трудовая колония, и потом: вагоны ж товарные... Как пень! Щелкает, щелкает: погрузка, простой, аренда... Накопал каких-то правил: если кони, да если домашняя мебель — такая плата, а если посевкампания — другая.

Какая, говорю, домашняя мебель? Что это тебе, мещане какие-нибудь перебираются, какая домашняя мебель?.. Такие нахальные, понимаешь, чинуши, до того нахальные! Сидит себе, дрянь, волынит: мы не знаем никаких мещан-крестьян, мы знаем пассажиров или грузоотправителей. Я ему — классовый разрез, а он мне прямо в глаза: раз есть сборник тарифов, классовый разрез не имеет значения.

Лапоть пропускает мимо ушей и трагическое повествование Коваля о железнодорожниках, и грустные мои рассказы о Куряже и все сворачивает на веселые местные темы, как будто нет никакого Куряжа, как будто ему не придется через несколько дней возглавлять совет командиров этой запущенной страны. Меня начинает печалить его легкомыслие, но и моя печаль разбивается вдребезги его искрящейся выдумкой. Я вместе со всеми хохочу и тоже забываю о Куряже. Сейчас, на свободе от текущих забот, вырос и расцвел оригинальный талант Лаптя. Он замечательный коллекционер; возле него всегда вертятся, в него влюблены, ему верят и поклоняются дураки, чудаки, одержимые, психические и из-за угла мешком прибитые. Лапоть умеет сортировать их, раскладывать по коробочкам, лелеять и перебирать на ладони. В его руках они играют тончайшими оттенками красоты и кажутся интереснейшими экземплярами человеческой породы.

Бледному, молчаливо-растерянному Густоивану он говорит прочувствованно:

— Да... там церковь посреди двора. Зачем нам чужой дьякон? Ты будешь дьяконом.

Густоиван шевелит нежно-розовыми губами. Еще до колонии кто-то подсыпал в его жидкую душу лошадиную порцию опиума, и с тех пор он никак не может откашляться. Он молится по вечерам в темных углах спален, и шутки колонистов принимает, как сладкие страдания. Колесник Козырь не так доверчив:

— Зачем вы так говорите, товарищ Лапоть, господи прости? Как может Густоиван быть дьяконом, если на него духовной благодати не возлил господь?

Лапоть задирает мягкий веснушчатый нос:

— Подумаешь, важность какая — благодать! Наденем на него эту самую хламиду, ого! Такой дьякон будет!

— Благодать нужна,— музыкально-нежным тенором убеждает Козырь.— Владыка должен руки возложить.

Лапоть присаживается на корточки перед Козырем и пристально моргает на него голыми припухшими веками:

— Ты пойми, дед: владыка — значит «владеет», власть, значит... Так?

— Владыка имеет власть...

— А совет командиров, как ты думаешь? Если совет командиров руки возложит, это я понимаю!

— Совет командиров, голубчик мой, не может, нет у него благодати,— склоняет голову на плечо умиленный разговором Козырь.

Но Лапоть укладывает руки на колени Козыря и задушевно-благостно уверяет его:

— Может, Козырь, может! Совет командиров может такую благодать выпустить, что твой владыка будет только мекать!

Старый добрый Козырь внимательно слушает влезающий в душу говорок Лаптя и очень близок к уступке. Что ему дали владыка и все святые угодники? Ничего не дали. А совет командиров возлил на Козыря реальную, хорошую благодать: он защитил его от жены, дал светлую, чистую комнату, в комнате кровать, ноги Козыря обул в крепкие, ладные сапоги, сшитые первым отрядом Гуда. Может быть, в раю, когда умрет старый Козырь, есть еще надежда получить какую-нибудь компенсацию от господа бога, но в земной жизни Козыря совет командиров абсолютно незаменим.

— Лапоть, ты тут? — заглядывает в окно угрюмая рожа Галатенко.

— Ага. А что такое? — отрывается Лапоть от благодатной темы.

Галатенко не спеша пристраивается к подоконнику и показывает Лаптю полную чашу гнева, от которого подымается медленный клубящийся пар человеческого страдания. Большие серые глаза Галатенко блестят тяжелой, густой слезой.

— Ты скажи ему, Лапоть, ты скажи... а то я могу ему морду набить...

— Кому?

— Таранцю.

Галатенко узнает меня в комнате и улыбается, вытирая слезы.

— Что случилось, Галатенко?

— Разве он имеет право? Он думает, как он командир четвертого, что ж с того? Ему сказали — зробыть станок для Молодця, а он говорит: и для Молодця зробыть и для Галатенко.

— Кому говорит?

— Та столярам своим, хлопцям.

— Ну?

— То ж станок для Молодця, чтоб из вагона не выскочил, а они поймали меня и мерку снимают, а Таранец каже: для Молодця с левой стороны, а для Галатенко — с правой.

— Что это?

— Та станок же.

Лапоть задумчиво чешет за ухом, а Галатенко терпеливо-пристально ждет, какое решение вынесет Лапоть.

— Да неужели ты выскочишь из вагона? Не может быть!

Галатенко за окном что-то выделывает ногами и сам на свои ноги оглядывается:

— Та чего ж я выскочу? Куда ж я буду выскакуваты? А он говорит: сделайте крепкий станок, а то он вагон разнесет.

— Кто?

— Та я ж...

— А ты не разнесешь?

— Та хиба я буду... там... в самом деле...

— Таранец тебя очень сильным считает. Ты не обижайся.

— Что я сильный, так это другое дело... А станок тут ни при чем.

Лапоть прыгает через окно и деловито спешит к столярной, за ним бредет Галатенко.

В коллекции Лаптя и Аркадий Ужиков. Лапоть считает Аркадия чрезвычайно редким экземпляром и рассказывает о нем с искренним жаром:

— Такого, как Аркадий, за всю жизнь разве одного можно увидеть. Он от меня дальше десяти шагов не отходит, боится хлопцев. И спит рядом и обедает.

— Любит тебя?

— Ого! А только у меня были деньги, на веревки дал Коваль, так спер...

Лапоть вдруг громко хохочет и спрашивает сидящего на ящике Аркадия:

— Расскажи, чудак, где ты их прятал?

Аркадий отвечает безжизненно-равнодушно, не меняя позы, не смущаясь:

— Спрятал в твоих старых штанах.

— А дальше что было?

— А потом ты нашел.

— Не нашел, дружок, а поймал на месте преступления. Так?

— Поймал.

Испачканные глаза Аркадия не отрываются от лица Лаптя, но это не человеческие глаза, это плохого сорта мертвые, стеклянные приспособления.

— Он и у вас может украсть, Антон Семенович. Честное слово, может! Можешь?

Ужиков молчит.

— Может! — с увлечением говорит Лапоть, и Ужиков так же равнодушно следит за его выразительным жестом.

Ходит за Лаптем и Ниценко. У него тонкая, длинная шея с кадыком и маленькая голова, сидящая на плечах с глупой гордостью верблюда. Лапоть о нем говорит:

— Из этого дурака можно всяких вещей наделать: оглобли, ложки, корыта, лопаты. А он воображает, что он уркаган!

Я доволен, что вся эта компания тянется к Лаптю. Благодаря этому мне легче выделить ее из общего строя горьковцев. Неутомимые сентенции Лаптя поливают эту группу как будто дезинфекцией, и от этого у меня усиливается впечатление дельного порядка и собранности колонии. А это впечатление сейчас у меня яркое, и почему-то оно кажется еще и новым.

Все колонисты спросили меня, как дела в Куряже, но в то же время я вижу, что на самом деле спрашивали они только из вежливости, как обычно спрашивают при встрече: «Как поживаете?» Живой интерес к Куряжу в каких-то дальних закоулках нашего коллектива присох и затерялся. Доминируют иные живые темы и переживания: вагоны, станки для Молодца и Галатенко, брошен-

ные на заботу колонистов полные вещей воспитательские квартиры, ночевки на сене, «Блоха», скаредность Нестеренко, узлы, ящики, подводы, новые бархатные тюбетейки, грустные личики Марусь, Наталок и Татьян с Гончаровки,— свеженькие побеги любви, приговоренные к консервации. На поверхности коллектива ходят анекдоты и шутки, переливается смех, и потрескивает дружеское нехитрое зубоскальство. Вот так же точно по зрелому пшеничному полю ходят волны, и издали оно кажется легкомысленным и игривым. А на самом деле в каждом колосе спокойно грезят силы, колос мирно пошатывается под ласковым ветром, ни одна легкая пылинка с него не упадет, и нет в нем никакой тревоги. И как не нужно колосу заботиться о молотьбе, так не нужно колонистам беспокоиться о Куряже. И молотьба придет в свое время, и в Куряже в свое время будет работа.

По теплым дорожкам колонии с замедленной грацией ступают босые ноги колонистов, и стянутые узким поясом талии чуть-чуть колеблются в покое. Глаза их улыбаются мне спокойно, и губы еле вздрагивают в приветном салюте друга. В парке, в саду, на грустных, покидаемых скамейках, на травке, над рекой расположились группки; бывалые пацаны рассказывают о прошлом: о матери, о тачанках, о степных и лесных отрядах. Над ними притихшие кроны деревьев, полеты пчел, запахи «снежных королев» и белой акации.

В неловком смущении я начинаю различать идиллию. В голову лезут иронические образы пастушков, зефиров, любви. Но, честное слово, жизнь способна шутить и шутит иногда нахально. Под кустом сирени сидит курносый сморщенный пацан, именуемый «Мопсик», и наигрывает на сопилке. Не сопилка это, а свирель, конечно, а может быть флейта, а у Мопсика ехидная мордочка маленького фавна. А на берегу луга девчата плетут венки, и Наташа Петренко в васильковом венчике трогает меня до слез сказочной прелестью. А из-за пушистой стеночки бузины выходит на дорожку Пан, улыбается вздрагивающим седым усом и щурит светло-синие глубокие очи:

— А я тебя шукав, шукав! Говорили, ты будто в город ездив. Ну, что, уговорив этих паразитов? Дитлахам ехать нужно, придумали адиоты, знущаться...

— Слушай, Калина Иванович,— говорю я,— пока здесь хлопцы, лучше будет тебе переехать в город к сыну. А то уедем, тебе будет труднее это сделать.

Калина Иванович роется в широких карманах пиджака, ищет трубку:

— Первым я сюда приехал, последним уеду. Граки меня сюда привезли, граки и вывезут, паразиты. Я уже и договорился с этим самым Мусием. А перевозить меня пустяковое дело. Ты читав, наверное, в книжках, сколько мир стоит? Так сколько за это время таких старых дураков перевозили, и ни одного не потеряли. Перевезут, хэ-хэ...

Мы идем с Калиной Ивановичем по аллейке. Он пыхает трубкой и щурится на верхушки кустов, на блестящую заводь Коломака, на девушек в венках и на Мопсика с сопилкой.

— Када б брехать умев, как некоторые паразиты, сказав бы: приеду, посмотрю на Куряж. А так прямо скажу: не приеду. Понимаешь ты, погано человек сделан, нежная тварь, не столько той работы, сколько беспокойства. Чи робыв, чи не робыв, а смотришь: теорехтически человек, а прахтически только на клей годится. Когда люди поумнеют, они из стариков клей варить будут. Хороший клей может выйти...

После бессонной ночи и разъездов по городу у меня какое-то хрустальное состояние: мир потихоньку звенит и поблескивает кругами. Калина Иванович вспоминает разные случаи жизни, а я способен ощущать только его сегодняшнюю старость и обижаться за нее.

— Ты хорошую жизнь прожил, Калина...

— Я тебе так скажу,— остановился, выбивая трубку, Калина Иванович.— Я ж тебе не какой-нибудь адиот и понимаю, в чем дело. Жизнь — она плохо была стяпана, если так посмотреть: нажрався, сходив до ветру, выспався, опять же за хлеб чи за мясо...

— Постой, а работа?

— Кому же та работа была нужная? Ты ж понимаешь, какая механика: кому работа нужная, так той же не робыв, паразит, а кому она вовсе не нужная, так те робылы и робылы, як чорни волы.

Помолчали.

— Жалко, мало пожив при большевиках,— продолжал Калина Иванович.— Они, чорты́, все по-своему, и грубияны, конечно, а я не люблю, если человек грубиян. А только при них жизнь не такая стала. Он тебе говорит, хэ-хэ... чи ты поив, а може, не поив, а може, тебе куда нужно, все равно, а ты свою работу сделай. Ты видав такое? Стала работа всем нужная. Бывает такой адиот вроде меня и не понимает ничего, а робыть и обидать забувае, разве жинка нагонит. А ты разве не помнишь? Я до тебя прийшов раз и говорю: ты обидав? А уже вечер. А ты, хэ-хэ, стал тай думаешь, чи обидав, чи нет? Кажись, обидав, а может, то вчера было. Забув, хэ-хэ... Ты видав такое?

Мы до наступления темноты ходили с Калиной Ивановичем в парке. Когда на западе выключили даже дежурное освещение, прибежал Костя Шаровский и, похлопывая себя по босым ногам противокомариной веточкой, возмущался:

— Там уже гримируются, а вы все гуляете и гуляете! И хлопцы говорят, чтобы туда шли. Ой, и царь же смешной выходит! Лапоть царя играет: нос такой!..

В театре собрались все наши друзья из деревни и хуторов. Коммуна имени Луначарского пришла в полном составе. Нестеренко сидел за закрытым занавесом на троне и отбивался от пацанов, обвинявших его в скаредности, неблагодарности и черствости. Оля Воронова намазывала перед зеркалом обличье царской дочери и беспокоилась:

— Они там моего Нестеренко замучат...

«Блоха» ставилась у нас не первый раз, но сейчас спектакль готовился с большим напряжением, так как главные гримировщики, Буцай и Горович, были в Куряже. Поэтому гримы получались чересчур яркие. Это никого не смущало: спектакль был только предлогом для прощальных приветствий. Во многих пунктах прощальный ритуал не нуждался даже ни в каком оформлении. Пироговские и гончаровские девчата возвращались в доисторическую эпоху, ибо в их представлении история начиналась со времени прихода на Коломак неотразимых горьковцев. По углам мельничного сарая, возле печек, потухших еще в марте, в притененных проходах за сценой, на случайных скамьях, обрубках, на разных теат-

ральных условностях сидели девушки, и их платки с цветочками сползали на плечи, открывая грустные склоненные русые головы. Никакие слова, никакие звуки небес, никакие вздохи не в состоянии уже были наполнить радостью девичьи сердца. Нежные, печальные пальчики перебирали на коленях бахрому платков, и это тоже было ненужным, запоздавшим проявлением грации. Рядом с девушками стояли колонисты и делали вид, что у них душа отравлена страданием. Из артистической уборной выглядывал иногда Лапоть, иронически морщил нос над трупиком амура и говорил нежным, полным муки голосом:

— Петя, голубчик!.. Маруся и без тебя помолчит, а ты иди готовься. Забыл, что ты коня играешь?

Петя мошеннически заменяет нахальный вздох облегчения деликатным вздохом разлуки и оставляет Марусю в одиночестве. Хорошо, что сердца Марусь устроены по принципу взаимозаменяемости частей. Пройдет два месяца, вывинтит Маруся износившийся ржавый образ Пети и, прочистив сердце керосином надежды, завинтит новую блестящую деталь — образ Панаса из Сторожевого, который сейчас в группе колонистов тоже грустно провожает хорошую дружбу с горьковцами, но который в глубине души мысленно уже прилаживается к резьбе Марусиного сердца. В общем все хорошо на свете, и ролью своей, ролью коня в тройке атамана Платова, Петя тоже доволен.

Началась торжественно-прощальная часть. После хороших, теплых слов, напутствий, слов благодарности, слов трудового единства взвился занавес, и вокруг никчемного, глупого царя заходили ветхие генералы, и чудаковатый, неповоротливый дворник подметает за ними просыпавшийся стариковский порох. Из задних дверей мельничного сарая вылетела тройка жеребцов. Галатенко, Корыто, Федоренко, закусив удила, мотая тяжелыми головами, разрушая театральную мебель, на натянутых вожжах кучера, Таранца, с треском вынесли на сцену, и затрещал старый пол наших подмостков. За пояс Таранца держится боевой, дурашливо вымуштрованный атаман Платов — восходящая звезда нашей сцены, Олег Огнев. Публика придавливает большими пальцами последние искорки грусти и ныряет в омут театральной

выдумки и красоты. В первом ряду сидит Калина Иванович и плачет, сбивая слезу сморщенным желтым пальцем,— так ему смешно!

Я вдруг вспомнил о Куряже.

Нет, ныне не принято молиться о снисхождении, и никто не пронесет мимо меня эту чашу. Я вдруг почувствовал, что устал и износился до отказа.

В уборной артистов было весело и уютно. Лапоть в царской одежде, в короне набекрень сидел в широком кресле Екатерины Григорьевны и убеждал Галатенко, что роль коня тот выполнил гениально:

— Я такого коня в жизни не видел, а не то что в театре.

Оля Воронова сказала Лаптю:

— Встань, Ванька, пускай Антон Семенович отдохнет.

В этом замечательном кресле я и заснул, не ожидая конца спектакля. Сквозь сон слышал, как пацаны одиннадцатого отряда спорили оглушительными дискантами:

— Перенесем! Перенесем! Давайте перенесем!

Силантий, наоборот, шептал, уговаривая пацанов:

— Ты, здесь это, не кричи, как говорится. Заснул человек, не мешай, и больше никаких данных... Видишь, какая история.

6. ПЯТЬ ДНЕЙ

На другой день, расцеловавшись с Калиной Ивановичем, с Олей, с Нестеренко, я уехал. Коваль получил распоряжение точно выполнить план погрузки и через пять дней выехать с колонией в Харьков.

Мне было не по себе. В моей душе были нарушены какие-то естественные балансы, и я чувствовал себя неуютно. В Куряжский монастырь я пришел с Рыжовской станции около часу дня, и как только вошел в ворота, на меня сразу навалились так называемые неприятности.

В Куряже сидела целая следственная организация: Брегель, Клямер, Юрьев, прокурор, и между ними почему-то вертелся бывший куряжский заведующий. Брегель сказала мне сурово:

— Здесь начались уже избиения.

— Кто кого избивает?

— К сожалению, неизвестно кто... и по чьему наущению...

Прокурор, толстый человек в очках, виновато глянул на Брегель и сказал тихо:

— Я думаю, случай... ясный... Наущения могло и не быть. Какие-то, знаете, счеты... Собственно говоря, побои легкого типа. Но все-таки интересно было бы посмотреть, кто это сделал? Вот теперь приехал заведующий... Вы здесь, может быть, что-нибудь узнаете подробнее и нам сообщите.

Брегель была явно недовольна поведением прокурора. Не сказав мне больше ни слова, она уселась в машину. Юрьев стыдливо мне улыбнулся. Комиссия уехала.

Воспитанника Дорошко избили ночью во дворе в тот момент, когда он, насобирав по спальням полдюжины пар сравнительно новых ботинок, пробирался с ними к воротам. Все обстоятельства ночного происшествия доказывали, что избиение было хорошо организовано, что за Дорошко следили во время самой кражи. Когда он подходил уже к колокольне, из-за кустов акации, растущей у соседнего флигеля, на него набросили одеяло, повалили на землю и избили. Горьковский, проходя из конюшни, видел в темноте, как несколько мелких фигур разбежались во все стороны, бросив Дорошко, но захватив с собой одеяло. Немедленные поиски виновников по спальням не открыли ничего: все спали. Дорошко был покрыт синяками, его пришлось уложить в колонийской больничке, вызвать врача, но особенно тяжких нарушений в его организме врач не нашел. Горович все же немедленно сообщил о происшествии Юрьеву.

Приехавшая следственная комиссия во главе с Брегель повела дело энергично. Наш передовой сводный был возвращен с поля и подвергнут допросу поодиночке. Клямер в особенности искал доказательств, что избивали горьковцы. Ни один из воспитателей не был допрошен, с ними вообще избегали разговаривать и ограничились только распоряжением вызвать того или другого. Из куряжан вызвали к допросу в отдельную комнату только Ховраха и Переца, и то, вероятно, потому, что они кричали под окнами:

— Вы нас спросите! Что вы их спрашиваете? Они убивать нас будут, а пожаловаться некому.

В больничке лежал корявый мальчик лет шестнадцати, Дорошко, смотрел на меня внимательным сухим взглядом и шептал:

— Я давно хотел вам сказать...

— Кто тебя побил?

— А что, приезжали?.. А кто меня бил, кому какое дело! А я говорю, не ваши побили, а они хотят — ваши. А если бы не ваши, меня убили бы. Тот... такой командир, он проходил, а те разбежались, пацаны...

— Это кто же?

— Я не скажу... Я не для себя крал. Мне еще утром сказал... тот...

— Ховрах?

Молчание.

— Ховрах?

Дорошко уткнулся лицом в подушку и заплакал. Сквозь рыдания я еле разбирал его слова:

— Он... узнает... Я думал... последний раз... я думал...

Я подождал, пока он успокоится, и еще раз спросил:

— Значит, ты не знаешь, кто тебя бил?

Он вдруг сел на постель, взялся за голову и закачался слева направо в глубоком горе. Потом, не отрывая рук от головы, с полными еще слез глазами улыбнулся:

— Нет, как же можно? Это не горьковцы. Они не так били бы...

— А как?

— Я не знаю, как, а только они без одеяла... Они не могут с одеялом...

— Почему ты плачешь? Тебе больно?

— Нет, мне не больно, а только... я думал, последний раз... И вы не узнаете...

— Это ничего,— сказал я.— Поправляйся, все забудем...

— Угу... Пожалуйста, Антон Семенович, вы забудьте...

Он, наконец, успокоился.

Я начал собственное следствие. Горович и Киргизов разводили руками и начинали сердиться. Иван Денисович пытался даже сделать надутое лицо и ежил брови, но

на его физиономии давно уложены такие мощные пласты добродушия, что эти гримасы только рассмешили меня:

— Чего вы, Иван Денисович, надуваетесь?

— Как — чего надуваюсь? Они тут друг друга порежут, а я должен знать! Побили этого Дорошко, ну и что же, какие-то старые счеты...

— Я сомневаюсь, старые ли?

— Ну, а как же?

— Счеты здесь, вероятно, все же новые. А вот — уверены ли вы, что это не горьковцы?

— Та что вы, бог с вами! — изумился Иван Денисович.— На чертей это нашим нужно?

Волохов смотрел на меня зверски:

— Кто? Наши? Такую козявку? Бить? Да кто же из наших такое сделает? Если, скажем, Ховраха, или Чурила, или Короткова,— ого, я хоть сейчас, только разрешите! А что он ботинки спер? Так они каждую ночь крадут. Да и сколько тех ботинок осталось? Все равно, пока колония приедет, тут ничего не останется. Черт с ними, пускай крадут. Мы на это и внимания не обращаем. Работать не хотят — это другое дело...

Екатерину Григорьевну и Лидочку я нашел в их пустой комнате в состоянии полной растерянности. Их особенно напугал приезд следственной комиссии. Лидочка сидела у окна и неотступно смотрела на засоренный двор. Екатерина Григорьевна тяжело всматривалась в мое лицо.

— Вы довольны? — спросила она.

— Чем?

— Всем: обителью, мальчиками, начальством?

Я на минутку задумался: доволен ли я? А пожалуй, что же, какие у меня особенные основания быть недовольным? Приблизительно это все соответствовало моим ожиданиям.

— Да,— сказал я,— и вообще я не склонен пищать.

— А я пищу,— сказала без улыбки и оживления Екатерина Григорьевна,— да, пищу. Я не могу понять, почему мы так одиноки. Здесь большое несчастье, настоящий человеческий ужас, а к нам приезжают какие-то... бояре, важничают, презирают нас. В таком одиночестве мы обязательно сорвемся. Я не хочу... И не могу.

Лидочка медленно застучала кулачком по подоконни-

ку и начала ее уговаривать, на самой тоненькой паутинке удерживая рыдания:

— Я маленький, маленький человек... Я хочу работать, хочу страшно работать, может быть, даже... я могу подвиг сделать... Только я... человек... человек же, а не козявка.

Она снова повернулась к окну, а я плотно закрыл двери и вышел на высокое шаткое крыльцо. Возле крыльца стояли Ваня Зайченко и Костя Ветковский. Костя смеялся:

— Ну, и что же? Полопали?

Ваня торжественно, как маркиз, повел рукой по линии горизонта и сказал:

— Полопали. Развели костры, попекли и полопали! И все! Видишь? А потом спать легли. И спали. Мой отряд работал рядом, мы кавуны сеяли. Мы смеемся, а ихний командир Петрушко тоже смеется... И все... Говорит хорошо картошки поели печеной!

— Да что же, они всю картошку поели? Там же сорок пудов!

— Поели! Попекли и поели! А то в лесу спрятали, а то бросили в поле. И легли спать. А обедать тоже не пошли. Петрушко говорит: зачем нам обед, мы сегодня картошку садили. Одарюк ему сказал: ты свинья! И они подрались. А ваш Миша, он сначала там был, показывал, как садить картошку, а потом его позвали в комиссию.

Ваня сегодня не в длинных изодранных штанах, а в трусиках, и трусики у него с карманами,— такие трусики делались только в колонии имени Горького. Не иначе как Шелапутин или Тоська поделились с Ваней своим гардеробом. Рассказывая Ветковскому, размахивая руками, притопывая стройными ножками, Ваня прищуривался на меня, и в его глазах проскакивали то и дело теплые точечки милой мальчишеской иронии.

— Ты уже выздоровел, Иван? — спросил я.

— Ого! — сказал Ваня, поглаживая себя по груди.— Здоров. Мой отряд сегодня был в «первом ка» сводном. Ха-ха «первый ка» — кавуны значит! Мы работали с Денисом, а потом его позвали, так мы без Дениса. Вот увидите, какие кавуны вырастут. А когда приедут горьковцы? Через пять дней? Ох, и интересно, какие все эти горьковцы? Правда ж, интересно.

— Ваня, как ты думаешь, кто это побил Дорошко?

Ваня вдруг повернулся ко мне серьезным лицом и прицелился неотрывным взглядом к моим очкам. Потом поднял щеки, опустил, снова поднял и, наконец, завертел головой, заводил пальцем около уха и улыбнулся:

— Не знаю.

И быстро двинулся куда-то с самым деловым видом.

— Ваня, подожди! Ты знаешь и должен мне сказать.

У стены собора Ваня остановился, издали посмотрел на меня, на мгновение смутился, но потом, как мужчина, просто и холодновато сказал, подчеркивая каждое слово:

— Скажу вам правду: я там был, а кто еще был, не скажу! И пускай не крадет!

И я и Ваня задумались. Костя ушел еще раньше. Думали мы, думали, и я сказал Ване:

— Ступай под арест. В пионерской комнате. Скажи Волохову, что ты арестован до сигнала «спать».

Ваня поднял глаза, молча кивнул головой и побежал в пионерскую комнату.

Эти пять дней я представляю себе на фоне всей моей жизни, как длинное черное тире. Тире и больше ничего. Сейчас я с большим трудом вспоминаю кое-какие подробности моей тогдашней деятельности. В сущности, вероятно, это не была деятельность, а какое-то внутреннее движение, а может быть, чистая потенция, покой крепко вымуштрованных, связанных сил. Тогда мне казалось, что я нахожусь в состоянии буйной работы, что я занимаюсь анализом, что я что-то решаю. А на самом деле, я просто ожидал приезда горьковцев.

Впрочем, кое-что мы делали.

Я вспоминаю: мы аккуратно вставали в пять часов утра. Аккуратно и терпеливо злились, наблюдая полное нежелание куряжан следовать нашему примеру. Передовой сводный в это время почти не ложился спать: были работы, которых нельзя откладывать. Шере приехал на другой день после меня. В течение двух часов он мерил поля, дворы, службы, площадки острым, обиженным взглядом, проходил по ним суворовскими маршами, молчал и грыз всякую дрянь из растительного царства. Вечером загоревшие, похудевшие пыльные горьковцы на-

чали расчищать площадку, на которой нужно было поместить наше огромное свиное стадо.

Начали копать ямы для парников и оранжереи. Волохов в эти дни показал высокий класс командира и организатора. Он ухитрялся оставлять в поле при двух парах одного человека, а остальных бросал на другую работу. Петр Иванович Горович выходил утром в метровом бриле с какой-то особенно восхитительной лопатой в руках и, потрясая ею, говорил кучке любопытных куряжан:

— Идем копать, богатыри!

«Богатыри» отворачивались и расходились по своим делам. По дороге они встречали черного, как ночь, Буцая в трусиках и так же застенчиво выслушивали его приглашение, оформленное в самых низких тонах регистра:

— Чертовы дармоеды, долго я на вас буду работать?..

По вечерам приезжал кое-кто из рабфаковцев и брался за лопату, но этих я скоро прогонял обратно в Харьков,— шутить было нельзя, у них шли весенние зачеты. Первый наш рабфаковский выпуск этой весной переходил уже в вузы.

Вспоминаю: за эти пять дней много было сделано всякой работы и много было начато. Вокруг Борового, молниеносно закончившего просторные, без сквозняков, постройки особого назначения, сейчас работала целая бригада плотников: погреба, школа, квартиры, парники, оранжерея... В электростанции возилась тройка монтеров, такая же тройка занималась изысканиями в недрах земли: узнали мы у подворчан, что еще при монашеской власти был в Куряже водопровод. Действительно, на верхней площадке колокольни стоял солидный бак, а от колокольни мы довольно удачно начали раскапывать прокладки труб.

Весь двор Куряжа через два дня был завален досками, щепками, бревнами, изрыт канавами: начинался восстановительный период в полном смысле этого слова.

Мы очень мало сделали для улучшения санитарного положения куряжан, но, по правде сказать, мы и сами редко умывались. Рано утром Шелапутин и Соловьев отправлялись с ведрами к «чудотворному» источнику под горой, но, пока они карабкались по отвесному скату, падая и разливая драгоценную воду, мы спешили разой-

тись по рабочим местам, ребята выезжали в поле, и ведро воды без пользы оставалось нагреваться в нашей жаркой пионерской комнате. Точно так же и в других областях, близких к санитарии, у нас было неблагополучно. Десятый отряд Вани Зайченко, так безоглядно перешедший на нашу сторону, вне всяких планов и распоряжений перебрался в нашу комнату и спал на полу, на принесенных с собой одеялах. Несмотря на то, что отряд этот состоял из хороших, милых мальчиков, он натащил в нашу комнату несколько поколений вшей.

С точки зрения мировых педагогических вопросов это была не такая большая беда, однако Лидочка и Екатерина Григорьевна просили нас по возможности не заходить к ним в комнаты, а зайдя, по возможности не пользоваться мебелью, не подходить близко к столам, кроватям и другим нежным предметам. Как они сами устраивались и откуда у них взялась такая придирчивость по отношению к нам, сказать затрудняюсь, а между тем в течение круглого дня они почти не выходили из спален воспитанников, выясняя очень многие детали куряжского общежития по специальному программному заданию, выработанному нашей комсомольской организацией.

Я намечал капитальную реорганизацию всех помещений колонии. Длинные комнаты бывшей монастырской гостиницы, называемой у куряжан школой, я намечал под спальни. Выходило так, что в одном этом здании я помещаю все четыре сотни воспитанников. Из этого здания не трудно было выбросить обломки школьной мебели и наполнить его штукатурами, столярами, малярами, стекольщиками. Для школы я назначил то самое здание без дверей, в котором помещался «первый коллектив», но, разумеется, ремонт здесь был невозможен, пока в нем гнездились куряжане.

Да, мы проявили незаурядную деятельность, но это была деятельность не педагогическая. В колонии не было такого угла, в котором не работали бы люди. Все чинилось, мазалось, красилось, мылось. Даже столовую мы выбросили на двор и приступили к решительному замазыванию ликов святых угодников мужского и женского пола. Только спален не коснулась идея восстановления.

В спальнях по-прежнему копошились куряжане, спали, переваривали пищу, кормили вшей, крали друг у дру-

га всякие пустяки и что-то думали таинственное обо мне и моей деятельности. Я перестал заходить в спальни и вообще интересоваться внутренней жизнью всех шести куряжских «коллективов». С куряжанами у меня установились сурово точные отношения. В семь часов, в двенадцать и в шесть часов вечера открывалась столовая, кто-нибудь из моих ребят тарабанил в колокол, и куряжане тащились на кормление. Впрочем, особенно медленно тащиться им было, пожалуй, и невыгодно, не потому только, что столовая закрывалась в определенное время, но и потому, что раньше пришедшие пожирали и свои порции и порции опоздавших товарищей. Опоздавшие ругали меня, кухонный персонал и советскую власть, но на более энергичный протест не решались, так как комендантом нашего питательного пункта по-прежнему был Миша Овчаренко.

Я научился с тайным злорадством наблюдать, с какими трудностями теперь приходилось куряжанам пробираться к столовой и расходиться после приема пищи по своим делам: на пути их были бревна, канавы, поперечные пилы, занесенные топоры, размешанные круги глины и кучи извести... и собственные души. В душах этих, по всем признакам, зачинались трагедии, трагедии не в каком-нибудь шутливом смысле, а настоящие шекспировские. Я убежден, что в это время многие куряжане про себя декламировали: «Быть или не быть? — вот в чем вопрос...»

Они небольшими группами останавливались возле рабочих мест, трусливо оглядывались на товарищей и виноватым, задумчивым шагом направлялись к спальням. Но в спальнях не оставалось уже ничего интересного, даже и украсть было нечего. Они снова выходили бродить поближе к работе, из ложного стыда перед товарищами не решались поднять белый флаг и просить разрешения хотя бы перенести что-нибудь с места на место. Мимо них пролетали по прямым линиям стремительные, как глиссер, горьковцы, легко подымаясь в воздух на разных препятствиях; их деловитость оглушала куряжан, и они снова останавливались в позах Гамлета или Кориолана. Пожалуй, положение куряжан было трагичнее, ибо Гамлету никто не кричал веселым голосом:

— Не лазь под ногами, до обеда еще два часа!

С таким же, непозволительным, конечно, злорадством я замечал замирание и перебои в сердцах куряжан при упоминании имени горьковцев. Члены передового сводного иногда позволяли себе произносить реплики, которые они, конечно, не произносили бы, если бы окончили педагогический вуз:

— Вот подожди, приедут наши, тогда узнаешь, как это на чужой счет жить...

Из куряжан, кто постарше и поразвязнее, пробовали даже сомневаться в значительности предстоящих событий и вопрошали с некоторой иронией:

— Ну, так что ж такое страшное будет?

Денис Кудлатый на такой вопрос отвечал:

— Что будет? Ого! Собственно говоря, они тебя таким узлом завяжут... жениться будешь, так и то вспомнишь.

Миша Овчаренко, который вообще не любил недоговоренностей и темных мест, выражался еще понятнее:

— Сколько тут вас есть дармоедов, двести восемьдесят чи сколько, столько и морд будет битых. Ох, и понабивают морды, смотреть страшно будет!

Слушает такие речи и Ховрах и цедит сквозь зубы:

— Понабивают... Это вам не колония имени Горького. Это вам Харьков!

Миша считает поднятый вопрос настолько важным, что отвлекается от работы и ласково начинает:

— Милый человек! Что ты мне говоришь: не колония Горького, а Харьков и все такое... Ты пойми, дружок, кто это позволит тебе сидеть на его шее? Ну, на что ты кому сдался, кому ты, дружок, нужен?

Миша возвращается к работе, и уже в руках у него какой-нибудь рабочий инструмент, а на устах заключительный аккорд:

— Как твоя фамилия?

Ховрах удивленно встряхивается:

— Что?

— Фамилия твоя как? Сусликов? Или как? Может, Ежиков?

Ховрах краснеет от смущения и обиды:

— Да какого ты черта?

— Скажи твою фамилию, тебе жалко, что ли?

— Ну, Ховрах...

— Ага! Ховрах... Верно. А я уже забывать начал. Лазит здесь, вижу, под ногами какой-то рыжий, пользы с тебя никакой... Если бы ты работал, дружок, смотришь туда-сюда, и бывает, нужно сказать: «Ховрах, принеси то. Ховрах, ты скоро сделаешь? Ховрах, подержи, голубчик». А так, конечно, можно и забыть... Ну, иди гуляй, дорогой, у меня, видишь, дело, надо эту штуковину проконопатить, а то возят одной бочкой и на суп, и на чай, и на посуду. А тебя ж кормить нужно. Если тебя, понимаешь, не накормить, ты сдохнешь, вонять будешь тут, неприятно все-таки, да еще гроб тебе делать придется — тоже забота...

Ховрах, наконец, вырывается из Мишиных объятий и уходит. Миша ласково говорит ему вслед:

— Иди, подыши свежим воздухом... Очень полезно, очень полезно...

Кто его знает, убежден ли Ховрах в пользе свежего воздуха, убеждена ли вместе с ним в этом вся куряжская аристократия? В последние дни они стараются все-таки меньше попадаться на глаза, но я уже успел познакомиться с куряжской ветвью голубой крови. В общем они хлопцы ничего себе, у них все-таки есть личности, а это мне всегда нравится: есть за что взяться. Больше всех мне нравится Перец. Правда, он ходит в нарочитой развалке, и чуб у него до бровей, и кепка на один глаз, и курить он умеет, держа цигарку на одной нижней губе, и плевать может художественно. Но я уже вижу: его испорченное оспой лицо смотрит на меня с любопытством, и это — любопытство умного и живого парня.

Недавно я подошел к их компании вечером, когда компания сидела на могильных плитах нового поросячьего солярия, курила и о чем-то без увлечения толковала. Я остановился против них и начал свертывать собачью ножку, рассчитывая у них прикурить. Перец весело и дружелюбно меня разглядывал и сказал громко:

— Стараетесь, товарищ заведующий, много, а курите махорку. Неужели советская власть и для вас папирос не наготовила?

Я подошел к Перецу, наклонился к его руке и прикурил. Потом сказал ему так же громко и весело, с самой микроскопической дозой приказа:

— А ну-ка, сними шапку!

Перец перевел глаза с улыбки на удивление, а рот еще улыбается.

— А что такое?

— Сними шапку, не понимаешь, что ли?

— Ну, сниму...

Я своей рукой поднял его чуб, внимательно рассмотрел его уже немного испуганную физиономию и сказал:

— Так... Ну, добре.

Перец снизу, пристально уставился на меня, но я в несколько вспышек раскурил собачью ножку, быстро повернулся и ушел от них к плотникам.

В этот момент буквально при каждом своем движении, даже на слабом блеске моего пояса я ощущал широко разлитый педагогический долг: надо этим хлопцам нравиться, надо, чтобы их забирала за сердце непобедимая, соблазнительная симпатия, и в то же время до зарезу нужна их глубочайшая уверенность, что мне на их симпатию наплевать, пусть даже обижаются и кроют матом и скрежещут зубами.

Плотники кончали работу, и Боровой изо всех сил начал доказывать преимущество хорошего вареного масла перед плохим вареным маслом. Я так сильно заинтересовался этим новым вопросом, что не заметил даже, как меня дернули сзади за рукав. Дернули второй раз. Я оглянулся. Перец смотрел на меня.

— Ну?

— Слушайте,— скажите, для чего вы на меня смотрели? А?

— Да ничего особенного... Так слушай, Боровой, надо все-таки достать масла настоящего...

Боровой с радостью приступил к продолжению своей монографии о хорошем масле. Я видел, с каким озлоблением смотрел на Борового Перец, ожидая конца его речи. Наконец Боровой с грохотом поднял свой ящик, и мы двинулись к колокольне. Рядом с нами шел Перец и пощипывал верхнюю губу. Боровой ушел вниз, в село, а я заложил руки за спину и стал прямо перед Перецем:

— Так в чем дело?

— Зачем вы на меня смотрели? Скажите.

— Твоя фамилия Перец?

— Ага.

— А зовут Степан?

— А вы откуда знаете?

— Ты из Свердловска?

— Ну да ж... А откуда вы знаете?

— Я все знаю. Я знаю, что ты и крадешь и хулиганишь, я только не знал, умный ты или дурак.

— Ну?

— Ты задал мне очень глупый вопрос,— вот — о папиросах, очень глупый... прямо такой глупый, черт его знает! Ты извини, пожалуйста...

Даже в сумерках заметно было, как залился краской Перец, как отяжелели от крови его веки и как стало ему жарко. Он неудобно переступил и оглянулся:

— Ну, хорошо, чего там извиняться... Конечно... А только какая ж там такая глупость?

— Очень простая. Ты знаешь, что у меня много работы и некогда съездить в город купить папирос. Это ты знаешь. Некогда потому, что советская власть навалила на меня работу: сделать *твою* жизнь разумной и счастливой, *твою*, понимаешь?.. Или, может быть, не понимаешь? Тогда пойдем спать.

— Понимаю,— прохрипел Перец, царапая носком землю.

— Понимаешь?

Я презрительно глянул ему в глаза, прямо в самые оси зрачков... Я видел, как штопоры моей мысли и воли ввинчиваются в эти самые зрачки. Перец опустил голову.

— Понимаешь, бездельник, а лаешь на советскую власть. Дурак, настоящий дурак!

Я повернул к пионерской комнате. Перец загородил мне путь вытянутой рукой:

— Ну, хорошо, хорошо, пускай дурак... А дальше?

— А дальше я посмотрел на твое лицо. Хотел проверить, дурак ты или нет?

— И проверили?

— Проверил.

— И что?

— Пойди посмотри на себя в зеркало.

Я ушел к себе и дальнейших переживаний Переца не наблюдал.

Куряжские лица становились для меня знакомее, я уже научился читать на них кое-какие мимические фразы. Многие поглядывали на меня с нескрываемой симпатией и расцветали той милой, полной искренности и смущения улыбкой, которая бывает только у беспризорных. Я уже знал многих по фамилиям и умел различать некоторые голоса.

Возле меня часто вертится невыносимо курносый Зорень, у которого даже вековые отложения грязи не могут прикрыть превосходного румянца щек и ленивой грации глазных мускулов. Зореню лет тринадцать, руки у него всегда за спиной, он всегда молчит и улыбается. Этот мальчишка красив, у него изогнутые темные ресницы. Он медленно открывает их, включает какой-то далекий свет в черных глазах, не спеша задирает носик, молчит и улыбается. Я спрашиваю:

— Зорень, скажи мне хоть словечко,— какой у тебя голос, страшно интересно!

Он краснеет и обиженно отворачивается, протягивая хриплым шепотом:

— Та-а...

У Зореня друг, такой же румяный, как и он, и тоже красивый, круглолицый,— Митька Нисинов, добродушная, чистая душа. Из таких душ при старом режиме делали сапожных мальчиков и трактирных молодцов. Я смотрю на него и думаю: «Митька, Митька, что мы из тебя сделаем? Как мы разрисуем твою жизнь на советском фоне?»

Митька тоже краснеет и тоже отворачивается, но не хрипит и не такает, а только сдвигает прямые черные брови и шевелит губами. Но Митькин голос мне известен: это глубочайшего залегания контральто, голос холеной, красивой, балованной женщины, с такими же, как у женщины, украшениями и неожиданными элементами соловьиного порядка. Мне приятно слушать этот голос, когда Митька рассказывает мне о куряжских жителях:

— То вот побежал... Ах ты, черт, куда же это он побежал?.. Володька, смотри, смотри, то Буряк побежал... Так это же Буряк, разве вы не знаете? Он может выпить тридцать стаканов молока... это он на коров-

ник побежал... А то — вредный парень, вон из окна выглядывает, ох, и вредный же! Вы понимаете, он такой подлиза, ну, это же прямо, знаете, масло. Он к вам, наверное, тоже подлизывается. О, я уже вижу, кто к вам подлизывается, честное слово, вижу!

— Ванька Зайченко,— обиженно отворачивается Зорень и... краснеет.

Митька умен, чертенок. Он виновато провожает курносую обиду Зореня и взглядом просит меня простить товарищу бестактность.

— Нет,— говорит он,— Ванька нет! У Ваньки такая линия!

— Какая линия?

— Такая линия вышла, что ж...

Митька большим пальцем ноги начинает что-то рисовать на земле.

— Расскажи.

— Да что ж тут рассказывать? Ванька как пришел в колонию, так у него сейчас же эта самая компания завелась, видишь, Володька?.. Ну, конечно, их и били, а все-таки у них такая и была линия...

Я прекрасно понимаю глубокую философию Нисинова, которая «и не снилась нашим мудрецам».

Много здесь таких румяных, красивых и не очень красивых мальчиков, которым не посчастливилось иметь собственную линию. Среди еще чуждых мне, угрюмо настороженных лиц я все больше и больше вижу таких детей, жизнь которых тащится по чужим линиям. Это обыкновенная в старом мире вещь — так называемая подневольная жизнь.

Зорень и Нисинов, и взлохмаченный острый Собченко, и серьезно-грустный Вася Гардинов, и темнолицый мягкий Сергей Храбренко бродят возле меня и грустно улыбаются, сдвигая брови, но прямо перейти на мою сторону не могут. Они жестоко завидуют компании Вани Зайченко, тоскливыми взглядами провожают смелые полеты ее членов по новым транспарантам жизни и... ждут.

Ждут все. Это так прозрачно и так понятно. Ждут приезда мистически нематериальных, непонятных, неуловимо притягательных горьковцев. С каждым часом приближается, может быть, беда, может быть, радость. Да-

же у девочек, и то с каждым днем разгорается жизнь. Уже Оля Ланова сбила свой шестой, полный энергии отряд. Отряд деятельно копошится в своей спальне, что-то чинит, моет, белит, даже поет по вечерам. Туда ежеминутно пробегает захлопотанная Гуляева и прячет от меня сбитую на сторону, измятую блузку. Там частым гостем по вечерам сидит Кудлатый и откровенно меценатствует. Только на полевые работы шестой отряд не выходит, — боится, что куряжские традиции, взорванные таким выходом, похоронят отряд под обломками.

Ждет и Коротков. Это главный центр куряжской традиции. Он восхитительный дипломат. Никакого поступка, слова, буквы, хвостика от буквы нельзя найти в его поведении, которые позволили бы обвинить его в чем-либо. Он виноват не больше, чем другие: как и все, он не выходит на работу, и только. В передовом сводном все изнывают от злости, от ненависти к Короткову, от несомненной уверенности, что Коротков в Куряже главный наш враг.

Я потом уже узнал, что Волохов, Горьковский и Жорка Волков пытались покончить дело при помощи маленькой конференции. Ночью они вызвали Короткова на свидание на берегу пруда и предложили ему убираться из колонии на все четыре стороны. Но Коротков отклонил это предложение и сказал:

— Мне убираться пока что нет смысла. Останусь здесь.

На том конференция и кончилась. Со мною Коротков ни разу не говорил и вообще не выражал никакого интереса к моей личности. Но при встречах он очень вежливо приподнимал щегольскую светлую кепку и произносил дружелюбным влажным баритоном:

— Здравствуйте, товарищ заведующий.

Его смазливое лицо с темными, прекрасно оттушеванными глазами внимательно-вежливо обращается ко мне и совершенно ясно семафорит: «Видите, наши дороги друг другу не мешают, продолжайте свое, а у меня есть свои соображения. Мое почтение, товарищ заведующий».

Только после моей вечерней беседы с Перецем, на другой день, Коротков встретил меня во время завтрака

у кухонного окна, внимательно отстранился, пока я давал какое-то распоряжение, и вдруг серьезно спросил:

— Скажите, пожалуйста, товарищ заведующий, в колонии Горького есть карцер?

— Карцера нет,— так же серьезно ответил я.

Он продолжал спокойно, рассматривая меня, как экспонат:

— Говорят все-таки, что вы сажаете хлопцев под арест?

— Лично ты можешь не беспокоиться: арест существует только для моих друзей,— сказал я сухо и немедленно ушел от него, не интересуясь больше тонкой игрой его физиономии.

15 мая я получил телеграмму:

«Завтра вечером выезжаем все по вагонам Лапоть».

Я объявил телеграмму за ужином и сказал:

— Послезавтра будем встречать наших товарищей. Я очень хочу, очень хочу, чтобы встретили их по-дружески. Ведь теперь вы будете вместе жить... и работать.

Девочки испуганно притихли, как птицы перед грозой. Пацаны разных сортов закосили глазами по лицам товарищей, некоторое количество голов увеличили ротовое отверстие и секунду побыли в таком состоянии.

В углу, возле окна, там, где вокруг столов стоят не скамьи, а стулья, компания Короткова вдруг впадает в большое веселье, громко хохочет и, очевидно, обменивается остротами.

Вечером в передовом сводном состоялось обсуждение подробностей приема горьковцев и проверялись мельчайшие детали специальной декларации комсомольской ячейки. Кудлатый чаще, чем когда-нибудь, поднимал руку к «потылыце»:

— Честное слово, собственно говоря, аж стыдно сюда хлопцев везти.

Открылась медленно дверь, и с трудом в нее пролез Жорка Волков. Держась за столы, добрался до скамьи и глянул на нас одним только глазом, да и тот представлял собой неудобную щель в мясистом синем кровоподтеке.

— Что такое?

— Побили,— прошептал Жорка.

— Кто побил?

— Черт его знает! Граки... Я шел со станции... На переезде... встретили и... побили...

— Да постой! — рассердился Волохов.— Побили, побили!.. Мы и сами видим, что побили... Как дело было? Разговор какой был или как?

— Разговор был короткий,— ответил с грустной гримасой Жорка,— один только сказал: «А-а, комса?..» Ну... и в морду.

— А ты ж?

— Ну, и я ж, конечно. Только их было четверо.

— Ты убежал? — спросил Волохов.

— Нет, не убежал,— ответил Жорка.

— А как же?

— Ты видишь: и сейчас сижу на переезде.

Хлопцы разразились запорожским хохотом, и только Волохов с укором смотрел на искалеченную улыбку друга.

7. ТРИСТА СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ БИС

На рассвете семнадцатого я выехал встречать горьковцев на станцию Люботин, в тридцати километрах от Харькова. На грязненьком перроне станции было бедно и жарко, бродили ленивые, скучные селяне, измятые транспортными неудобствами, скрежетали сапогами по перрону неповоротливые, пропитанные маслом железнодорожники — деятели товарного движения. Все сегодня сговорились противоречить торжественной парче, в которую оделась моя душа. А может быть, это и не парча, а что-нибудь попроще: «треугольная шляпа и серый походный сюртук».

Сегодня день генерального сражения. Это ничего, что громоздкий дядя, носильщик, нечаянно меня толкнувший, не только не пришел в ужас от содеянного, но даже не заметил меня. Ничего также, что дежурный по станции недостаточно почтительно и даже недостаточно вежливо давал мне справки, где находится триста семьдесят третий бис. Эти чудаки делали вид, будто они не понимают, что триста семьдесят третий бис — это главные мои силы, это славные легионы маршалов Коваля и Лаптя, что вся их станция Люботин на сегодня наз-

начена быть плацдармом моего наступления на Куряж. Как растолковать этим людям, что ставки моего сегодняшнего дня, честное слово, более величественны и значительны, чем ставки какого-нибудь Аустерлица. Солнце Наполеона едва ли способно было затмить мою сегодняшнюю славу. А ведь Наполеону гораздо легче было воевать, чем мне. Хотел бы я посмотреть, что получилось бы из Наполеона, если бы методы соцвоса для него были так же обязательны, как для меня.

Бродя по перрону, я поглядывал в сторону Куряжа и вспоминал, что неприятель сегодня показал некоторые признаки слабости духа.

Как ни рано я встал, а в колонии уже было движение. Почему-то многие толкались возле окон пионерской комнаты, другие, гремя ведрами, спускались к «чудотворному» источнику за водой. У колокольных ворот стояли Зорень и Нисинов.

— А когда приедут горьковцы? Утром? — спросил серьезно Митька.

— Утром. Вы сегодня рано поднялись.

— Угу... Не спится как-то... Они на Рыжов приедут?

— На Рыжов. А вы будете здесь встречать.

— А скоро?

— Успеете умыться.

— Пойдем, Митька,— немедленно реализовал Зорень мое предложение.

Я приказал Горовичу для встречи колонны горьковцев и салюта знамени выстроить куряжан во дворе, не применяя для этого никакого особенного давления:

— Просто пригласите.

Наконец вышел из тайников станции Люботин добрый дух в образе угловатого сторожа и зазвонил в колокол. Отзвонив, он открыл мне тайну этого символического действия:

— Запросился триста семьдесят третий бис. Через двадцать минут прибудет.

Вдруг намеченный план встречи неожиданно осложнился, и дальше все покатилось как-то по-особенному запутанно, горячо и по-мальчишески радостно. Раньше чем прибыл триста семьдесят третий бис, из Харькова подкатил дачный, и из вагонов полился на меня комсо-

мольско-рабфаковский освежающий душ. Белухин держал в руке букет цветов:

— Это будем встречать пятый отряд, как будто дамы-графини приезжают. Мне, старику, можно.

В толпе пищала от избытка чувств златокудрая Оксана, и мирно нежилась под солнцем спокойная улыбка Рахили. Братченко размахивал руками, как будто в них был кнут, и твердил неизвестно кому:

— Ого! Я теперь вольный казак. Сегодня же на Молодца сяду.

Прибежал кто-то и крикнул:

— Та поезд уже давно тут!.. На десятом пути...

— Да что ты?

— Та на десятом пути... Давно стоит!..

Мы не успели опешить от неожиданной прозы этого сообщения. Из-под товарного вагона на третьем пути на нас глянула продувная физиономия Лаптя, и его припухший взгляд иронически разглядывал нашу группу.

— Дывысь! — крикнул Карабанов. — Ванька вже з-пид вагона лизе.

На Лаптя набросились всей толпой, но он глубже залез под вагон и оттуда серьезно заявил:

— Соблюдайте очередь! И, кроме того, целоваться буду только с Оксаной и Рахилью, для остальных имею рукопожатие.

Карабанов за ногу вытащил Лаптя из-под вагона, и его голые пятки замелькали в воздухе.

— Черт с вами, целуйте! — сказал Лапоть, опустившись на землю, и подставил веснушчатую щеку.

Оксана и Рахиль действительно занялись поцелуйным обрядом, а остальные бросились под вагоны.

Лапоть долго тряс мне руку и сиял непривычной на его лице простой и искренней радостью.

— Как едете?

— Как на ярмарку,— сказал Лапоть.— Молодец только хулиганит: всю ночь колотил по вагону. Там от вагона только стойки остались. Долго тут будем стоять? Я приказал всем быть наготове. Если что, будем стоять,— умыться ж надо и вообще...

— Иди, узнавай.

Лапоть побежал на станцию, а я поспешил к поезду. В поезде было сорок пять вагонов. Из широко раз-

двинутых дверей и верхних люков смотрели на меня прекрасные лица горьковцев, смеялись, кричали, размахивали тюбетейками. Из ближайшего люка вылез до пояса Гуд, умиленно моргал глазами и бубнил:

— Антон Семенович, отец родной, хиба ж так полагается? Так же не полагается. Разве это закон? Это ж не закон.

— Здравствуй, Гуд, на кого ты жалуешься?

— На этого чертового Лаптя. Сказал, понимаете: кто из вагона вылезет до сигнала, голову оторву. Скорише принимайте команду, а то Лапоть нас уже замучил. Разве Лапоть может быть начальником? Правда ж, не может?

За моей спиной стоит уже Лапоть и охотно продолжает в гамме Гуда:

— А попробуй вылезти из вагона до сигнала! Ну, попробуй! Думаешь, мне приятно с такими шмаровозами возиться? Ну, вылазь!

Гуд продолжал умильно:

— Ты думаешь, мне очень нужно вылазить? Мне и здесь хорошо. Это я принципиально.

— То-то! — сказал Лапоть.— Ну, давай сюда Синенького!

Через минуту из-за плеча Гуда выглянуло хорошенькое детское личико Синенького, недоуменно замигало заспанными глазенками и растянуло упругий яркий ротик:

— Антон Семенович...

— «Здравствуй» скажи, дурень! Чи ты не понимаешь? — зажурил Гуд.

Но Синенький всматривается в меня, краснеет и гудит растерянно:

— Антон Семенович... ну, а это что ж?.. Антон Семенович... смотри ты!..

Он затер кулачками глаза и вдруг по-настоящему обиделся на Гуда:

— Ты ж говорил: разбужу! Ты ж говорил... У, какой Гудище, а еще командир! Сам встал, смотри ты... Уже Куряж? Да? Уже Куряж?

Лапоть засмеялся:

— Какой там Куряж! Это Люботин! Просыпайся скорее, довольно тебе! Сигнал давай!

Синенький молниеносно посерьезнел и проснулся:

— Сигнал? Есть!

Он уже в полном сознании улыбнулся мне и сказал ласково:

— Здравствуйте, Антон Семенович! — и полез на какую-то полку за сигналкой.

Через две секунды он выставил сигналку наружу, подарил меня еще одной чудесной улыбкой, вытер губы голой рукой и придавил их в непередаваемо грациозном напряжении к мундштуку трубы. По станции покатился наш старый сигнал побудки.

Из вагонов запрыгали колонисты, и я занялся бесконечным рукопожатием. Лапоть уже сидел на вагонной крыше и возмущенно гримасничал по нашему адресу:

— Вы чего сюда приехали? Вы будете здесь нежничать? А когда вы будете умываться и убирать в вагонах? Или, может, вы думаете: сдадим вагоны грязными, черт с ними? Так имейте в виду, пощады не будет. И трусики надевайте новые. Где дежурный командир? А?

Таранец выглянул с соседней тормозной площадки. На его теле только сморщенные, полинявшие трусики, а на голой руке новенькая красная повязка.

— Я тут.

— Порядка не вижу! — заорал Лапоть.— Вода где, знаешь? Сколько стоять будет, знаешь? Завтрак раздавать, знаешь? Ну, говори!

Таранец влез к Лаптю на крышу и, загибая пальцы на руках, ответил, что стоять будем сорок минут, умываться можно возле той башни, а завтрак у Федоренко уже приготовлен и когда угодно можно начинать.

— Чулы? — спросил у колонистов Лапоть.— А если чулы, так какого ангела гав ловите?

Загоревшие ноги колонистов замелькали на всех люботинских путях. По вагонам заскребли вениками, и четвертый «У» сводный заходил перед вагонами с ведрами, собирая сор. Из последнего вагона Вершнев и Осадчий вынесли на руках еще не проснувшегося Коваля и старательно приделывали его посидеть на сигнальном столбике.

— Воны ще не проснулысь,— сказал Лапоть, присев перед Ковалем на корточках.

Коваль свалился со столбика.

— Теперь воны вже проснулысь,— отметил это событие Лапоть.

— Как ты мне надоел, Рыжий! — сказал серьезно Коваль и пояснил мне, подавая руку: — Чи есть на этого человека какой-нибудь угомон, чи нету? Всю ночь по крышам, то на паровозе, то ему померещилось, что свиньи показились. Если я чего уморился за это время, то хиба от Лаптя. Где тут умываться?

— А мы знаем,— сказал Осадчий.— Берем, Колька!

Они потащили Коваля к башне, а Лапоть сказал:

— А он еще недоволен... А знаете, Антон Семенович, Коваль, мабуть, за эту неделю первую ночь спал.

Через полчаса в вагонах было убрано, и колонисты в блестящих темно-синих трусиках и белых сорочках уселись завтракать. Меня втащили в штабной вагон и заставили есть «Марию Ивановну».

Снизу, с путей, кто-то сказал громко:

— Лапоть, начальник станции объявил — через каких-нибудь пять минут поедем.

Я выглянул на знакомый голос. Грандиозные очи Марка Шейнгауза смотрели на меня серьезно, и по ним ходили прежние темные волны страсти.

— Марк, здравствуй! Как это я тебя не видел?

— А я был на карауле у знамени,— строго сказал Марк.

— Как тебе живется? Ты теперь доволен своим характером?

Я спрыгнул вниз. Марк поддержал меня и, пользуясь случаем, зашептал напряженно:

— Я еще не очень доволен своим характером, Антон Семенович. Не очень доволен, хочу вам сказать правду.

— Ну?

— Вы понимаете: они едут, так они песни поют, и ничего. А я все думаю и думаю и не могу песни с ними петь. Разве это характер?

— О чем ты думаешь?

— Почему они не боятся, а я боюсь...

— За себя боишься?

— Нет, зачем мне бояться за себя? За себя я ничуть не боюсь, а я боюсь и за вас и за всех, я вообще боюсь. У них была хорошая жизнь, а теперь, наверное, будет плохо, и кто его знает, чем это кончится?

— Зато они идут на борьбу. Это, Марк, большое счастье, когда можно идти на борьбу за лучшую жизнь.

— Так я же вам говорю: они счастливые люди, потому они и песни поют. А почему я не могу петь, а все думаю?

Над самым моим ухом Синенький оглушительно заиграл сигнал общего сбора.

«Сигнал атаки»,— сообразил я и вместе со всеми поспешил к вагону. Взбираясь в вагон, я видел, как свободно, выбрасывая голые пятки, подбежал к своему вагону Марк, и подумал: сегодня этот юноша узнает, что такое победа или поражение. Тогда он станет большевиком.

Паровоз засвистел. Лапоть заорал на какого-то опоздавшего. Поезд тронулся.

Через сорок минут он медленно втянулся на Рыжовскую станцию и остановился на третьем пути. На перроне стояли Екатерина Григорьевна, Лидочка и Гуляева, и у них дрожали лица от радости.

Коваль подошел ко мне:

— Чего будем волынить? Разгружаться?

Он побежал к начальнику. Выяснилось, что поезд для разгрузки нужно подавать на первый путь, к «рамке», но подать нечем. Поездной паровоз ушел в Харьков, а теперь нужно вызвать откуда-то специальный маневровый паровоз. На станцию Рыжов никогда таких составов не приходило, и своего маневрового паровоза не было.

Это известие приняли сначала спокойно. Но прошло полчаса, потом час, нам надоело томиться возле вагонов. Беспокоил нас и Молодец, который, чем выше поднималось солнце, тем больше бесчинствовал в вагоне. Он успел еще ночью разнести вдребезги всю вагонную обшивку и теперь добивал остальное. Возле его вагона уже ходили какие-то чины и в замасленных книжках что-то подсчитывали. Начальник станции летал по путям, как на ристалищах, и требовал, чтобы хлопцы не выходили из вагонов и не ходили по путям, по которым то и дело пробегали пассажирские, дачные, товарные поезда.

— Да когда же будет паровоз? — пристал к нему Таранец.

— Я не больше знаю, чем вы! — почему-то озлился начальник.— Может быть, завтра будет.

— Завтра? О! Так я тогда больше знаю...

— Чего больше? Чего больше?

— Больше знаю, чем вы.

— Как это вы знаете больше, чем я?

— А так: если нет паровоза, мы сами перекатим поезд на первый путь.

Начальник махнул рукой на Таранца и убежал. Тогда Таранец пристал ко мне:

— Перекатим, Антон Семенович, вот увидите. Я знаю. Вагоны легко катаются, если даже груженые. А нас приходится по три человека на вагон. Пойдем поговорим с начальником.

— Отстань, Таранец, глупости какие!

И Карабанов развел руками:

— Ну, такое придумал, поезд он перекатит! Это ж нужно аж до семафора подавать, за все стрелки.

Но Таранец настаивал, и многие ребята его поддерживали. Лапоть предложил:

— О чем нам спорить? Проиграем сейчас на работу и попробуем. Перекатим — хорошо, не перекатим — не надо, будем ночевать в поезде.

— А начальник? — спросил Карабанов, у которого глаза уже заиграли.

— Начальник! — ответил Лапоть.— У начальника есть две руки и одна глотка. Пускай себе размахивает руками и кричит. Веселей будет.

— Нет,— сказал я,— так нельзя. Нас на стрелках может накрыть какой-нибудь поезд. Такой каши наделаете!

— Н-ну, это мы понимаем! Семафор закрыть нужно!

— Бросьте, хлопцы!

Но хлопцы окружили меня целой толпой. Задние взлезли на тормозные площадки и крыши и убеждали меня хором. Они просили у меня только одного: передвинуть поезд на два метра.

— Только на два метра и — стоп. Какое кому дело? Мы никого не трогаем! Только на два метра, а потом сами скажете.

Я, наконец, уступил. Тот же Синенький заиграл на работу, и колонисты, давно усвоившие детали задания, расположились у стоек вагонов. Где-то впереди пищали

девочки. Лапоть вылез на перрон и замахнулся тюбетейкой.

— Стой, стой! — закричал Таранец.— Сейчас начальника приведу, а то он больше меня знает.

Начальник выбежал на перрон и воздел руки:

— Что вы делаете? Что вы делаете?

— На два метра,— сказал Таранец.

— Ни за что, ни за что!.. Как это можно? Как можно такое делать?

— Да на два метра! — закричал Коваль.— Чи вы не понимаете, чи как?

Начальник тупо влепился в Коваля взглядом и забыл опустить руки. Хлопцы хохотали у вагонов. Лапоть снова поднял руку с тюбетейкой, и все прислонились к стойкам, уперлись босыми ногами в песок и, закусив губы, поглядывали на Лаптя. Он махнул тюбетейкой, и, подражая его движению, начальник мотнул головой и открыл рот. Кто-то сзади крикнул:

— Нажимай!

Несколько мгновений мне казалось, что ничего не выйдет — поезд стоит неподвижно, но, взглянув на колеса, я вдруг заметил, что они медленно вращаются, и сразу же после этого увидел и движение поезда. Но Лапоть заорал что-то, и хлопцы остановились. Начальник станции оглянулся на меня, вытер лысину и улыбнулся милой старческой, беззубой улыбкой.

— Катите... что ж... бог с вами! Только не придавите никого.

Он повертел головой и вдруг громко рассмеялся:

— Сукины сыны, ну, что ты скажешь, а?.. Ну, катите...

— А семафор?

— Будьте покойны.

— Го-то-о-овсь! — закричал Таранец, и Лапоть снова поднял свою тюбетейку.

Через полминуты поезд катился к семафору, как будто его толкал мощный паровоз. Хлопцы, казалось, просто шли рядом с вагонами и только держались за стойки. На тормозных площадках сидели каким-то чудом выделенные ребята, чтобы тормозить на остановке.

От выходной стрелки нужно было прогнать поезд по второму пути в противоположный конец станции, чтобы

уже оттуда подать его обратно к рамке. В тот момент, когда поезд проходил мимо перрона и я полной грудью вдыхал в себя соленый воздух аврала, с перрона меня окрикнули:

— Товарищ Макаренко!

Я оглянулся. На перроне стояли Брегель, Халабуда и товарищ Зоя. Брегель возвышалась на перроне в сером широком платье и напоминала мне памятник Екатерине Великой,— такая Брегель была величественная.

И так же величественно она вопросила меня со своего пьедестала:

— Товарищ Макаренко, это ваши воспитанники?

Я виновато поднял глаза на Брегель, но в этот момент на мою голову упало целое екатерининское изречение:

— Вы жестоко будете отвечать за каждую отрезанную ногу.

В голосе Брегель было столько железа и дерева, что ей могла позавидовать любая самодержица. К довершению сходства, ее рука с указующим пальцем протянулась к одному из колес нашего поезда.

Я приготовился возразить в том смысле, что ребята очень осторожны, что я надеюсь на благополучный исход, но товарищ Зоя помешала честному порыву моей покорности. Она подскочила ближе к краю перрона и затараторила быстро, кивая огромной головой в такт своей речи:

— Болтали, болтали, что товарищ Макаренко очень любит своих воспитанников... Надо показать всем, как он их любит.

К моему горлу подкатился какой-то ком. Но в то время мне казалось, что я очень сдержанно и вежливо сказал:

— О, товарищ Зоя, вас нагло обманули! Я настолько черствый человек, что здравый смысл всегда предпочитаю самой горячей любви.

Товарищ Зоя прыгнула бы на меня с высоты перрона, и, может быть, там и окончилась бы моя антипедагогическая поэма, если бы Халабуда не сказал просто, по-рабочему:

— А здорово, стервецы, покатили поезд! Ах, ты, карандаш, смотри, смотри, Брегель... Ах, ты, поросенок!..

Халабуда уже шагает рядом с Васькой Алексеевым, сиротой множества родителей. О чем-то он с Васькой перемолвился, и не успели мы пережить еще нашей злости, как Халабуда уже надавил руками на какой-то упор в вагоне. Я мельком взглянул на окаменевшее величие памятника Екатерине, перешагнул через лужу желчи, набежавшую с товарища Зои, и тоже поспешил к вагонам.

Через двадцать минут Молодца вывели из полуразрушенного вагона, и Антон Братченко карьером полетел в Куряж, далеко за собой оставляя полосу пыли и нервное потрясение рыжовских собак.

Оставив сводный отряд под командой Осадчего, мы быстро построились на вокзальной маленькой площади. Брегель с подругой залезли в автомобиль, и я имел удовольствие еще раз позеленить их лица звоном труб и громом барабана нашего салюта знамени, когда оно, завернутое в шелковый чехол, плавно прошло мимо наших торжественных рядов на свое место. Занял свое место и я. Коваль дал команду, и, окруженная толпой станционных мальчишек, колонна горьковцев тронулась к Куряжу. Машина Брегель, обгоняя колонну, поравнялась со мной, и Брегель сказала:

— Садитесь!

Я удивленно пожал плечами и приложил руку к сердцу.

Было тихо и жарко. Дорога проходила через луг и мостик, переброшенный над узенькой захолустной речкой. Шли по шести в ряд: впереди четыре трубача и восемь барабанщиков, за ними я и дежурный командир Таранец, а за нами знаменная бригада. Знамя шло в чехле, и от сверкающей его верхушки свешивались и покачивались над головой Лаптя золотые кисти. За Лаптем сверкал свежестью белых сорочек и молодым ритмом голых ног строй колонистов, разделенный в центре четырьмя рядами девчат в синих юбках.

Выходя иногда на минутку из рядов, я видел, как вдруг посуровели и спружинились фигуры колонистов. Несмотря на то, что мы шли по безлюдному лугу, они строго держали равнение и, сбиваясь иногда на кочках, заботливо спешили поправить ногу. Гремели только барабаны, рождая где-то далеко у стен Куряжа отчетливое сухое эхо. Сегодня барабанный марш не усыплял и не

уравнивал игры сознания. Напротив, чем ближе мы подходили к Куряжу, тем рокот барабанов казался более энергичным и требовательным, и хотелось не только в шаге, но и в каждом движении сердца подчиниться его строгому порядку.

Колонна вошла в Подворки. За плетнями и калитками стояли жители, прыгали на веревках злые псы, потомки древних монастырских собак, когда-то охранявших его богатства. В этом селе не только собаки, но и люди были выращены на тучных пастбищах монастырской истории. Их зачинали, выкармливали, воспитывали на пятаках и алтынах, выручаемых за спасение души, за исцеление от недугов, за слезы пресвятой богородицы и за перья из крыльев архангела Гавриила. В Подворках много задержалось разного преподобного народа: бывших попов и монахов, послушников, конюхов и приживалов, монастырских поваров, садовников и проституток.

И поэтому, проходя через село, я остро чувствовал враждебные взгляды и шепоты сбившихся за плетнями групп, точно угадывал и мысли, и слова, и добрые пожелания по нашему адресу.

Вот здесь, на улицах Подворок, я вдруг ясно понял великое историческое значение нашего марша, хотя он и выражал только одно из молекулярных явлений нашей эпохи. Представление о колонии имени Горького вдруг освободилось у меня от предметных форм и педагогической раскраски. Уже не было ни излучин Коломака, ни старательных построек старого Трепке, ни двухсот розовых кустов, ни свинарни пустотелого бетона. Присохли также и где-то рассыпались по дороге хитрые проблемы педагогики. Остались только чистые люди, люди нового опыта и новой человеческой позиции на равнинах земли. И я понял вдруг, что наша колония выполняет сейчас хотя и маленькую, но острополитическую, подлинно социалистическую задачу.

Шагая по улицам Подворок, мы проходили точно по вражеской стране, где в живом еще содрогании сгрудились и старые люди, и старые интересы, и старые жадные паучьи приспособления. И в стенах монастыря, который уже показался впереди, сложены целые штабеля ненавистных для меня идей и предрассудков: слюноточивое интеллигентское идеальничанье, будничный, беста-

ланный формализм, дешевая бабья слеза и умопомрачительное канцелярское невежество. Я представил себе огромные площади этой безграничной свалки: мы уже прошли по ней сколько лет, сколько тысяч километров, и впереди еще она смердит, и справа, и слева, мы окружены ею со всех сторон. Поэтому такой ограниченной в пространстве кажется маленькая колонна горьковцев, у которой сейчас нет ничего материального: ни коммуникации, ни базы, ни родственников, — Трепке оставлено навсегда, Куряж еще не завоеван.

Ряды барабанщиков тронулись в гору,— ворота монастыря были уже перед нами. Из ворот выбежал в трусиках Ваня Зайченко, на секунду остолбенел на месте и стрелой полетел к нам под горку. Я даже испугался: что-нибудь случилось,— но Ваня круто остановился против меня и взмолился со слезами, прикладывая палец к щеке:

— Антон Семенович, я пойду с вами, я не хочу там стоять.

— Иди здесь.

Ваня выровнялся со мной, внимательно поймал ногу и задрал голову. Потом поймал мой внимательный взгляд, вытер слезу и улыбнулся горячо, выдыхая облегченно волнение.

Барабаны оглушительно рванулись в колокольном тоннеле ворот. Бесконечная масса куряжан была выстроена в несколько рядов, и перед нею замер и поднял руку для салюта Горович.

8. ГОПАК

Строй горьковцев и толпа куряжан стояли друг против друга на расстоянии семи-восьми метров. Ряды куряжан, наскоро сделанные Петром Ивановичем, оказались, конечно, скоропортящимися. Как только остановилась наша колонна, ряды эти смешались и растянулись далеко от ворот до собора, загибаясь в концах и серьезно угрожая нам охватом с флангов и даже полным окружением.

И куряжане и горьковцы молчали: первые — в порядке некоторого обалдения, вторые — в порядке дисципли-

ны в строю при знамени. До сих пор куряжане видели колонистов только в передовом сводном, всегда в рабочем костюме, достаточно изнуренными, пыльными и немытыми. Сейчас перед ними протянулись строгие шеренги внимательных, спокойных лиц, блестящих поясных пряжек и ловких коротких трусиков над линией загоревших ног.

В нечеловеческом напряжении, в самых дробных долях секунды я хотел ухватить и запечатлеть в сознании какой-то основной тон в выражении куряжской толпы, но мне не удалось этого сделать. Это уже не была монотонная, тупая толпа первого моего дня в Куряже. Переходя взглядом от группы к группе, я встречал все новые и новые выражения, часто даже совершенно неожиданные. Только немногие смотрели в равнодушном нейтральном покое. Большинство малышей открыто восхищалось — так, как восхищаются они игрушкой, которую хочется взять в руки и прелесть которой не вызывает зависти и не волнует самолюбия. Нисинов и Зорень стояли, обнявшись, и смотрели на горьковцев, склонив на плечи друг другу головы, о чем-то мечтая, может быть, о тех временах, когда и они станут в таком же пленительном ряду и так же будут смотреть на них замечтавшиеся «вольные» пацаны. Было много лиц, глядевших с тем неожиданно серьезным вниманием, когда толпятся на месте возбужденные мускулы лица, а глаза ищут скорее удобного поворота. На этих лицах жизнь пролетала бурно; через десятые доли секунды эти лица уже что-то рассказывали от себя, выражая то одобрение, то удовольствие, то сомнение, то зависть. Зато медленно-медленно растворялись ехидные мины, заготовленные заранее, мины насмешки и презрения. Еще далеко заслышав наши барабаны, эти люди засунули по карманам руки и изогнули талии в лениво-снисходительных позах. Многие из них сразу были сбиты с позиций великолепными торсами и бицепсами первых рядов горьковцев: Федоренко, Корыто, Нечитайло, против которых их собственные фигуры казались жидковатыми. Другие смутились попозже, когда стало слишком очевидно, что из этих ста двадцати самого маленького нельзя тронуть безнаказанно. И самый маленький — Синенький Ванька — стоял впереди, поставив трубу на колено, и стрелял

глазами с такой свободой, будто он не вчерашний беспризорный, а путешествующий принц, а за ним почтительно замер щедрый эскорт, которым снабдил его папаша король.

Только секунды продолжалось это молчаливое рассматривание. Я обязан был немедленно уничтожить и семиметровое расстояние между двумя лагерями и взаимное их разглядывание.

— Товарищи! — сказал я. — С этой минуты мы все, четыреста человек, составляем один коллектив, который называется: трудовая колония имени Горького. Каждый из вас должен всегда это помнить, каждый должен знать, что он, горьковец, должен смотреть на другого горьковца как на своего ближайшего товарища и первого друга, обязан уважать его, защищать, помогать во всем, если он нуждается в помощи, и поправлять его, если он ошибается. У нас будет строгая дисциплина. Дисциплина нам нужна потому, что дело наше трудное и дела у нас много. Мы его сделаем плохо, если у нас не будет дисциплины.

Я еще сказал о стоящих перед нами задачах, о том, как нам нужно богатеть, учиться, пробивать дорогу для себя и для будущих горьковцев, что нам нужно жить правильно, как настоящим пролетариям, и выйти из колонии настоящими комсомольцами, чтобы и после колонии строить и укреплять пролетарское государство.

Я был удивлен неожиданным вниманием куряжан к моим словам. Как раз горьковцы слушали меня несколько рассеянно, может быть потому, что мои слова не открывали уже для них ничего нового, все это давно сидело крепко в каждой крупинке мозга.

Но почему те же куряжане две недели назад мимо ушей пропускали мои обращения к ним, гораздо более горячие и убедительные? Какая трудная наука эта педагогика! Нельзя же допустить, что они слушали меня только потому, что за моей спиной стоял горьковский легион, или потому, что на правом фланге этого легиона неподвижно и сурово стояло знамя в атласном чехле? Этого нельзя допустить, ибо это противоречило бы всем аксиомам и теоремам педагогики.

Я кончил речь и объявил, что через полчаса будет общее собрание колонии имени Горького; за эти полчаса

колонисты должны познакомиться друг с другом, пожать друг другу руки и прийти вместе на собрание. А сейчас, как полагается, отнесем наше знамя в помещение...

— Разойдись!

Мои ожидания, что горьковцы подойдут к куряжанам и подадут им руки, не оправдались. Они разлетелись из строя, как заряд дроби, и бросились бегом к спальням, клубам и мастерским. Куряжане не обиделись таким невниманием и побежали вдогонку, только Коротков стоял среди своих приближенных, и они о чем-то потихоньку разговаривали. У стены собора сидели на могильных плитах Брегель и товарищ Зоя. Я подошел к ним.

— Ваши одеты довольно кокетливо,— сказала Брегель.

— А спальни для них приготовлены? — спросила товарищ Зоя.

— Обойдемся без спален,— ответил я и поспешно заинтересовался новым явлением.

Окруженное колонистами ступицынского отряда, в ворота монастыря медленно и тяжело входило наше свиное стадо. Оно шло тремя группами: впереди матки, за ними молодняк и сзади папаши. Их встречал, осклабясь в улыбке, Волохов со своим штабом, и Денис Кудлатый уже любовно почесывал за ухом у нашего общего любимца, пятимесячного Чемберлена, названного так в память о знаменитом ультиматуме этого деятеля.

Стадо направилось к приготовленным для него загородкам, и в ворота вошли занятые увлекательной беседой Ступицын, Шере и Халабуда. Халабуда размахивал одной рукой, а другой прижимал к сердцу самого маленького и самого розового поросенка.

— Ох, и свиньи же у них! — сказал Халабуда, подходя к нашей группе.— Если у них и люди такие, как свиньи, толк будет, будет, я тебе говорю.

Брегель поднялась с могильного камня и сказала строго:

— Вероятно, все-таки товарищ Макаренко главную свою заботу обращает на людей?

— Сомневаюсь,— сказала Зоя: — для свиней место приготовлено, а для детей — обойдутся...

Брегель вдруг заинтересовалась таким оригинальным положением:

— Да, Зоя верно отметила. Интересно, что скажет товарищ Макаренко, при этом не свиновод Макаренко, а педагог Макаренко?

Я был очень поражен откровенной неприязнью этих слов, но не захотел в этот день отвечать такой же откровенной грубостью:

— Разрешите этим двум деятелям ответить, так сказать, коллективно.

— Пожалуйста.

— Видите ли, колонисты здесь хозяева, а свиньи — подопечные.

— А вы кто? — спросила Брегель, глядя в сторону.

— Если хотите, я ближе к хозяевам.

— Но для вас спальня обеспечена?

— Я тоже обхожусь без спальни.

Брегель досадливо передернула плечами и сухо предложила товарищу Зое:

— Прекратим эти разговоры. Товарищ Макаренко любит острые положения.

Халабуда громко захохотал:

— Что ж тут плохого? И правильно делает, ха — острые положения! А на что ему тупые положения?

Я нечаянно улыбнулся, и поэтому Зоя на меня снова напала:

— Я не знаю, какое это положение, острое или тупое, если людей нужно воспитывать по образцу свиней.

Товарищ Зоя включила какие-то сердитые моторы, и выпуклые глаза ее засверлили мое существо со скоростью двадцати тысяч оборотов в секунду. Я даже испугался. Но в эту минуту прибежал со своей трубой румяный, возбужденный Синенький и залепетал приблизительно с такой же скоростью:

— Там... Лапоть сказал... а Коваль говорит: подожди. А Лапоть ругается и говорит: я тебе сказал, так и делай, да... А еще говорит: если будешь волынить... и хлопцы тоже... Ой, спальни какие, ой-ой-ой, и хлопцы говорят: нельзя терпеть, а Коваль говорит — с вами посоветуется...

— Я понимаю, что говорят хлопцы и что говорит Коваль, но никак не пойму, чего ты от меня хочешь?

Синенький застыдился:

— Я ничего не хочу... А только Лапоть говорит...

— Ну?

— А Коваль говорит: посоветуемся...

— Что именно говорит Лапоть? Это очень важно, товарищ Синенький.

Синенькому так понравился мой вопрос, что он даже не расслышал его:

— А?

— Что сказал Лапоть?

— Ага... Он сказал: давай сигнал на сбор.

— Вот это и нужно было сказать с самого начала.

— Так я ж говорил вам...

Товарищ Зоя взяла двумя пальцами румяные щеки Синенького и обратила его губы в маленький розовый бантик:

— Какой прелестный ребенок!

Синенький недовольно вырвался из ласковых рук Зои, вытер рукавом рубашки рот и обиженно закосил на Зою:

— Ребенок... Смотри ты!.. А если бы я так сделал?.. И вовсе не ребенок... А колонист вовсе...

Халабуда легко поднял Синенького на руки вместе с его трубой.

— Хорошо сказал, честное слово, хорошо, а все-таки ты поросенок.

Синенький с удовольствием принял предложенную ему партию и против поросенка не заявил протеста. Зоя и это отметила:

— Кажется, звание поросенка у них наиболее почетное.

— Да брось! — сказал недовольно Халабуда и опустил Синенького на землю.

Собирался разгореться какой-то спор, но пришел Коваль, а за Ковалем и Лапоть.

Коваль по-деревенски стеснялся начальства и моргал из-за плеча Брегель, предлагая мне отойти в сторонку и поговорить. Лапоть начальства не стеснялся:

— Он, понимаете, думал, Коваль, что для него здесь пуховые перины приготовлены. А я считаю — ничего не нужно откладывать. Сейчас собрание, и прочитаем им нашу декларацию.

Коваль покраснел от необходимости говорить при начальстве, да еще при «бабском», которое он в глубине

души всегда считал начальством второго сорта, но от изложения своей точки зрения не отказался:

— На что мне твои перины, и не говори глупостей!.. А только — чи заставим мы их подчиниться нашей декларации? И как ты его заставишь? Чи за комир [1] его брать, чи за груды?

Коваль опасливо глянул на Брегель, но настоящая опасность грозила с другой стороны.

— Как это: за груды? — тревожно спросила товарищ Зоя.

— Да нет, это ж только так говорится,— еще больше покраснел Коваль.— На что мени ихние груды, хай им! Я завтра пойду в горком, нехай меня завтра на село посылает...

— А вот вы сказали: «мы заставим». Как это вы хотите заставить?

Коваль от озлобления сразу потерял уважение к начальству и даже ударился в другую сторону:

— Та ну его к... Якого черта! Чи тут работа, чи теревени [2] бабськи... К чертову дьяволу!..

И быстро ушел к клубу, пыльными сапогами выворачивая из куряжской почвы остатки монастырских кирпичных тротуаров.

Лапоть развел руками перед Зоей:

— Я вам это могу объяснить, как заставить. Заставить — это значит... ну, значит, заставить, тай годи!

— Видишь, видишь? — подпрыгнула товарищ Зоя перед Брегель.— Ну, что ты теперь скажешь?

— Синенький, играй сбор,— приказал я.

Синенький вырвал сигналку из рук Халабуды, задрал ее к крестам собора и разорвал тишину отчетливым, задорно-тревожным стаккато. Товарищ Зоя приложила руки к ушам:

— Господи, трубы эти!.. Командиры!.. Казарма!..

— Ничего,— сказал Лапоть,— зато, видите, вы уже поняли, в чем дело.

— Звонок гораздо лучше,— мягко возразила Брегель.

— Ну, что вы: звонок! Звонок — дурень, он всегда

---

[1] Комир — воротник.
[2] Теревени — болтовня.

одно и то же кричит. А это разумный сигнал: общий сбор. А есть еще «сбор командиров», «спать», а есть еще тревога. Ого! Если вот Ванька затрубит тревогу, так и покойник на пожар выскочит, и вы побежите.

Из-за углов флигелей, сараев, из-за монастырских стен показались группы колонистов, направляющиеся к клубу. Малыши часто срывались на бег, но их немедленно тормозили разные случайные впечатления. Горьковцы и куряжане уже смешались и вели какие-то беседы, по всем признакам имевшие характер нравоучения. Большинство куряжан все же держалось в стороне.

В пустом прохладном клубе стали все тесной толпой, но белые сорочки горьковцев отделились ближе к алтарному возвышению, и я заметил, что это делалось по указаниям Таранца, на всякий случай концентрировавшего силы.

Бросалась в глаза малочисленность ударного кулака горьковцев. На четыреста человек собрания их было десятков пять: второй, третий и десятый отряды возились с устройством скота, да у Осадчего на Рыжове осталось человек двадцать, не считая рабфаковцев. Кроме того, наши девочки в счет не шли. Их очень ласково, почти трогательно, с поцелуями и причитаниями приняли куряжские девчата и разместили в своей спальне, которую недаром Оля Ланова с таким увлечением приводила в порядок.

Перед тем как открыть собрание, Жорка Волков спросил у меня шепотом:

— Значит, действовать прямо?

— Действуй прямо,— ответил я.

Жорка вышел на алтарное возвышение и приготовился читать то, что мы все шутя называли декларацией. Это было постановление комсомольской организации горьковцев, постановление, в которое Жорка, Волохов, Кудлатый, Жевелий и Горьковский вложили пропасть инициативы, остроумия, широкого русского размаха и скрупулезной арифметики, прибавив к этому умеренную дозу нашего горьковского перца, хорошей товарищеской любви и любовной товарищеской жестокости.

«Декларация» считалась до сих пор секретным документом, хотя в обсуждении ее принимали участие очень многие,— она обсуждалась несколько раз на совещании

членов бюро в Куряже, а во время моей поездки в колонию была еще раз просмотрена и проверена с Ковалем и комсомольским активом.

Жорка сказал небольшое вступительное слово:

— Товарищи колонисты, будем говорить прямо: черт его знает, с чего начинать! Но вот я вам прочитаю постановление ячейки комсомола, и вы сразу увидите, с чего начинать и как оно все пойдет. Сейчас ты не работаешь, и не комсомолец, и не пионер, черте-шо, сидишь в грязи, и что ты такое есть в самом деле? С какой точки тебя можно рассматривать? Прямо с такой точки: ты есть продовольственная база для клопов, вшей, тараканов, блох и всякой сволочи.

— А мы виноваты, что ли! — крикнул кто-то.

— А как же, конечно, виноваты,— немедленно отозвался Жорка.— Вы виноваты, и здорово виноваты. Какое вы имеете право расти дармоедами, и занудами, и сявками? Не имеете права. Не имеете права, и все! И грязь у вас в то же время. Какой же человек имеет право жить в такой грязи? Мы свиней каждую неделю с мылом моем, надо вам посмотреть. Вы думаете, какая-нибудь свинья не хочет мыться или говорит: «Пошли вы вон от меня с вашим мылом»? Ничего подобного: кланяется и говорит: «Спасибо». А у вас мыла нет два месяца...

— Так не давали,— сказал с горькой обидой кто-то из толпы.

Круглое лицо Жорки, еще не потерявшее синих следов ночной встречи с классовым врагом, нахмурилось и поострело.

— А кто тебе должен давать? Здесь ты хозяин. Ты сам должен считать, как и что.

— А у вас кто хозяин? Может, Макаренко? — спросил кто-то и спрятался в толпе.

Головы повернулись в сторону вопроса, но только круги таких же движений ходили на том месте, и несколько лиц в центре довольно ухмылялись.

Жорка широко улыбнулся:

— Вот дурачье! Антону Семеновичу мы доверяем, потому что он наш, и мы действуем вместе. А это здоровый дурень у вас спросил. А только пусть он не беспо-

коится, мы и таких дурней научим, а то, понимаете, сидит и смотрит по сторонам: где ж мой хозяин?

В клубе грохнули хохотом: очень удачно Жорка сделал глупую морду растяпы, ищущего хозяина.

Жорка продолжал:

— В советской стране хозяин есть пролетарий и рабочий. А вы тут сидели на казенных харчах, гадили под себя, а политической сознательности у вас, как у петуха.

Я уже начинаю беспокоиться: не слишком ли Жорка дразнит куряжан, не мешало бы поласковее. И в этот же момент тот же неуловимый голос крикнул:

— Посмотрим, как вы гадить будете!

По клубу прошла волна сдержанного, вредного смеха и довольных, понимающих улыбок.

— Можешь свободно смотреть,— серьезно-приветливо сказал Жорка.— Я тебе могу даже кресло возле уборной поставить, сиди себе и смотри. И даже очень будет для тебя полезно, а то и на двор ходить не умеешь. Это все-таки хоть и маленькая квалификация, а знать каждому нужно.

Хоть и краснели куряжане, а не могли отказаться от смеха, держались друг за друга и пошатывались от удовольствия. Девочки пищали, отвернувшись к печке, и обижались на оратора. Только горьковцы деликатно сдерживали улыбку, с гордостью посматривая на Жорку.

Куряжане пересмеялись, и взоры их, направленные на Жорку, стали теплее и вместительнее, точно и на самом деле они выслушали от Жорки вполне приемлемую и полезную программу.

Программа имеет великое значение в жизни человека. Даже самый никчемный человечишка, если видит перед собой не простое пространство земли с холмами, оврагами, болотами и кочками, а пусть и самую скромную перспективу — дорожки или дороги с поворотами, мостиками, посадками и столбиками,— начинает и себя раскладывать по определенным этапикам, веселее смотрит вперед, и сама природа в его глазах кажется более упорядоченной: то — левая сторона, то — правая, то — ближе к дороге, а то — дальше.

Мы сознательно рассчитывали на великое значение всякой перспективности, даже такой, в которой нет ни одного пряника, ни одного грамма сахара. Так именно и

была составлена декларация комсомольской ячейки, которую, наконец, Жорка начал читать перед собранием:

«Постановление ячейки ЛКСМ трудовой колонии имени Горького от 15 мая 1926 года.

1. Считать все отряды старых горьковцев и новых в Куряже распущенными и организовать немедленно новые двадцать отрядов в таком составе... (Жорка прочитал список колонистов с разделением на отряды и имена командиров отдельно.)

2. Секретарем совета командиров остается товарищ Лапоть, заведующим хозяйством — Денис Кудлатый и кладовщиком — Алексей Волков.

3. Совету командиров предлагается провести в жизнь все намеченное в этом постановлении и сдать колонию в полном порядке представителям Наркомпроса и окрисполкома в день первого снопа, который отпраздновать, как полагается.

4. Немедленно, то есть до вечера 17 мая, отобрать у воспитанников бывшей куряжской колонии всю их одежду и белье, все постельное белье, одеяла, матрацы, полотенца и прочее, не только казенное, но, у кого есть, и свое, сегодня же сдать в дезинфекцию, а потом в починку.

5. Всем воспитанникам и колонистам выдать трусики и голошейки, сшитые девочками в старой колонии, а вторую смену выдать через неделю, когда первая будет отдана в стирку.

6. Всем воспитанникам, кроме девочек, остричься под машинку и получить немедленно бархатную тюбетейку.

7. Всем воспитанникам сегодня выкупаться, где кто может, а прачечную предоставить в распоряжение девочек.

8. Всем отрядам не спать в спальнях, а спать на дворе, под кустами или где кто может, там, где выберет командир, до тех пор, пока не будет закончен ремонт и оборудование новых спален в бывшей школе.

9. Спать на тех матрацах, одеялах и подушках, которые привезены старыми горьковцами, а сколько придется этого на отряд, делить без спора, много или мало, все равно.

10. Никаких жалоб и стонов, что не на чем спать, чтобы не было, а находить разумные выходы из положения.

11. Обедать в две смены целыми отрядами и из отряда в отряд не лазить.

12. Самое серьезное внимание обратить на чистоту.

13. До 1 августа мастерским не работать, кроме швейной, а работать на таких работах:

Разобрать монастырскую стену и из кирпича строить свинарню на 300 свиней.

Покрасить везде окна, двери, перила, кровати.

Полевые и огородные работы.

Отремонтировать всю мебель.

Произвести генеральную уборку двора и всего ската горы во все стороны, провести дорожки, устроить цветники и оранжерею.

Пошить всем колонистам хорошую пару костюмов и купить к зиме обувь, а летом ходить босиком.

Очистить пруд и купаться.

Насадить новый сад на южном склоне горы.

Приготовить станки, материалы и инструмент в мастерских для работы с августа».

Несмотря на свою внешнюю простоту, декларация произвела на всех очень сильное впечатление. Даже нас, ее авторов, она поражала жестокой определенностью и требовательностью действия. Кроме того,— это потом особенно отмечали куряжане,— она вдруг показала всем, что наша бездеятельность перед приездом горьковцев прикрывала крепкие намерения и тайную подготовку, с пристальным учетом разных фактических явлений.

Комсомольцами замечательно были составлены новые отряды. Гений Жорки, Горьковского и Жевелия позволил им развести куряжан по отрядам с аптекарской точностью, принять во внимание узы дружбы и бездны ненависти, характеры, наклонности, стремления и уклонения. Недаром в течение двух недель передовой сводный ходил по спальням.

С таким же добросовестным вниманием были распределены и горьковцы: сильные и слабые, энергичные и шляпы, суровые и веселые, люди настоящие и люди

приблизительные,— все нашли для себя место в зависимости от разных соображений.

Даже для многих горьковцев решительные строчки декларации были новостью; куряжане же все встретили Жоркино чтение в полном ошеломлении. Во время чтения кое-кто еще тихонько спрашивал соседа о плохо расслышанном слове, кое-кто удивленно подымался на носки и оглядывался, кто-то сказал даже «Ого!» в самом сильном месте декларации, но, когда Жорка кончил, в зале стояла тишина, и в тишине несмело подымались еле заметные, молчаливые вопросики: Что делать? Куда броситься? Подчиниться, протестовать, бузить? Аплодировать, смеяться или крыть?

Жорка скромно сложил листик бумаги. Лапоть иронически-внимательно провел по толпе своими припухлыми веками и ехидно растянул рот:

— Мне это не нравится. Я старый горьковец, я имел свою кровать, постель, свое одеяло. А теперь я должен спать под кустом. А где этот кустик? Кудлатый, ты мой командир, скажи, где этот кустик?

— Я для тебя уже давно выбрал.

— На этом кустике хоть растет что-нибудь? Может, этот кустик с вишнями или яблоками? И хорошо б соловья... Там есть соловей, Кудлатый?

— Соловья пока нету, горобцы есть.

— Горобцы? Мне лично горобцы мало подходят. Поют они бузово, и потом — неаккуратные. Хоть чижика какого-нибудь посади.

— Хорошо, посажу чижика! — хохочет Кудлатый.

— Дальше...— Лапоть страдальчески оглянулся.— Наш отряд третий... Дай-ка список... Угу... Третий... Старых горьковцев раз, два, три... восемь. Значит, восемь одеял, восемь подушек и восемь матрацев, а хлопцев в отряде двадцать два. Мне это мало нравится. Кто тут есть? Ну, скажем, Стегний. Где тут у вас Стегний? Подыми руку. А ну, иди сюда! Иди, иди, не бойся!

На алтарное возвышение вылез со времен каменного века не мытый и не стриженный пацан, с головой, выгоревшей вконец, и с лицом, на котором румянец, загар и грязь давно обратились в сложнейшую композицию, успевшую уже покрыться трещинами. Стегний смущенно переступал на возвышении черными ногами и неловко

скалил на толпу неповоротливые глаза и ярко-белые большие зубы.

— Так это я с тобой должен спать под одним одеялом? А скажи, ты ночью здорово брыкаешься?

Стегний пыхнул слюной, хотел вытереть рот кулаком, но застеснялся своего черного кулака и вытер рот бесконечным подолом полуистлевшей рубахи.

— Не...

— Так... Ну, а скажи, товарищ Стегний, что мы будем делать, если дождь пойдет?

— Тикать, ги-ги...

— Куда?

Стегний подумал и сказал:

— А хто его знае.

Лапоть озабоченно оглянулся на Дениса:

— Денис, куда тикатымем по случаю дождя?

Денис выдвинулся вперед и по-хохлацки хитро прищурился на собрание:

— Не знаю, как другие товарищи командиры думают на этот счет, и в декларации, собственно говоря, в этом месте упущение. От же, я так скажу: если в случае дождь или там другое что — третьему отряду бояться нечего. Речка близко, поведу отряд в речку. Собственно говоря, если в речку залезть, так дождь ничего, а если еще нырнуть, ни одна капля не тронет. И не страшно, и для гигиены полезно.

Денис невинно взглянул на Лаптя и отошел в сторону. Лапоть вдруг рассердился и закричал на задремавшего в созерцании великих событий Стегния:

— Ты чув? Чи ни?

— Чув,— сказал весело Стегний.

— Ну, так смотри, спать вместе будем, на моем одеяле, черт с тобой. Только я раньше тебя выстираю в этой самой речке и срежу у тебя шерсть на голове. Понял?

— Та понял, — улыбнулся Стегний.

Лапоть сбросил с себя дурашливую маску и придвинулся ближе к краю помоста:

— Значит, все ясно?

— Ясно! — закричали в разных местах.

— Ну, раз ясно, будем говорить прямо: постановление это не очень, конечно, такое... приятное. А надо

все-таки принять нашим общим собранием, другого хода нет.

Он вдруг взмахнул рукой безнадежно и с неожиданной горькой слезой сказал:

— Голосуй, Жорка!

Собрание закатилось смехом. Жорка вытянул руку вперед:

— Голосую: кто за наше постановление, подними руку!

Лес рук вытянулся вверх. Я внимательно пересмотрел ряды всей моей громады. Голосовали все, в том числе и группа Короткова у входных дверей. Девочки подняли розовые ладони с торжественной нежностью и улыбались, склонив набок головы. Я был очень удивлен: почему голосовали коротковцы? Сам Коротков стоял, прислонившись к стене, и терпеливо держал поднятую руку, спокойно рассматривая прекрасными глазами нашу компанию на сцене.

Торжественность этой минуты была нарушена появлением Борового. Он ввалился в зал в настроении чрезвычайно мажорном, споткнулся о двери, оглушительно рыкнул огромной гармошкой и заорал:

— А, хозяева приехали? Сейчас... постойте... туш сыграю, я знаю такой... туш.

Коротков опустил руку на плечо Борового и о чем-то засигналил ему глазами. Боровой задрал голову, открыл рот и затих, но гармошку продолжал держать очень агрессивно,— ежеминутно можно было ожидать самой настойчивой музыки.

Жорка объявил результаты голосования.

— За принятие предложения ячейки комсомола триста пятьдесят четыре голоса. Против — ни одного. Значит, будем считать, что принято единогласно.

Горьковцы, улыбаясь и переглядываясь, захлопали, куряжане с загоревшимся чувством подхватили эту непривычную для них форму выражения, и, может быть, первый раз со времени основания монастыря под его сводами раздались радостные легкие звуки аплодисментов человеческого коллектива. Малыши хлопали долго, отставляя пальцы, то задирая руки над головой, то перенося их к уху, хлопали до тех пор, пока на возвышение не вышел Задоров.

Я не заметил его прихода. Видимо, он что-то привез с Рыжова, потому что и лицо и костюм его были измазаны белым. Теперь, как и всегда, он вызывал у меня ощущение незапятнанной чистоты и открытой простой радости. Он и сейчас прежде всего предложил вниманию собрания свою пленительную улыбку.

— Друзья, хочу сказать два слова. Вот что: я самый первый горьковец, самый старый и когда-то был самый плохой. Антон Семенович, наверное, это хорошо помнит. А теперь я уже студент первого курса Технологического института. Поэтому слушайте: вы приняли сейчас хорошее постановление, замечательное, честное слово, только трудное ж, прямо нужно говорить, ой, и трудное ж!

Он завертел головой от трудности. В зале рассмеялись любовно.

— Но все равно. Раз приняли — кончено. Это нужно помнить. Может быть, кто подумает сейчас: принять можно, а там будет видно. Это не человек, нет, это хуже гада,— это, понимаете, гадик. По нашему закону, если кто не выполняет постановлений общего собрания,— одна дорога: в двери, за ворота!

Задоров крепко сжал побелевшие губы, поднял кулак над головой.

— Выгнать! — сказал резко, опуская кулак.

Толпа замерла, ожидая новых ужасов, но сквозь толпу уже пробирался Карабанов, тоже измазанный, только уже во что-то черное, и спросил в тишине удивления:

— Кого тут выгонять нужно? Я зáраз!

— Это вообще,— пропел безмятежно Лапоть.

— Я могу и вообще и как угодно. А только, чего вы тут стоите и понадувались, як пип на ярмарку?

— Та мы ничего,— сказал кто-то.

— О так! Приехали, тай головы повесили? Га? А музыка где?

— А есть, есть музыка, как же! — в восторге закричал Боровой и рявкнул гармошкой.

— О! И музыка! Давай круг! А ну, девчата, годи там биля печи греться, кто гопака! Наталко, серденько! Смотри, хлопцы, какая у нас Наталка!

Хлопцы с веселой готовностью уставились на лукаво-ясные очи Наташи Петренко, на ее косы и на косой зубик в зарумянившейся ее улыбке.

— Гопак, значит, заказуете, товарищ? — с изысканной улыбкой маэстро спросил Боровой и снова рявкнул гармошкой.

— А тебе чего хочется?

— Я могу и вальс, и падыпатынер, и дэспань, и все могу.

— Падыпатынер, папаша, потом, а зáраз давай гопак.

Боровой снисходительно улыбнулся хореографической нетребовательности Карабанова, подумал, склонил голову, вдруг растянул свой инструмент и заиграл какой-то особенный, дробный и стрекочущий танец. Карабанов размахнулся руками и с места в карьер бросился в стремительную, безоглядную присядку. Наташины ресницы вдруг взмахнулись над вспыхнувшим лицом и опустились. Не глядя ни на кого, она неслышно отплыла от берега, чуть волнуя отглаженную в складках, парадно-скромную юбку. Семен ахнул об пол каблуком и пошел вокруг Наташи с нахальной улыбкой, рассыпая по всему клубу отборный частый перебор и выбрасывая во все стороны десятки ловких, разговорчивых ног. Наташа подняла ресницы и глянула на Семена тем особенным лучом, который употребляется только в гопаке и который переводится на русский язык так: «Красивый ты, хлопче, и танцуешь хорошо, а только смотри, осторожнее!..»

Боровой прибавил перца в музыке, Семен прибавил огня, прибавила Наташа радости: уже и юбка у нее не чуть волнуется, а целыми хороводами складок и краев летает вокруг Наташиных ножек. Куряжане шире раздвинули круг, спешно вытерли носы рукавами и загалдели о чем-то. Дробь и волны, и стремительность гопака пошли кругом по клубу, подымая к высокому потолку забористый ритм гармошки.

Тогда откуда-то из глубины толпы протянулись две руки, безжалостно раздвинули пацанью податливую икру, и Перец, избоченившись, стал над самым водоворотом танца, подергивая ногой и подмигивая Наталке. Милая, нежная Наташа гордо повела на Переца чуть-чуть приоткрытым глазом, перед самым его носом шевельнула вышитым чистеньким плечиком и вдруг улыбнулась ему просто и дружески, как товарищ, умно и понятливо, как комсомолец, только что протянувший Перецу руку помощи.

Перец не выдержал этого взгляда. В бесконечном течении мгновения он тревожно оглянулся во все стороны, взорвал в себе какие-то башни и бастионы и, взлетев на воздух, хлопнул старой кепкой об пол и бросился в водоворот. Семен оскалил зубы, Наташа еще быстрее, качаясь, поплыла мимо носов куряжан. Перец танцевал что-то свое, дурашливо ухмыляющееся, издевательски остроумное и немножко блатное.

Я глянул. Затаенные глаза Короткова серьезно прищурились, еле заметные тени пробежали с белого лба на встревоженный рот. Он кашлянул, оглянулся, заметил мой внимательный взгляд и вдруг начал пробираться ко мне. Еще отделенный от меня какой-то фигурой, он протянул мне руку и сказал хрипло:

— Антон Семенович! Я с вами сегодня еще не здоровался.

— Здравствуй,— улыбнулся я, разглядывая его глаза.

Он повернул лицо к танцу, заставил себя снова посмотреть на меня, вздернул голову и хотел сказать весело, но сказал по-прежнему хрипло:

— А здорово танцуют, сволочи!..

9. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Преображение началось немедленно после общего собрания и продолжалось часа три,— срок для всякого преображения рекордный.

Когда Жорка махнул рукой в знак того, что собрание закрывается, в клубе начался галдеж. Стоя на цыпочках, командиры орали во всю глотку, призывая членов своих отрядов. В клубе возникло два десятка течений, и несколько минут эти течения, сталкиваясь и пересекаясь, бурлили в старых стенах архиерейской церкви. По отдельным углам клуба, за печками, в нишах и на средине начались отрядные митинги, и каждый из них представлял грязно-серую толпу оборванцев, среди которых не спеша поворачивались белые плечи горьковцев.

Потом из дверей клуба повалили колонисты во двор и к спальням. Еще через пять минут и в клубе и во дворе стало тихо, и только отрядные меркурии пролета-

ли со срочными поручениями, трепеща крылышками на ногах.

Я могу немного отдохнуть.

Я подошел к группе женщин на церковной паперти и с этого возвышения наблюдал дальнейшие события. Мне хотелось молчать и не хотелось ни о чем думать. Екатерина Григорьевна и Лидочка, радостные и успокоенные, слабо и лениво отбивались от каких-то вопросов товарища Зои. Брегель стояла у пыльной решетки паперти и говорила Гуляевой:

— Я вижу, эта атрибутика создает впечатление стройности. Ну, так что же? Ведь это все внешнее.

Гуляева оглянулась на меня:

— Антон Семенович, вы отвечайте, я ничего не понимаю в этих вещах.

— Я в теории тоже разбираюсь слабо,— ответил я неохотно.

Замолчали. Я все же мог организовать минимальную порцию отдыха и, оглянувшись, заметил тот прекрасный предмет, который издавна называется миром. Было около двух часов дня. По ту сторону пруда под солнцем нагревался соломенный лишайник села. На небе замерли белые спокойные тучки, остановившиеся над Куряжем, вероятно, по специальному расписанию, впредь до распоряжения: какой-то облачный резерв.

Я знал, что сейчас делается в колонии. В спальнях ребята складывают кровати, вытряхивают солому из матрацев и подушек, связывают все это в узлы. В узлах — одеяла, простыни, старые и новые ботинки, все. В каретном сарае Алешка Волков принимает все это барахло, записывает и направляет в дезкамеру. Дезкамера приехала из города. Она устроена на колесах. Дезкамера работает на току, и распоряжается там Денис Кудлатый. На противоположной паперти, с той стороны собора, Дмитрий Жевелий выдает командирам отрядов или их уполномоченным по списку новую одежду и мыло.

Из-за стены собора вдруг выпорхнул озабоченный Синенький и, протягивая свою трубу в сторону, заторопился:

— Сказал Таранец сигналить сбор командиров в столовой.

— Давай!

Синенький зашуршал невидимыми крылышками и перепорхнул к дверям столовой. Остановившись в дверях, он несколько раз проиграл короткий, из трех звуков, сигнал.

Брегель внимательно рассмотрела Синенького и обернулась ко мне:

— Почему этот мальчик все время спрашивает вашего разрешения давать... эти самые... сигналы? Это ведь такой пустяк.

— У нас есть правило: если сигнал дается вне расписания, меня должны поставить в известность. Я должен знать.

— Это все, конечно, довольно... я все-таки скажу... атрибутно! Но это же только внешность. Вы этого не думаете?

Я начинал злиться. С какой стати они пристали ко мне именно сегодня? И, кроме того, чего они, собственно, хотят? Может быть, им жаль Куряжа?

— Ваши знамена, барабаны, салюты,— все это ведь только внешне организует молодежь.

Я хотел сказать: «Отстань!» — но сказал немного вежливее:

— Вы представляете себе молодежь или, скажем, ребенка в виде какой-то коробочки: есть внешность, упаковка, что ли, а есть внутренность — требуха. По вашему мнению, мы должны заниматься только требухой? Но ведь без упаковки вся эта драгоценная требуха рассыплется.

Брегель злым взглядом проводила пробежавшего к столовой Ветковского.

— Все-таки у вас очень похоже на кадетский корпус...

— Знаете что, Варвара Викторовна,— по возможности приветливо сказал я,— давайте прекратим. Нам очень трудно говорить с вами без...

— Без чего?

— Без переводчика.

Массивная серая фигура Брегель тяжело оттолкнулась от решетки и двинулась на меня. Я за спиной сжал кулаки, но она откуда-то вытащила кустарно сделанную улыбку и не спеша надела ее на лицо, как близорукие надевают очки.

— Переводчики найдутся, товарищ Макаренко.

— Подождем.

От ворот подошел первый отряд, и его командир Гуд, быстро оглядев паперть, спросил громко:

— Так ты говоришь, через эту дверь не ходят, Устименко?

Один из куряжан, смуглый мальчик лет пятнадцати, протянул руку к дверям:

— Нет, нет... Говорю тебе верно. Никто не ходит. Они всегда заперты. Ходят на те двери и на те двери, а на эти не ходят, верно тебе говорю.

— У них там в середине шкафы стоят. Свечи и всякое...— сказал кто-то сзади.

Гуд взбежал на паперть, повертелся на ней, засмеялся:

— Так чего нам нужно? Ого! Тут шикарно будет. На чертей им такое шикарное крыльцо? И навес есть, если дождь... А только твердо будет. Чи не очень твердо?

Карпинский, старый горьковец и старый сапожник отряда Гуда, весело присмотрелся к каменным плитам паперти:

— Ничего не твердо: у нас шесть тюфяков и шесть одеял. А может, еще что-нибудь найдем.

— Правильно,— сказал Гуд.

Он повернулся лицом к пруду и объявил:

— Чтобы все знали: это крыльцо занято первым отрядом. И никаких разговоров! Антон Семенович, вы свидетель.

— Добре!

— Значит, приступайте... кто тут?.. Стой!

Гуд вытащил из кармана список:

— Слива и Хлебченко, какие вы будете, покажитесь.

Хлебченко — маленький, худенький, бледный. Черные прямые волосы растут у него почему-то не вверх, а вперед, а нос в черных крапинках. Грязная рубаха у него до колен, а оторванная кромка рубахи спускается еще ниже. Он улыбается неумело и оглядывается. Гуд критически его рассматривает и переводит глаза на Сливу. Слива такой же худой, бледный и оборванный, как и Хлебченко, но отличается от него высоким ростом. На тонкой-претонкой шее сидит у него торчком узкая голова, и поражают полные румяные губы. Слива улыбается страдальчески и посматривает на угол паперти.

— *Черт его знает,— говорит Гуд,— чем вас тут кормят!* Чего вы все такие худые... как собаки. Отряд откормить нужно, Антон Семенович! Какой же это отряд? Разве может быть такой первый отряд? Не может! Пищи у нас хватит? Ну, а как же! Лопать умеете?

В отряде смеются. Гуд еще раз недоверчиво проводит взглядом по лицам Сливы и Хлебченко и говорит нежно:

— Слушайте, голубчики, Слива и Хлебченко. Сейчас это крыльцо нужно начисто вымыть. Понимаете, чем нужно мыть? Водой. А куда воду наливать? В ведро. Карпинский, быстро, на носках: получи у Митьки наше ведро и тряпку! И веник! Умеете мыть?

Слива и Хлебченко кивают. Гуд поворачивается к нам, стаскивает с головы тюбетейку и отводит руку далеко в сторону:

— Просим извинить, дорогие товарищи: территория занята первым отрядом, и ничего не поделаешь. На том основании, что здесь будет генеральная уборка, я вам покажу хорошее место, там есть и скамейки. А здесь — первый отряд.

Первый отряд с восхищением следит за этой галантерейной процедурой. Я благодарю Гуда за хорошее место и скамейки и отказываюсь.

Прибежал, гремя ведрами, Карпинский. Гуд отдал последние распоряжения и махнул весело рукой:

— А теперь стричься, бриться!

Спускаясь с паперти, Брегель молчаливо-внимательно следит, как ее собственные ноги ступают по ступеням. Мне страшно хочется, чтобы гости скорее уехали. У той самой паперти, где работает магазин Жевелия и где уже стоит очередь отрядных уполномоченных и группки их помощников и носильщиков накладывают на плечи синие стопки трусиков и белые стопки рубах, звенят ведрами, зажимают под мышками коричневые коробки с мылом, стоит и «фиат» окрисполкома. Сонный, скучный шофер с тоской поглядывает на Брегель.

Мы идем к воротам и молчим. Я не знаю, куда нужно идти. Если бы я был один, я улегся бы на травке возле соборной стены и продолжал бы рассматривать мир и его прекрасные детали. До конца нашей операции остается еще больше часа, тогда меня снова захватят дела. Од-

ним словом, я хорошо понимаю тоскливые взгляды шофера.

Но из ворот выходит оживленно-говорливая, смеющаяся группа, и на душе у меня снова радостно. Это восьмой отряд, потому что впереди его я вижу прекрасной лепки фигуру Федоренко, потому что здесь Корыто, Нечитайло, Олег Огнев. Мои глаза с невольным недоумением упираются в совершенно новые фигуры, противоестественно несущие на себе привычные для меня одежды горьковцев. Наконец я начинаю соображать: здесь все бывшие куряжане. Это и есть то самое преображение, на организацию которого мы истратили две недели. Свежие, вымытые лица, еще не потерявшие складок бархатные тюбетейки на свежеостриженных головах мальчиков. И самое главное, самое приятное: только что изготовленные веселые и доверчивые взгляды, только что зародившаяся грация чисто одетого, освободившегося от вшей человека.

Федоренко со свойственной ему величественно-замедленной манерой отступает в сторону и говорит, округленно располагая солидные баритонные слова:

— Антон Семенович, можете принять восьмой отряд Федоренко в полном, как полагается, порядке.

Рядом с ним Олег Огнев растягивает длинные, интеллигентно чуткие губы и сдержанно кланяется в мою сторону.

— Крещение сих народов совершилось при моем посильном участии. Отметьте где-нибудь в записной книжке на случай каких-нибудь моих не столь удачных действий.

Я дружески сжимаю плечи Олега, и делаю это потому, что мне непростительно хочется его расцеловать и расцеловать Федоренко и всех остальных моих замечательных, моих прелестных пацанов. Трудно мне что-нибудь отмечать сейчас и в записной книжке и в душе. В душу мою вдруг налезло много всяких мыслей, соображений, образов, торжественных хоралов и танцевальных ритмов. Я еле успеваю поймать что-нибудь за хвостик, как это пойманное исчезает в толпе, и что-нибудь новое кричит, привлекая нахально мое внимание. «Крещение и преображение,— по дороге соображаю я,— все какие-то религиозные штуки». Но улыбающееся лицо Короткова мгновенно затирает и эту оригинальную схему. Да, ведь

я сам настоял на зачислении Короткова в восьмой отряд. На лету поймав мою остановку на Короткове, гениальный Федоренко обнимает его за плечо и говорит, чуть-чуть вздрагивая зрачками серых глаз:

— Хорошего колониста дали нам в отряд, Антон Семенович. Я уже с ним говорил. Хороший командир будет по прошествии некоторого времени.

Коротков серьезно смотрит мне в глаза и говорит приветливо:

— Я хочу потом с вами поговорить, хорошо?

Федоренко весело-иронически всматривается в лицо Короткова:

— Какой ты чудак! Зачем тебе говорить! Говорить не надо. Для чего это говорить?

Коротков тоже внимательно приглядывается к хитрому Федоренко:

— Видишь... у меня особое дело...

— Никакого у тебя особенного дела нет. Глупости!

— Я хочу, чтобы меня... тоже можно было под арест... сажать.

Федоренко хохочет:

— О, чего захотел!.. Скоро, брат, захотел!.. Это надо получить звание колониста,— видишь, значок? А тебя еще нельзя под арест. Тебе скажи: под арест, а ты скажешь: «За что? Я не виноват».

— А если и на самом деле не виноват?

— Вот видишь, ты этого дела не понимаешь. Ты думаешь: я не виноват, так это такое важное дело. А когда будешь колонистом, тогда другое будешь понимать... как бы это сказать?.. Значит, важное дело дисциплина, а виноват ты или, там, не виноват — это по-настоящему не такое важное дело. Правда ж, Антон Семенович?

Я кивнул Федоренко. Брегель рассматривала нас, как уродцев в банке, и ее щеки начинали принимать бульдожьи формы. Я поспешил отвлечь ее внимание от неприятных вещей:

— А это что за компания? Кто же это?

— А это тот пацан...— говорит Федоренко.— Боевой такой. Говорят, побили его крепко.

— Верно, это отряд Зайченко,— узнаю и я.

— Кто его побил? — спрашивает Брегель.

— Избили ночью... здешние, конечно.

— За что? Почему вы не сообщили? Давно?

— Варвара Викторовна,— сказал я сурово,— здесь, в Куряже, на протяжении ряда лет издевались над ребятами. Поскольку это мало вас интересовало, я имел основания думать, что и этот случай недостоин вашего внимания... тем более, что я заинтересовался им лично.

Брегель мою суровую речь поняла как приглашение уезжать. Она сказала сухо:

— До свидания.

И направилась к машине, из которой уже выглядывала голова товарища Зои.

Я вздохнул свободно. Я пошел навстречу восемнадцатому отряду Вани Зайченко.

Ваня вел отряд торжественно. Мы восемнадцатый отряд нарочно составили из одних куряжан; это придавало отряду и Ваньке блеск особого значения. Ванька это понял. Федоренко громко расхохотался:

— Ах, ты, шкеты такие!..

Восемнадцатый отряд приближался к нам, щеголяя военной выправкой. Двадцать пацанов шли по четыре в ряд, держали ногу и даже руками размахивали по-военному. Когда это Зайченко успел добиться такой милитаризации? Я решил поддержать военный дух восемнадцатого отряда и приложил руку к козырьку фуражки:

— Здравствуйте, товарищи!

Но восемнадцатый отряд не был готов к такому маневру. Ребята загалдели как попало, и Ванька обиженно махнул рукой:

— Вот еще... граки!

Федоренко в восторге хлопнул себя по коленам:

— Смотри ты, уже научился!

Чтобы как-нибудь разрешить положение, я сказал:

— Вольно, восемнадцатый отряд! Расскажите, как купались...

Петр Маликов улыбнулся светло:

— Купались? Хорошо купались. Правда ж, Тимка?

Одарюк отвернулся и сказал кому-то в плечо, сдержанно:

— С мылом...

Зайченко с гордостью посмотрел на меня:

— Теперь каждый день с мылом будем. У нас завхоз Одарюк, видите?

Он показал на коричневую коробку в руках Одарюка.

— Два куска сегодня мыла вымазали: аж два куска! Ну, так это для первого дня только. А потом меньше. А вот у нас какой вопрос, понимаете... Конечно, мы не пищим... Правда ж, мы не пищим? — обратился он к своим.

— Ах, ты, чертовы пацаны! — восхитился Федоренко.

— Не пищим! Нет, мы не пищим! — крикнули пацаны.

Ваня несколько раз обернулся во все стороны:

— А только вопрос такой, понимаете?

— Хорошо. Я понимаю: вы не пищите, а только задаете вопрос.

Ваня вытянул губы и напружинил глаза:

— Вот-вот. Задаем вопрос: в других отрядах есть старые горьковцы, хоть три, хоть пять. Так же? А у нас нету. Нету, и все!

Когда Ваня произносил слово «нету», он повышал голос до писка и делал восхитительное движение вытянутым пальцем от правого уха в сторону.

Вдруг Ваня звонко засмеялся:

— Одеял нету! Нету, и все! И тюфяков. Ни одного! Нету!

Ваня еще веселее захохотал, засмеялись и члены восемнадцатого отряда.

Я написал командиру восемнадцатого записку к Алешке Волкову: немедленно выдать шесть одеял и шесть матрацев.

По дороге к речке началось большое движение. Отряды колонистов заходили по ней, как на маневрах.

За конюшней, среди зарослей бурьяна, расположились четыре парикмахера, привезенные из города еще утром. Куряжская корка по частям отваливалась с организмов куряжан, подтверждая мою постоянную точку зрения: куряжане оказались обыкновенными мальчиками, оживленными, говорливыми и вообще «радостным народом».

Я видел, с каким искренним восторгом осматривают хлопцы свой новый костюм, с каким неожиданным кокетством расправляют складки рубах, вертят в руках тюбе-

тейки. Остроумный Алешка Волков, разобравшись в бесконечной ярмарке всяких вещей, расставленных вокруг собора, прежде всего вытащил на поверхность единственное наше трюмо, и его в первую очередь приладили два пацана на возвышении. И возле трюмо сразу образовалась толпа желающих увидеть свое отражение в мире и полюбоваться им. Среди куряжан нашлось очень много красивых ребят, да и остальные должны были похорошеть в самом непродолжительном времени, ибо красота есть функция труда и питания.

У девочек было особенно радостно. Горьковские девчата привезли для куряжских девчат специально для них сшитые роскошные наряды: синяя сатиновая юбочка, заложенная в крупную складку, хорошей ткани белая блузка, голубые носки и так называемые балетки. Кудлатый разрешил девичьим отрядам затащить в спальню швейные машины, и там началась обыкновенная женская вакханалия: перешивка, примерка, прилаживание. Куряжскую прачечную на сегодняшний день мы отдали в полное распоряжение девчат. Я встретил Переца и сказал ему строго:

— Переоденься в спецовку и нагрей девчатам котел в прачечной. Только, пожалуйста, без волынки: одна нога здесь, другая там.

Перец вытянул ко мне поцарапанное свое лицо, ткнул себя в грудь и спросил:

— Это... чтобы я нагрел девчатам воды?

— Да.

Перец выпятил живот, надул щеки и заорал на весь монастырь, козыряя рукой, как обыкновенно козыряют военные:

— Есть нагреть воды!

Вышло это у него достаточно нескладно, но энергично. Но после такого парада Перец вдруг загрустил:

— Так... А где ж я возьму спецовку? Наш девятый отряд еще не получил...

Я сказал Перецу:

— Детка! Может быть, нужно взять тебя за ручку и повести переодеть? И, кроме того, скажи, сколько еще времени ты будешь здесь болтать языком?

Окружающие нас ребята захохотали. Перец завертел башкой и закричал уже без всякой парадности:

— Сделаю!.. Сделаю, будьте покойны!

И убежал.

Лапоть снова трубил совет командиров, на этот раз на паперти собора, где уже устроил свою спальню отряд Гуда.

Стоя на паперти, Лапоть сказал:

— Командиры, усаживаться не будем, на минутку только. Пожалуйста, сегодня же растолкуйте пацанам, как нужно носы вытирать. Что это такое, ходят по всему двору, «сякаются»! Потом другое: насчет уборной скажите,— говорил же Жорка на собрании. И дальше: Алешка ведь поставил сорные ящики, а бросают куда попало.

— Да ты не спеши, раньше вон всякую гадость прибрать нужно, какие там ящики!— улыбнулся Ветковский.

— Брось, Костя! То прибрать, а то порядок... А еще путешественник! Да не забудьте, чтобы все знали наше правило, а то потом скажут: «Не знали! Откуда мы знали?..»

— Какое правило?

— Наше правило насчет плевать. Повторите хором...

Лапоть задирижировал рукой, и смеющиеся командиры устроили хоровую декламацию:

— «Раз плюнешь — три дня моешь».

Ротозеи пацаны из куряжан, внимавшие совету командиров со священным трепетом новоиспеченных масонов, ойкнули и прикрыли рты ладонями. Лапоть распустил совет, а пацаны понесли новый лозунг по временным отрядным логовам. Донесли его и до Халабуды, который неожиданно для меня вылез из коровника, в соломе, в пыли, в каких-то кормовых налетах, и забасил:

— Чертовы бабы, бросили меня, теперь пешком на станцию. Да. Раз плюнешь — три раза моешь! Здорово!.. Витька, пожалей старика, ты здесь лошадиный хозяин, запряги какую клячонку, отвези на станцию.

Витька оглянулся на маститого Антона Братченко, а Антон тоже мог похвастаться басом:

— Какую там клячонку! Запряги Молодца в кабриолет, отвези старика, он сегодня сам Зорьку вычистил. Давайте вас теперь вычистим.

Ко мне подошел взволнованный Таранец в повязке дежурного:

— Там... агрономы какие-то живут... Отказались очистить спальни и говорят: никаких нам не нужно отрядов.

— У них, кажется, чисто?

— Был сейчас у них. Осмотрел кровати и так... барахло на вешалке. Вшей много. И клопов.

— Пойдем.

В комнате агрономов был полный беспорядок: видно, давно уже не убиралось. Воскобойников, назначенный командиром отряда коровников, и еще двое, зачисленные в его отряд, подчинились постановлению, сдали свои вещи в дезинфекцию и ушли, оставив в агрономическом гнезде зияющие дыры, брошенные обрывки и куски ликвидированной оседлости. В комнате было несколько человек. Они встретили меня угрюмо. Но и я и они знали, на чьей стороне победа, вопрос мог стоять только о форме капитуляции.

Я спросил:

— Не желаете подчиниться постановлению общего собрания?

Молчание.

— Вы были на собрании?

Молчание. Таранец ответил:

— Не были.

— Я вам дал достаточно времени думать и решать. Как вы себя считаете: колонистами или квартирантами?

Молчание.

— Если вы квартиранты, я могу вам разрешить жить в этой комнате не больше десяти дней. Кормить не буду.

— А кто нас будет кормить? — сказал Сватко.

Таранец улыбнулся:

— Вот чудаки!

— Не знаю,— сказал я.— Я не буду.

— И сегодня обедать не дадите?

— Нет.

— Вы имеете право?

— Имею.

— А если мы будем работать?

— Здесь будут работать только колонисты.

— Мы будем колонистами, только будем жить в этой комнате.

— Нет.

— Так что ж нам делать?

Я достал часы:

— Пять минут можете подумать. Скажите дежурному ваше решение.

— Есть! — сказал Таранец.

Через полчаса я снова проходил мимо флигеля агрономов. Алешка Волков запирал дверь флигеля на замок. Таранец торчал тут ex officio.

— Выбрались?

— Ого! — засмеялся Таранец.

— Они все в разных отрядах?

— Да, по одному в разных отрядах.

Через полтора часа за парадными столами, накрытыми белыми скатертями, в неузнаваемой столовой, которую передовой сводный еще до зари буквально вылизал, украсив ветками и ромашками, и где, согласно диспозиции, немедленно по прибытии с вокзала Алешка Волков повесил портреты Ленина, Сталина, Ворошилова и Горького, а Шелапутин с Тоськой растянули под потолками лозунги и приветствия, между которыми неожиданным торчком становилось в голове у зрителя:

НЕ ПИЩАТЬ!

состоялся торжественный обед.

Подавленные, вконец деморализованные куряжане, все остриженные, вымытые, все в белых новых рубахах, вставлены в изящные тоненькие рамки из горьковцев и выскочить из рамок уже не могут. Они тихонько сидят у столов, сложив руки на коленях, и с глубоким уважением смотрят на горки хлеба на блюдах и хрустально-прозрачные графины с водой.

Девочки в белых фартучках, Жевелий, Шелапутин и Белухин в белых халатах, передвигаясь бесшумно, переговариваясь шепотом, поправляют последние ряды вилок и ножей, что-то добавляют, для кого-то освобождают место. Куряжане подчиняются им расслабленно, как больные в санатории, и Белухин поддерживает их, как больных, осторожно.

Я стою на свободном пространстве, у портретов, и вижу до конца весь оазис столовой, неожиданным чудом

выросший среди испачканной монастырской пустыни. В столовой стоит поражающая слух тишина, но на румянце щек, на блеске глаз, на неловкой грации смущения она отражается, как успокоенная правда, как таинство рождения чего-то нового.

Так же бесшумно, почти незамеченные, в двери входят один за другим трубачи и барабанщики и, тихонько оглядываясь, озабоченно краснея, выравниваются у стены. Только теперь увидели их все, и все неотрывно привязались к ним взглядом, позабыв об обеде.

Таранец показался в дверях:

— Под знамя встать! Смирно!

Горьковцы привычно вытянулись. Ошарашенные командой куряжане еле успели оглянуться и упереться руками в доски столов, чтобы встать, как были вторично ошарашены громом нашего энергичного оркестра.

Таранец ввел наше знамя, уже без чехла, уверенно играющее бодрыми складками алого шелка. Знамя замерло у портретов, сразу придав нашей столовой выражение нарядной советской торжественности.

— Садитесь.

Я сказал колонистам короткую речь, в которой не поминал уже им ни о работе, ни о дисциплине, в которой не призывал их ни к чему и не сомневался ни в чем. Я только поздравил их с новой жизнью и высказал уверенность, что эта жизнь будет прекрасна, как только может быть прекрасна человеческая жизнь.

Я сказал колонистам:

— Мы будем красиво жить, и радостно, и разумно, потому что мы люди, потому что у нас есть головы на плечах и потому что мы так хотим. А кто нам может помешать? Нет таких людей, которые могли бы отнять у нас наш труд и наш заработок. Нет в нашем Союзе таких людей. А посмотрите, какие люди есть вокруг нас. Смотрите, среди вас целый день сегодня был старый рабочий партизан, товарищ Халабуда. Он с вами перекатывал поезд, разгружал вагоны, чистил лошадей. Посчитать трудно, сколько хороших людей, больших людей, наших вождей, наших большевиков думают о нас и хотят нам помочь. Вот я сейчас прочитаю вам два письма. Вы увидите, что мы не одиноки, вы увидите, что вас любят, о вас заботятся:

«Письмо Максима Горького
председателю Харьковского исполкома

Разрешите от души благодарить Вас за внимание и помощь, оказанные Вами колонии имени Горького.

Хотя я знаком с колонией только по переписке с ребятами и заведующим, но мне кажется, что колония заслуживает серьезнейшего внимания и деятельной помощи.

В среде беспризорных детей преступность все возрастает и наряду с превосходнейшими здоровыми всходами растет и много уродливого. Будем надеяться, что работа таких колоний, как та, которой Вы помогли, покажет пути к борьбе с уродством, выработает из плохого хорошее, как она уже научилась это делать.

Крепко жму Вашу руку, товарищ. Желаю здоровья, душевной бодрости и хороших успехов в вашей трудной работе.

М. Горький.

Ответ Харьковского исполкома
Максиму Горькому

Дорогой товарищ! Президиум Харьковского окрисполкома просит Вас принять глубокую благодарность за внимание, оказанное Вами детской колонии, носящей Ваше имя.

Вопросы борьбы с детской беспризорностью и детскими правонарушителями привлекают к себе наше особенное внимание и побуждают нас принимать самые серьезные меры к воспитанию и приспособлению их к здоровой трудовой жизни.

Конечно, задача эта трудна, она не может быть выполнена в короткий срок, но к ее разрешению мы уже подошли вплотную.

Президиум исполкома убежден, что работа колонии в новых условиях прекрасно наладится, что в ближайшее же время эта работа будет расширена и что общим дружным усилием ее положение будет на той высоте, на которой должна стоять колония Вашего имени.

Позвольте, дорогой товарищ, от всей души пожелать Вам побольше сил и здоровья для дальнейшей благотворной деятельности, для дальнейших трудов».

Читая эти письма, я через верхний край бумаги поглядывал на ребят. Они слушали меня, и душа их, вся целиком, столпилась в глазах, удивленных и обрадованных, но в то же время не способных обнять всю таинственность и широту нового мира. Многие привстали за столом и, опершись на локти, приблизили ко мне свои лица. Рабфаковцы, стоя у стены, улыбались мечтательно, девочки начинали уже вытирать глаза, и на них потихоньку оглядывались мужественные пацаны. За правым столом сидел Коротков и думал, нахмурив красивые брови. Ховрах смотрел в окно, страдальчески поджав щеки.

Я кончил. Пробежали за столами первые волны движений и слов, но Карабанов поднял руку:

— Знаете что? Что ж тут говорить? Тут... черт его знает... тут спивать надо, а не говорить. А давайте мы двинем... знаете, только так, по-настоящему... «Интернационал».

Хлопцы закричали, засмеялись, но я видел, как многие из куряжан смутились и притихли,— я догадался, что они не знали слов «Интернационала».

Лапоть взлез на скамью:

— Ну! Девчата, забирайте звонче!

Он взмахнул рукой, и мы запели.

Может быть, потому, что каждая строчка «Интернационала» сейчас так близка была к нашей сегодняшней жизни, пели мы наш гимн весело и улыбаясь. Хлопцы косили глазами на Лаптя и невольно подражали его живой, горячей мимике, в которой Лапоть умел отразить все человеческие идеи. А когда мы пели:

Чуешь, сурмы загралы,
Час расплаты настав...

Лапоть выразительно показал на наших трубачей, вливающих в наше пение серебряные голоса корнетов.

Кончили петь. Матвей Белухин махнул белым платком и зазвенел по направлению к кухонному окну:

— Подавать гусей-лебедей, мед-пиво, водку-закуску и мороженое по полной тарелке!

Ребята громко засмеялись, глядя на Матвея возбужденными глазами, и Белухин ответил им, осклабясь в шутке, сдержанно расставленным тенором:

— Водки, закуски не привезли, дорогие товарищи, а мороженое есть, честное слово! А сейчас лопайте борщ!

По столовой пошли хорошие, дружеские улыбки. Следя за ними, я неожиданно увидел широко открытые глаза Джуринской. Она стояла в дверях столовой, и из-за ее плеча выглядывала улыбающаяся физиономия Юрьева. Я поспешил к ним.

Джуринская рассеянно подала мне руку, будучи не в силах оторваться от линий остриженных голов, белых плеч и дружеских улыбок.

— Что это такое? Антон Семенович... Постойте!.. Да нет! — У нее задрожали губы.— Это все ваши? А эти... где? Да рассказывайте, что здесь у вас происходит?

— Происходит? Черт его знает, что здесь происходит... Кажется, это называется преображением. А впрочем... это все наши.

10. У ПОДОШВЫ ОЛИМПА

Май и июнь в Куряже были нестерпимо наполнены работой. Я не хочу сейчас об этой работе говорить словами восторга.

Если к работе подходить трезво, то необходимо признать, что много есть работ тяжелых, неприятных, неинтересных, многие работы требуют большого терпения, привычки преодолевать болевые угнетающие ощущения в организме; очень многие работы только потому и возможны, что человек приучен страдать и терпеть.

Преодолевать тяжесть труда, его физическую непривлекательность люди научились давно, но мотивации этого преодоления нас теперь не всегда удовлетворяют. Снисходя к слабости человеческой природы, мы терпим и теперь некоторые мотивы личного удовлетворения, мотивы собственного благополучия, но мы неизменно стремимся воспитывать широкие мотивации коллективного интереса. Однако многие проблемы в области этого вопроса очень запутаны, и в Куряже приходилось решать их почти без помощи со стороны.

Когда-нибудь настоящая педагогика разработает этот вопрос, разберет механику человеческого усилия, укажет, какое место принадлежит в нем воле, самолюбию, стыду,

внушаемости, подражанию, страху, соревнованию и как все это комбинируется с явлениями чистого сознания, убежденности, разума. Мой опыт, между прочим, решительно утверждает, что расстояние между элементами чистого сознания и прямыми мускульными расходами довольно значительно и что совершенно необходима некоторая цепь связующих более простых и более материальных элементов.

В день приезда горьковцев в Куряже очень удачно был разрешен вопрос о сознании. Куряжская толпа была в течение одного дня приведена к уверенности, что приехавшие отряды привезли ей лучшую жизнь, что к куряжанам прибыли люди с опытом и помощью, что нужно идти дальше с этими людьми. Здесь решающими не были даже соображения выгоды, здесь происходило, конечно, коллективное внушение, здесь решали не расчеты, а глаза, уши, голоса и смех. Все же в результате первого дня куряжане безоглядно захотели стать членами горьковского коллектива хотя бы уже и потому, что это был коллектив, еще не испробованная сладость в их жизни.

Но я приобрел на свою сторону только сознание, а этого было страшно мало. На другой же день это обнаружилось во всей своей сложности. Еще с вечера были составлены сводные отряды на разные работы, намеченные в декларации комсомола, почти ко всем сводным были прикреплены воспитатели или старшие горьковцы, настроение у куряжан с самого утра было прекрасное, и все-таки к обеду выяснилось, что работают очень плохо. После обеда многие уже не вышли на работу, где-то попрятались, часть по привычке потянулась в город и на Рыжов.

Я сам обошел все сводные отряды — картина была везде одинакова. Вкрапления горьковцев казались везде очень незначительными, преобладание куряжан бросалось в глаза, и нужно было опасаться, что начнет преобладать и стиль их работы, тем более, что среди горьковцев было очень много новеньких, да и некоторые старики, растворившись в куряжской пресной жидкости, грозили просто исчезнуть как активная сила.

Взяться за внешние дисциплинарные меры, которые так выразительно и красиво действуют в сложившемся коллективе, было опасно. Нарушителей было очень мно-

го, возиться с ними было делом сложным, требующим много времени, и неэффективным, ибо всякая мера взыскания только тогда производит полезное действие, когда она выталкивает человека из общих рядов и поддерживается несомненным приговором общественного мнения. Кроме того, внешние меры слабее всего действуют в области организации мускульного усилия.

Менее опытный человек утешил бы себя такими соображениями: ребята не привыкли к трудовому усилию, не имеют «ухватки», не умеют работать, у них нет привычки равняться по трудовому усилию товарищей, нет той трудовой гордости, которая всегда отличает коллективиста; все это не может сложиться в один день, для этого нужно время. К сожалению, я не мог ухватиться за такое утешение. В этом пункте давал себя знать уже известный мне закон: в педагогическом явлении нет простых зависимостей, здесь менее всего возможна силлогистическая формула, дедуктивный короткий бросок.

В майских условиях Куряжа постепенное и медленное развитие трудового усилия грозило выработать общий стиль работы, выраженный в самых средних формах, и ликвидировать пружинную быструю и точную ухватку горьковцев.

Область стиля и тона всегда игнорировалась педагогической «теорией», а между тем это самый существенный, самый важный отдел коллективного воспитания. Стиль—самая нежная и скоропортящаяся штука. За ним нужно ухаживать, ежедневно следить, он требует такой же придирчивой заботы, как цветник. Стиль создается очень медленно, потому что он немыслим без накопления традиций, то есть положений и привычек, принимаемых уже не чистым сознанием, а сознательным уважением к опыту старших поколений, к великому авторитету целого коллектива, живущего во времени. Неудача многих детских учреждений происходила оттого, что у них не выработался стиль и не сложились привычки и традиции, а если они и начинали складываться, переменные инспектора наробразов регулярно разрушали их, побуждаемые к этому, впрочем, самыми похвальными соображениями. Благодаря этому соцвосовские «ребенки» всегда жили без единого намека на какую бы то ни было преемственность не только «вековую», но даже и годовалую.

Побежденное сознание куряжан позволяло мне стать в более близкие и доверчивые отношения к ребятам. Но этого было мало. Для настоящей победы от меня требовалась теперь педагогическая техника. В области этой техники я был так же одинок, как и в 1920 году, хотя уже не был так юмористически неграмотен. Одиночество это было одиночеством в особом смысле. И в воспитательском, и в ребячьем коллективе у меня уже были солидные кадры помощников; располагая ими, я мог смело идти на самые сложные операции. Но все это было на земле.

На небесах и поближе к ним, на вершинах педагогического «Олимпа», всякая педагогическая техника в области собственно воспитания считалась ересью.

На «небесах» ребенок рассматривался как существо, наполненное особого состава газом, название которому даже не успели придумать. Впрочем, это была все та же старомодная душа, над которой упражнялись еще апостолы. Предполагалось (рабочая гипотеза), что газ этот обладает способностью саморазвития, не нужно только ему мешать. Об этом было написано много книг, но все они повторяли, в сущности, изречения Руссо:

«Относитесь к детству с благоговением...»

«Бойтесь помешать природе...»

Главный догмат этого вероучения состоял в том, что в условиях такого благоговения и предупредительности перед природой из вышеуказанного газа обязательно должна вырасти коммунистическая личность. На самом деле в условиях чистой природы вырастало только то, что естественно могло вырасти, то есть обыкновенный полевой бурьян, но это никого не смущало — для небожителей были дороги принципы и идеи. Мои указания на практическое несоответствие получаемого бурьяна заданным проектам коммунистической личности называли делячеством, а если хотели подчеркнуть мою настоящую сущность, говорили:

— Макаренко хороший практик, но в теории он разбирается очень слабо.

Были разговоры и о дисциплине. Базой теории в этом вопросе были два слова, часто встречающиеся у Ленина: «сознательная дисциплина». Для всякого здравомыслящего человека в этих словах заключается простая, по-

нятная и практически необходимая мысль: дисциплина должна сопровождаться пониманием ее необходимости, полезности, обязательности, ее классового значения. В педагогической теории это выходило иначе: дисциплина должна вырастать не из социального опыта, не из практического товарищеского коллективного действия, а из чистого сознания, из голой интеллектуальной убежденности, из пара души, из идей. Потом теоретики пошли дальше и решили, что «сознательная дисциплина» никуда не годится, если она возникает вследствие влияния старших. Это уже не дисциплина по-настоящему сознательная, а натаскивание и, в сущности, насилие над паром души. Нужна не сознательная дисциплина, а «самодисциплина». Точно так же не нужна и опасна какая бы то ни была организация детей, а необходима «самоорганизация».

Возвращаясь в свое захолустье, я начинал думать. Я соображал так: мы все прекрасно знаем, какого нам следует воспитать человека, это знает каждый грамотный сознательный рабочий и хорошо знает каждый член партии. Следовательно, затруднения не в вопросе, что нужно сделать, но как сделать. А это вопрос педагогической техники.

Технику можно вывести только из опыта. Законы резания металлов не могли бы быть найдены, если бы в опыте человечества никто никогда металлов не резал. Только тогда, когда есть технический опыт, возможны изобретение, усовершенствование, отбор и браковка.

Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Это особенно заметно в области собственно воспитания, в школьной работе как-то легче.

Именно потому у нас просто отсутствуют все важные отделы производства: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, применение кондукторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка.

Когда подобные слова я несмело произносил у подошвы «Олимпа», боги швыряли в меня кирпичами и кричали, что это механистическая теория.

А я, чем больше думал, тем больше находил сходства между процессами воспитания и обычными процессами

на материальном производстве, и никакой особенно страшной механистичности в этом сходстве не было. Человеческая личность в моем представлении продолжала оставаться человеческой личностью со всей ее сложностью, богатством и красотой, но мне казалось, что именно потому к ней нужно подходить с более точными измерителями, с большей ответственностью и с большей наукой, а не в порядке простого темного кликушества. Очень глубокая аналогия между производством и воспитанием не только не оскорбляла моего представления о человеке, но, напротив, заражала меня особенным уважением к нему, потому что нельзя относиться без уважения и к хорошей сложной машине.

Во всяком случае для меня было ясно, что очень многие детали в человеческой личности и в человеческом поведении можно было сделать на прессах, просто штамповать в стандартном порядке, но для этого нужна особенно тонкая работа самих штампов, требующих скрупулезной осторожности и точности. Другие детали требовали, напротив, индивидуальной обработки в руках высококвалифицированного мастера, человека с золотыми руками и острым глазом. Для многих деталей необходимы были сложные специальные приспособления, требующие большой изобретательности и полета человеческого гения. А для всех деталей и для всей работы воспитателя нужна особая наука. Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, когда ее начинают воспитывать? А ведь для всех не секрет, что такое сопротивление имеет место. Почему, наконец, у нас нет отдела контроля, который мог бы сказать разным педагогическим портачам:

— У вас, голубчики, девяносто процентов брака. У вас получилась не коммунистическая личность, а прямая дрянь, пьянчужка, лежебок и шкурник. Уплатите, будьте добры, из вашего жалованья.

Почему у нас нет никакой науки о сырье, и никто толком не знает, что из этого материала следует делать — коробку спичек или аэроплан?

С вершин олимпийских кабинетов не различают никаких деталей и частей работы. Оттуда видно только безбрежное море безликого детства, а в самом кабинете

стоит модель абстрактного ребенка, сделанная из самых легких материалов: идей, печатной бумаги, маниловской мечты. Когда люди «Олимпа» приезжают ко мне в колонию, у них не открываются глаза, и живой коллектив ребят им не кажется новым обстоятельством, вызывающим прежде всего техническую заботу. А я, провожая их по колонии, уже поднятый на дыбу теоретических соприкосновений с ними, не могу отделаться от какого-нибудь технического пустяка.

В спальне четвертого отряда сегодня не помыли полов, потому что ведро куда-то исчезло. Меня интересует и материальная ценность ведра и техника его исчезновения. Ведра выдаются в отряды под ответственность помощника командира, который устанавливает очередь уборки, а следовательно, и очередь ответственности. Вот эта именно штука — ответственность за уборку и за ведро и за тряпку — есть для меня технологический момент.

Эта штука подобна самому захудалому, старому, без фирмы и года выпуска, токарному станку на заводе. Такие станки всегда помещаются в дальнем углу цеха, на самом замасленном участке пола и называются «козами». На них производится разная детальная шпана: шайбы, крепежные части, прокладки, какие-нибудь болтики. И все-таки, когда такая «коза» начинает заедать, по заводу пробегает еле заметная рябь беспокойства, в сборном цехе нечаянно заводится «условный выпуск», на складских полках появляется досадная горка неприятной продукции — «некомплект».

Ответственность за ведро и тряпку для меня такой же токарный станок, пусть и последний в ряду, но на нем обтачиваются крепежные части для важнейшего человеческого атрибута: чувства ответственности. Без этого атрибута не может быть коммунистического человека, будет «некомплект».

Олимпийцы презирают технику. Благодаря их владычеству давно захирела в наших педвузах педагогически-техническая мысль, в особенности в деле собственно воспитания. Во всей нашей советской жизни нет более жалкого технического состояния, чем в области воспитания. И поэтому воспитательное дело есть дело кустарное, а из кустарных производств — самое отсталое. Имен-

но поэтому до сих пор действительной остается жалоба Луки Лукича Хлопова из «Ревизора»:

«Нет хуже служить по ученой части, всякий мешается, всякий хочет показать, что он тоже умный человек».

И это не шутка, не гиперболический трюк, а простая прозаическая правда. «Кому ума недоставало» решать любые воспитательные вопросы? Стоит человеку залезть за письменный стол, и он уже вешает, связывает и развязывает. Какой книжкой можно его обуздать? Зачем книжка, раз у него у самого есть ребенок? А в это время профессор педагогики, специалист по вопросам воспитания, пишет записку в ГПУ или НКВД:

«Мой мальчик несколько раз меня обкрадывал, дома не ночует, обращаюсь к вам с горячей просьбой...»

Спрашивается, почему чекисты должны быть более высокими педагогическими техниками, чем профессора педагогики?

На этот захватывающий вопрос я ответил не скоро, а тогда, в 1926 году, я со своей техникой был не в лучшем положении, чем Галилей со своей трубой. Передо мной стоял короткий выбор: или провал в Куряже, или провал на «Олимпе» и изгнание из рая. Я выбрал последнее. Рай блистал над моей головой, переливая всеми цветами теории, но я вышел к сводному отряду куряжан и сказал хлопцам:

— Ну, ребята, работа ваша дрянь... Возьмусь за вас сегодня на собрании. К чертям собачьим с такой работой!

Хлопцы покраснели, и один из них, выше ростом, ткнул сапкой в моем направлении и обиженно прогудел:

— Так сапки тупые... Смотрите...

— Брешешь,— сказал ему Тоська Соловьев,— брешешь. Признайся, что сбрехал. Признайся...

— А что, острая?

— А что, ты не сидел на меже целый час? Не сидел?

— Слушайте! — сказал я сводному.— Вы должны к ужину закончить этот участок. Если не закончите, будем работать после ужина. И я буду с вами.

— Та кончим,—запел владелец тупой сапки.—Что ж тут кончать?

Тоська засмеялся:

— Ну, и хитрый!..

В этом месте оснований для печали не было: если люди отлынивают от работы, но стараются придумать хорошие причины для своего отлынивания, это значит, что они проявляют творчество и инициативу — вещи, имеющие большую цену на олимпийском базаре. Моей технике оставалось только притушить это творчество, и все, зато я с удовлетворением мог отметить, что демонстративных отказов от работы почти не было. Некоторые потихоньку прятались, смывались куда-нибудь, но эти смущали меня меньше всего: для них была всегда наготове своеобразная техника у пацанов. Где бы ни гулял прогульщик, а обедать волей-неволей приходил к столу своего отряда. Куряжане встречали его сравнительно безмятежно, иногда только спрашивали наивным голосом:

— Разве ты не убежал с колонии?

У горьковцев были языки и руки впечатлительнее. Прогульщик подходит к столу и старается сделать вид, что человек он обыкновенный и не заслуживает особенного внимания, но командир каждому должен воздать по заслугам. Командир строго говорит какому-нибудь Кольке:

— Колька, что же ты сидишь? Разве ты не видишь? Криворучко пришел, скорее место очисти! Тарелку ему чистую! Да какую ты ложку даешь, какую ложку?!

Ложка исчезает в кухонном окне.

— Наливай ему самого жирного!.. Самого жирного!.. Петька, сбегай к повару, принеси хорошую ложку! Скорее! Степка, отрежь ему хлеба... Да что ты режешь? Это граки едят такими скибками, ему тоненькую нужно... Да где же Петька с ложкой?.. Петька, скорее там! Ванька, позови Петьку с ложкой!..

Криворучко сидит перед полной тарелкой действительно жирного борща и краснеет прямо в центр борщевой поверхности. Из-за соседнего стола кто-нибудь солидно спрашивает:

— Тринадцатый, что, гостя поймали?

— Пришли, как же, пришли, обедать будут... Петька, да давай же ложку, некогда!..

Дурашливо захлопотанный Петька врывается в столовую и протягивает обыкновенную колонийскую ложку, держит ее в двух руках парадно, как подношение. Командир свирепеет:

— Какую ты ложку принес? Тебе какую сказали? Принеси самую большую...

Петька изображает оторопелую поспешность, как угорелый, мечется по столовой и тычется в окна вместо дверей. Начинается сложная мистерия, в которой принимают участие даже кухонные люди. Кое у кого сейчас замирает дыхание, потому что и они, собственно говоря, случайно не сделались предметом такого же горячего гостеприимства. Петька снова влетает в столовую, держа в руках какой-нибудь саженный дуршлаг или кухонный уполовник. Столовая покатывается со смеху. Тогда из-за своего стола медленно вылезает Лапоть и подходит к месту происшествия. Он молча разглядывает всех участников мелодрамы и строго посматривает на командира. Потом его строгое лицо на глазах у всех принимает окраски растроганной жалости и сострадания, то есть тех именно чувств, на которые Лапоть заведомо для всех неспособен. Столовая замирает в ожидании самой высокой и тонкой игры артистов! Лапоть орудует нежнейшими оттенками фальцета и кладет руку на голову Криворучко:

— Детка, кушай, детка, не бойся... Зачем издеваетесь над мальчиком? А? Кушай, детка... Что, ложки нет? Ах, какое свинство, дайте ему какую-нибудь... Да вот эту, что ли...

Но детка не может кушать. Она ревет на всю столовую и вылезает из-за стола, оставляя нетронутой тарелку самого жирного борща. Лапоть рассматривает страдальца, и по лицу Лаптя видно, как тяжело и глубоко он умеет переживать.

— Это как же? — чуть не со слезами говорит Лапоть. — Что же, ты и обедать не будешь? Вот до чего довели человека!

Лапоть оглядывается на хлопцев и беззвучно хохочет. Он обнимает плечи Криворучко, вздрагивающие в рыданиях, и нежно выводит его из столовой. Публика заливается хохотом. Но есть и последний акт мелодрамы, который публика видеть не может. Лапоть привел гостя на кухню, усадил за широкий кухонный стол и приказал повару подать и накормить «этого человека» как можно лучше, потому что «его, понимаете, обижают». И когда еще всхлипывающий Криворучко доел борщ и у него на-

ходится достаточно свободной души, чтобы заняться носом и слезами, Лапоть наносит последний тихонький удар, от которого даже Иуда Искариотский обратился бы в голубя:

— Чего это они на тебя? Наверное, на работу не вышел? Да?

Криворучко кивает, икает, вздыхает и вообще больше сигнализирует, чем говорит.

— Вот чудаки!.. Ну, что ты скажешь!.. Да ведь ты последний раз? Последний раз, правда? Так чего ж тут въедаться? Мало ли что бывает? Я, как пришел в колонию, так семь дней на работу не ходил... А ты только два дня. А дай, я посмотрю твои мускулы... Ого!.. Конечно, с такими мускулами надо работать... Правда же?

Криворучко снова кивает и принимается за кашу. Лапоть уходит в столовую, оставляя Криворучко неожиданный комплимент:

—Я сразу увидел, что ты свой парень...

Достаточно было одной-двух подобных мистерий, чтобы уход из рабочего отряда сделался делом невозможным. Этот институт вывелся в Куряже очень быстро. Труднее было с такими симулянтами, как Ховрах. Уже на третий день у него начались солнечные удары, он со стонами залезал под кусты и укладывался отдыхать. С такими умел гениально расправляться Таранец. Он выпрашивал у Антона линейку и Молодца и с целой группой санитаров, украшенный флагами и крестами, выезжал на поле. Наиболее сильным средством у Таранца был Кузьма Леший, вооруженный настоящим кузнечным мехом. Не успеет Ховрах разнежиться в роще, как на него налетает «скорая помощь» для несчастных случаев, Леший мгновенно устанавливает против больного свой мех, и несколько человек работают мехом с искренним увлечением. Они обдувают Ховраха во всех местах, где предполагается притаившийся солнечный удар, а потом влекут к карете. Но Ховрах уже здоров, и карета спокойно уезжает в колонию. Как ни тяжело было для Ховраха подвергнуться описанной медицинской процедуре, еще тяжелее ему возвратиться в сводный и в молчании принимать дозы новых лекарств в виде самых простых вопросов:

— Что, Ховрах, помогло? Хорошее средство, правда?

Разумеется, это были партизанские действия, но они вытекали из общего тона и из общего стремления коллектива наладить работу. А тон и стремление — это были настоящие предметы моей технической заботы.

Основным технологическим моментом оставался, конечно, отряд. Что такое отряд, на «Олимпе» так и не разобрали до самого конца нашей истории. А между тем я из всех сил старался растолковать олимпийцам значение отряда и его определяющую полезность в педагогическом процессе. Но ведь мы говорили на разных языках, ничего нельзя было растолковать. Я привожу здесь почти полностью один разговор, который произошел между мною и профессором педагогики, заехавшим в колонию, очень аккуратным человеком в очках, в пиджаке, в штанах, человечком мыслящим и добродетельным. Он пристал ко мне с вопросом, почему столы в столовой между отрядами распределяет дежурный командир, а не педагог.

— Серьезно, товарищ, вы, вероятно, просто шутите. Я прошу вас серьезно со мной говорить. Как это так: дежурный мальчик распределяет столовую, а вы спокойно здесь стоите. Вы уверены, что он все сделает правильно, никого не обидит? Наконец... он может просто ошибиться.

— Распределить столовую не так трудно,— ответил я профессору,— кроме того, у нас есть старый и очень хороший закон.

— Интересно. Закон?

— Да, закон. Такой: все приятное и все неприятное или трудное распределяется между отрядами по очереди, по порядку их номеров.

— Как это? Что т-такое? Не понимаю...

— Это очень просто. Сейчас первый отряд получает самое лучшее место в столовой, после него через месяц — второй и так далее.

— Хорошо. А «неприятное» — что это такое?

— Бывает очень часто так называемое неприятное. Ну, вот, например, если сейчас нужно будет проделать срочную внеплановую работу, то будет вызван первый отряд, а в следующий раз — второй. Когда будут распределять уборку, первому отряду в первую очередь да-

дут чистить уборные. Это, конечно, относится только к работам очередного типа.

— Это вы придумали такой ужасный закон?

— Нет, почему я? Это хлопцы. Для них так удобнее: ведь такие распределения делать очень трудно, всегда будут недовольные. А теперь это делается механически. Очередь передвигается через месяц.

— Так, значит, ваш двадцатый отряд будет убирать уборную через двадцать месяцев?

— Конечно, но и лучшее место в столовой он тоже займет через двадцать месяцев.

— Кошмар! Но ведь через двадцать месяцев в двадцатом отряде будут новые люди. Ведь так же?

— Нет, состав отрядов почти не меняется. Мы — сторонники длительных коллективов. Конечно, кое-кто уйдет, будут два-три новичка. Но если даже и большинство отряда обновится, в этом нет ничего опасного. Отряд — это коллектив, у которого есть свои традиции, история, заслуги, слава. Правда, теперь мы значительно перемешали отряды, но все же — ядра остались.

— Не понимаю. Все это какие-то выдумки. Все это несерьезно. Какое значение имеет отряд, слава, если там новые люди. На что это похоже?

— Это похоже на Чапаевскую дивизию,— сказал я, улыбаясь.

— Ах, вы опять с вашей военизацией... Хотя... что же тут, так сказать, чапаевского?

— В дивизии уже нет тех людей, что были раньше. И нет Чапаева. Новые люди. Но они несут на себе славу и честь Чапаева и его полков, понимаете или нет? Они отвечают за славу Чапаева. А если они опозорятся, через пятьдесят лет новые люди будут отвечать за их позор.

— Не понимаю, для чего это вам нужно?

Так он и не понял, этот профессор. Что я мог сделать?

В первые дни Куряжа в отрядах совершалась очень большая работа. К двум-трем отрядам издавна был прикреплен воспитатель. На ответственности воспитателей лежало возбуждать в отрядах представление о коллективной чести и лучшем, достойном месте в колонии. Новые благородные побуждения коллективного интереса приходили, конечно, не в один день, но все же приходили

сравнительно быстро, гораздо быстрее, чем если бы мы надеялись только на индивидуальную обработку.

Вторым нашим весьма важным институтом была система перспективных линий. Есть, как известно, два пути в области организации перспективы, а следовательно, и трудового усилия. Первый заключается в оборудовании личной перспективы, между прочим, при помощи воздействия на материальные интересы личности. Это последнее, впрочем, решительно запрещалось тогдашними педагогическими мыслителями. Когда дело доходило до самого незначительного количества рублей, намечаемых к выдаче ребятам в виде зарплаты или премии, на «Олимпе» подымался настоящий скандал. Педагогические мыслители были убеждены, что деньги от дьявола, недаром же они слышали в «Фаусте»:

Люди гибнут за металл...

Их отношение к зарплате и к деньгам было настолько паническое, что не оставалось места ни для какой аргументации. Здесь могло помочь только окропление святой водой, но я этим средством не обладал.

А между тем зарплата — очень важное дело. На получаемой зарплате воспитанник вырабатывает умение координировать личные и общественные интересы, попадает в сложнейшее море советского промфинплана, хозрасчета и рентабельности, изучает всю систему советского заводского хозяйства и принципиально становится на позиции, общие со всяким другим рабочим. Наконец приучается просто ценить заработок и уже не выходит из детского дома в образе беспризорной институтки, не умеющей жить, а обладающей только «идеалами».

Но ничего нельзя было поделать, на этом лежало «табу» [1].

Я имел возможность пользоваться только вторым путем — методом повышения коллективного тона и организации сложнейшей системы коллективной перспективы. От этого метода не так пахло нечистой силой, и олимпийцы терпели здесь многое, хотя и ворчали иногда подозрительно.

---

[1] Табу — запрещение.

Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. Во-вторых, нужно настойчиво претворять более простые виды радости в более сложные и человечески значительные. Здесь проходит интересная линия: от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до глубочайшего чувства долга.

Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке,— это сила и красота. И то и другое определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе. Человек, определяющий свое поведение самой близкой перспективой, сегодняшним обедом, именно сегодняшним, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он может представляться сильным, но он не вызывает у нас ощущения красоты личности и ее настоящей ценности. Чем шире коллектив, перспективы которого являются для человека перспективами личными, тем человек красивее и выше.

Воспитать человека — значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость. Можно написать целую методику этой важной работы. Она заключается в организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной подстановке более ценных. Начинать можно и с хорошего обеда, и с похода в цирк, и с очистки пруда, но надо всегда возбуждать к жизни и постепенно расширять перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив всего Союза.

Ближайшей коллективной перспективой после завоевания Куряжа сделался праздник первого снопа.

Но я должен отметить один исключительный вечер, сделавшийся почему-то переломным в трудовом усилии куряжан. Я, впрочем, не рассчитывал на такой результат, я хотел сделать только то, что необходимо было сделать, вовсе не из практических намерений.

Новые колонисты не знали, кто такой Горький. В ближайшие дни по приезде мы устроили вечер Горького. Он

был сделан очень скромно. Я сознательно не хотел придавать ему характер концерта или литературного вечера. Мы не пригласили гостей. На скромно убранной сцене поставили портрет Алексея Максимовича.

Я рассказал ребятам о жизни и творчестве Горького, рассказал подробно. Несколько старших ребят прочитали отрывки из «Детства».

Новые колонисты слушали меня, широко открыв глаза: они не представляли себе, что в мире возможна такая жизнь. Они не задавали мне вопросов и не волновались до той минуты, пока Лапоть не принес папку с письмами Горького.

— Это он написал? Сам писал? Он писал колонистам? А ну, покажите...

Лапоть бережно обнес по рядам развернутые письма Горького. Кое-кто задержал руку Лаптя и постарался глубже проникнуть в содержание происходящего.

— Вот видишь, вот видишь: «Дорогие мои товарищи». Так и написано...

Все письма были прочитаны на собрании. Я после этого спросил:

— Может, есть желающие что-нибудь сказать?

Минуты две не было желающих. Но потом, краснея, на сцену вышел Коротков и сказал:

— Я скажу новым горьковцам... вот, как я. Только я не умею говорить... Ну, все равно. Хлопцы! Жили мы тут, и глаза у нас есть, а ничего мы не видели... Как слепые, честное слово. Аж досадно — сколько лет пропало! А сейчас нам показали одного Горького... Честное слово, у меня все на душе перевернулось... не знаю, как у вас...

Коротков придвинулся к краю сцены, чуть-чуть прищурил серьезные красивые глаза:

— Надо, хлопцы, работать... По-другому нужно работать... Понимаете?

— Понимаем! — закричали горячо пацаны и крепко захлопали, провожая со сцены Короткова.

На другой день я их не узнал. Отдуваясь, кряхтя, вертя головами, они честно, хотя и с великим трудом пересиливали извечную человеческую лень. Они увидели перед собой самую радостную перспективу: ценность человеческой личности.

11. ПЕРВЫЙ СНОП

Последние дни мая по очереди приносили нам новые подарки: новые площадки двора, новые двери и окна, новые запахи во дворе и новые настроения. Последние припадки лени теперь легко уже сбрасывались. Все сильнее начинал блестеть впереди праздник нашей победы. Из недр монастырской горы, из глубин бесчисленных келий выходил на поверхность последний чад прошлого, и его немедленно подхватывал летний услужливый ветер и уносил куда-то далеко, на какие-то свалки истории.

Ветру теперь не трудно было работать: упорные ломы сводных за две недели своротили к черту вековую саженную стену. Коршун, Мэри и посвежевшие кони Куряжа, получившие в совете командиров приличные имена: Василек, Монах, Орлик, развезли кирпичный прах куда следует: что покрупнее и поцелее — на постройку свинарни, что помельче — на дорожки, овражки, ямы. Другие сводные с лопатами, тачками, носилками расширили, расчистили, утрамбовали крайние площадки нашей горы, раскопали спуски в долину, уложили ступени, а бригада Борового уже наладила десяток скамеек, чтобы поставить их на специальных террасках и поворотах. В нашем дворе стало светло и просторно, прибавилось неба, и зеленые украшения и привольные дали горизонта расположились вокруг нас широчайшей рамой.

И во дворе и вокруг горы давно уничтожили останки соцвосовских миллионов, и наш садовник Мизяк, человек молчаливый и сумрачный, какими часто бывают некрасивые мужья красавиц, уже вскапывал с ребятами обочины двора и дорожек и складывал в аккуратные кучки износившиеся кирпичики монашеских тротуаров.

На северном краю двора делали фундамент для свинарни. Свинарня делалась настоящая, с хорошими станками. Шере уже не похож на погорельца, сейчас и он почувствовал архимедовский восторг: ежедневно выходили на работу больше тридцати сводных отрядов, в наших руках ощущалась огромная сила. И я увидел, какие страшные запасы рабочего аппетита заложены в Шере. Он еще больше похудел от жадности: работы много, рабочей силы много, только в нем самом имеют пределы силы организатора. Эдуард Николаевич уменьшил сон,

удлинил как будто ноги, вычеркнул из распорядка дня разные излишества вроде завтраков, обедов и ужинов — и все-таки не успевал всего сделать.

На нашей сотне гектаров Шере хотел в полтора месяца пройти тот путь, который на старом месте мы проходили в шесть лет. Он бросал большие сводные на прополку полей, на выщипывание самой ничтожной травки, он без малейшего содрогания перепахивал неудачные участки и прилаживал к ним какие-то особенные поздние культуры. По полям прошли прямые, как лучи, межи, очищенные от сорняка и украшенные, как и раньше, визитными карточками «королей андалузских» и «принцесс» разных сортов. На центральном участке, у самой полевой дороги, Шере раскинул баштан, снисходя к моим педагогическим перспективам. В совете командиров отметили это начинание как весьма полезное, и Лапоть немедленно приступил к учету разной заслуженной калечи, чтобы из ее элементов составить специальный отряд баштанников.

Как ни много было работы у Шере, а хватило сил наших и на сводный отряд для очистки пруда. Командиром сводного назначили Карабанова. Сорок голых хлопцев, опоясав бедра самыми негодными трусиками, какие только нашлись у Дениса Кудлатого, приступили к спуску воды. На дне пруда нашлось много интересных вещей: винтовки, обрезы, револьверы. Карабанов говорил:

— Если тут хорошо поискать, то и штаны найдутся. Я так думаю, что сюда и штаны бросили, бо без штанов тикать легче...

Оружие из грязи вытащить было нетрудно, но вытащить самую грязь оказалось очень тяжелым делом. Пруд был довольно большой, выносить грязь ведрами и носилками — когда кончишь работу? Только когда приспособили к делу четверку лошадей и специально изобретенные дощатые лопасти, толща грязи начала заметно уменьшаться.

«Особый второй сводный» Карабанова во время работы был исключительно красив. Вымазанные до самой макушки хлопцы сильно походили на чернокожих, их трудно было узнавать в лицо, их толпа казалась прибывшей из неизвестной далекой страны. Уже на третий день мы получили возможность любоваться зрелищем,

абсолютно невозможным в наших широтах: хлопцы вышли на работу, украсив бедра стильными юбочками из листьев акации, дуба и подобных тропических растений. На шеях, на руках, на ногах у них появились соответствующие украшения из проволоки, полосок листового железа, жести. Многие ухитрились пристроить к носам поперечные палочки, а на ушах развесить серьги из шайб, гаек, гвоздиков.

Чернокожие, конечно, не знали ни русского, ни украинского языков и изъяснялись исключительно на неизвестном колонистам туземном наречии, отличающемся крикливостью и преобладанием непривычных для европейского уха гортанных звуков. К нашему удивлению, члены особого второго сводного не только понимали друг друга, но и отличались чрезвычайной словоохотливостью, и над всей огромной впадиной пруда целый день стоял невыносимый гомон. Залезши по пояс в грязь, чернокожие с криком прилаживают Стрекозу или Коршуна к нескладному дощатому приспособлению в самой глубине ила и орут благим матом.

Карабанов, блестящий и черный, как и все, сделавший из своей шевелюры какой-то, выдающегося безобразия, кок, вращает огромными белыми глазами и скалит страшные зубы:

— Каррамба!

Десятки пар таких же диких и таких же белых глаз устремляются в одну точку, куда показывает вся в браслетах экзотическая рука Карабанова, кивают головами и ждут. Карабанов орет:

— Пхананяй, пхананяй!

Дикари стремглав бросаются на приспособление и тесной дикой толпой, с напряжением и воплем помогают Стрекозе вытащить на берег целую тонну густого, тяжелого ила.

Эта этнографическая возня особенно оживляется к вечеру, когда на склоне нашей горы рассаживается вся колония и голоногие пацаны с восхищением ожидают того сладкого момента, когда Карабанов заорет: «Гòрлы резыты!..» и чернокожие с свирепыми лицами кровожадно бросятся на белых. Белые в ужасе спасаются во двор колонии, из дверей и щелей выглядывают их перепуганные лица. Но чернокожие не преследуют белых, и вооб-

ще дело до каннибальства не доходит, ибо хотя дикари и не знают русского языка, тем не менее прекрасно понимают, что такое домашний арест за принос грязи в жилое помещение.

Только один раз счастливый случай позволил дикарям действительно покуражиться над белым населением в окрестностях столичного города Харькова.

В один из вечеров после сухого жаркого дня с запада пришла грозовая туча. Заворачивая под себя клокочущий серый гребень, туча поперек захватила небо, зарычала и бросилась на нашу гору. Особый второй сводный встретил тучу с восторгом, дно пруда огласилось торжествующими криками. Туча заколотила по Куряжу из всех своих батарей тяжелыми тысячетонными взрывами и вдруг, не удержавшись на шатких небесных качелях, свалилась на нас, перемешав в дымящемся вихре полосы ливня, громы, молнии и остервенелый гнев. Особый второй сводный ответил на это душераздирающим воплем и исступленно заплясал в самом центре хаоса.

Но в этот приятный момент на край горы в сетке дождя вынесся строгий, озабоченный Синенький, и заиграл закатисто-разливчатый сигнал тревоги. Дикари потушили пляски и вспомнили русский язык:

— Чего дудишь? А? У нас?.. Где?

Синенький ткнул трубой на Подворки, куда уже спешили в обход пруда вырвавшиеся из двора колонисты. В сотне метров от берега жарким обильным костром полыхала хата, и возле нее торжественно ползали какие-то элементы процессии. Все сорок чернокожих во главе с вождем бросились к хате. Десятка полтора испуганных баб и дедов в этот момент наладили против прибежавших раньше колонистов заграждение из икон, и один из бородачей кричал:

— Какое ваше дело? Господь бог запалил, господь бог и потушит...

Но, оглянувшись, и бородач и другие верующие убедились, что не только господь бог не проявляет никакой пожарной заботы, но попустительством божиим решающее участие в катастрофе предоставлено нечистой силе: на них с дикими криками несется толпа чернокожих, потрясая мохнатыми бедрами и позванивая железными ук-

рашениями. Черномазые лица, исковерканные носовыми палками и увенчанные безобразными коками, не оставляли никакого места для сомнений: у этих существ не могло быть, конечно, иных намерений, как захватить всю процессию и утащить ее в пекло. Деды и бабы пронзительно закричали и затопали по улице в разные стороны, прижимая иконы под мышками. Ребята бросились к конюшне и к коровнику, но было уже поздно: животные погибли. Разгневанный Семен первым попавшимся в руки поленом высадил окно и полез в хату. Через минуту в окне вдруг показалась седая бородатая голова, и Семен закричал из хаты:

— Принимай дида, хай ему...

Ребята приняли деда, а Семен выскочил в другое окно и запрыгал по зеленому мокрому двору, спасаясь от ожогов. Один из чернокожих понесся в колонию за линейкой.

Туча уже унеслась на восток, растянув по небу черный широкий хвост. Из колонии прилетел на Молодце Антон Братченко:

— Линейка сейчас будет... А граки ж где? Чего тут одни хлопцы?

Мы уложили деда на линейку и потянулись за ним в колонию. Из-за ворот и плетней на нас смотрели неподвижные лица и одними взглядами предавали нас анафеме.

Село отнеслось к нам холодно, хотя и доходили до нас слухи, что народившаяся в колонии дисциплина жителями одобряется.

По субботам и воскресеньям наш двор наполнялся верующими. В церковь обычно заходили только старики, молодежь предпочитала прогуливаться вокруг храма. Наши сторожевые сводные и этим формам общения — с нами или с богами? — положили конец. На время богослужения выделялся патруль, надевал голубые повязки и предлагал верующим такую альтернативу:

— Здесь вам не бульвар. Или проходите в церковь, или вычищайтесь со двора. Нечего здесь носиться с вашими предрассудками.

Большинство верующих предпочитало вычищаться. До поры, до времени мы не начинали наступления против религии. Напротив, намечался даже некоторый кон-

такт между идеалистическим и материалистическим мировоззрением.

Церковный совет иногда заходил ко мне для разрешения мелких погранвопросов. И однажды я не удержался и выразил некоторые свои чувства церковному совету:

— Знаете что, деды! Может быть, вы выберетесь в ту церковь, что над этим самым... чудотворным источником, а? Там теперь все очищено, вам хорошо будет...

— Гражданин начальник,— сказал староста,— как же мы можем выбраться, если то не церковь, а часовня вовсе? Там и престола нет... А разве мы вам мешаем?

— Мне двор нужен. У нас повернуться негде. И обратите внимание: у нас все покрашено, побелено, в порядке, а ваш этот собор стоит ободранный, грязный... Вы выбирайтесь, а я собор этот в два счета раскидаю, через две недели цветник на том месте будет.

Бородатые улыбаются, мой план им по душе, что ли...

— Раскидать не штука, — говорит староста. — А построить как? Хе-хе! Триста лет тому строили, трудовую копейку на это дело не одну положили, а вы теперь говорите: раскидаю. Это вы так считаете, значит: вера как будто умирает. А вот увидите, не умирает вера... народ знает...

Староста основательно уселся в апостольское кресло, и даже голос у него зазвенел, как в первые века христианства, но другой дед остановил старосту:

— Ну, зачем вы такое говорите, Иван Акимович? Гражданин заведующий свое дело наблюдает, он, как советская власть, выходит, ему храм, можно так сказать, что и без надобности. А только внизу как вы сказали,— так то часовня. Часовня, да. И к довершению, место оскверненное, прямо будем говорить...

— А вы святой водой побрызгайте,— советует Лапоть.

Старик смутился, почесал в бороде:

— Святая вода, сынок, не на каждом месте пользует.

— Ну... как же не на каждом!..

— Не на каждом, сынок. Вот если, скажем, тебя покропить, не поможет ведь, правда?

— Не поможет, пожалуй,— сомневается Лапоть.

— Ну, вот видишь, не поможет. Тут с разбором нужно.

— Попы с разбором делают?

— Священники наши? Они понимают, конечно. Понимают, сынок.

— Они-то понимают, что им нужно,— сказал Лапоть,— а вы не понимаете. Пожар вчера был... Если бы не хлопцы, сгорел бы дед. Как тепленький, сгорел бы.

— Значит, господу угодно так. Сгореть такому старому, может, уготовано было от господа бога.

— А хлопцы впутались и помешали...

Старик крякнул:

— Молодой ты, сынок, об этих делах размышлять.

— Ага?

— А только под горой часовня. Часовня, да, и престола не имеет.

Деды ушли, смиренно попрощавшись, а на другой день нацепили на стены собора веревки и петли, и на них повисли мастера с ведрами. Потому ли, что устыдились ободранных стен храма, потому ли, что хотели доказать живучесть веры, но церковный совет ассигновал на побелку собора четыреста рублей. Контакт.

Колонисты до поры, до времени к собору относились без вражды, скорее с любопытством. Пацаны обратились ко мне с просьбой:

— Ведь можно же нам посмотреть, что они там делают в церкви?

— Посмотрите.

Жорка предупредил пацанов:

— Только смотрите, не хулиганить. Мы — боремся с религией убеждением и перестройкой жизни, а не хулиганством.

— Да что мы, хулиганы, что ли? — обиделись пацаны.

— И вообще нужно, понимаете, не оскорблять никого, там... Как-нибудь так, понимаете, деликатнее... Так...

Хотя Жорка делал это распоряжение больше при помощи мимики и жестов, пацаны его поняли.

— Да знаем, все хорошо будет.

Но через неделю ко мне подошел старенький, сморщенный попик и зашептал:

— Просьба к вам, гражданин начальник. Нельзя, ко-

нечно, ничего сказать, ваши мальчики ничего такого не делают, только, знаете... все-таки соблазн для верующих, неудобно как-то... Они, правда, и стараются, боже сохрани, ничего такого не можем сказать, а все-таки распорядитесь, пусть не ходят в церковь.

— Хулиганят, значит, понемножку?

— Нет, боже сохрани, боже сохрани, не хулиганят, нет. Ну, а приходят в трусиках, в шапочках этих... как они... А некоторые крестятся, только, знаете, левой рукой крестятся и вообще не умеют. И смотрят в разные стороны, не знают, в какую сторону смотреть, повернется, знаете, то боком к алтарю, то спиной. Ему, конечно, интересно, но все-таки дом молитвы, а мальчики — они же не знают, как это молитва, и благолепие, и страх божий. В алтарь заходят, скромно, конечно, смотрят, ходят, иконы трогают, на престоле все наблюдают, а один даже стал, понимаете, в царских вратах и смотрит на молящихся. Неудобно, знаете.

Я успокоил попика, сказал, что мешать ему больше не будем, а на собрании колонистов объявил:

— Вы, ребята, в церковь не ходите, поп жалуется.

Пацаны возмутились:

— Что? Ничего такого не было. Кто заходил, не хулиганил: пройдет, там это, и домой. Это он врет, водолаз!

— А для чего вы там крестились? Зачем тебе понадобилось креститься? Что ты, в бога веришь, что ли?

— Так говорили же не оскорблять. А кто их знает, как с ними нужно? Там все какие-то психические. Стоят, стоят, а потом бах на колени и крестятся. Ну, и наши думают, чтобы не оскорблять.

— Так вот, не ходите, не надо.

— Да что ж? Мы и не пойдем... А и смешно ж там! Говорят как-то чудно. И все стоят, а чего стоят? А в этой загородке... как она, ага, алтарь, так там чисто, коврики, пахнет так, а только, ха, поп там здорово работает, руки вверх так задирает... Здорово!

— А ты и в алтаре был?

— Я так зашел, а водолаз как раз задрал руки и лопочет что-то. А я стою и не мешаю ему вовсе, а он говорит: иди, иди, мальчик, не мешай. Ну, я и ушел, что мне...

Ребята были очень заинтересованы, как Густоиван относится к церкви, и он действительно один раз отправился в церковь, но возвратился оттуда очень разочарованный. Лапоть спрашивает его:

— Скоро будешь дьяконом?

— Не-е...— говорит, улыбаясь, Густоиван.

— Почему?

— Та... это, хлопцы говорят, контра... и в церкви там ничего нет... одни картины...

В середине июня колония была приведена в полный порядок. Десятого июня электростанция дала первый ток, керосиновые лампочки отправили в кладовку. Водопровод заработал несколько позже.

В середине же июня колонисты перебрались в спальни. Кровати были сделаны почти наново в нашей кузнице, положили новые тюфяки и подушки, но на одеяла у нас не хватило, а покрыть постели разным старьем не хотелось. На одеяла нужно было истратить до десяти тысяч рублей. Совет командиров несколько раз возвращался к этому вопросу, но решение всегда получалось одинаковое, которое Лапоть формулировал так:

— Одеяла купить — свинарни не кончим. Ну их к свиньям, одеяла!

В летнее время одеяла были нужны только для парада, очень хотелось всем, до зарезу хотелось на праздник первого снопа приготовить нарядные спальни. А теперь спальни стояли белым пятном на нашем радужном бытии.

Но нам везло.

Халабуда часто приезжал в колонию, ходил по спальням, ремонтам, постройкам, гуторил с хлопцами, был очень польщен, что его жито собирались снимать с торжеством. Колонисты полюбились Халабуде, он говорил:

— Там наши бабы болтают языками: то, понимаете, не так, то неправильно, я никак не разберу, хоть бы мне кто-нибудь объяснил, какого им хрена нужно? Работают ребята, стараются, ребята хорошие, комсомольцы. Ты их там дразнишь, что ли?

Но, отзываясь горячо на все злобы дня, Халабуда холодел, как только разговор заходил об одеялах. Лапоть с разных сторон подъезжал к Сидору Карповичу.

— Да,— вздыхает Лапоть,— у всех людей есть одеяла, а у нас нет. Хорошо, что Сидор Карпович с нами. Вот увидите, он нам подарит...

Халабуда отворачивается и недовольно рокочет:

— Тоже хитрые, подлецы... «Сидор Карпович подарит...»

На другой день Лапоть прибавляет в ключе один бемоль:

— Выходит так, что и Сидор Карпович не поможет. Бедные горьковцы!

Но и бемоль не помогает, хотя мы и видим, что на душе у Сидора Карповича становится «моторошно», как говорят украинцы.

Однажды под вечер Халабуда приехал в хорошем настроении, хвалил поля, горизонты, свинарню, свиней. Порадовался в спальне отшнурованным постелям, прозрачности вымытых оконных стекол, свежести полов и пухлому уюту взбитых подушек. Постели, правда, резали глаза ослепительной наготой простынь, но я уже не хотел надоедать старику одеялами. Халабуда по собственному почину загрустил, выходя из спален, и сказал:

— Да, черт его дери... Одеяла нужно... тот, как его... достать.

Когда мы с Халабудой вышли во двор, все четыреста колонистов стояли в строю,— был час гимнастики. Петр Иванович Горович в полном соответствии со строевыми правилами колонии подал команду:

— Товарищи колонисты, смирно! Салют!

Четыреста рук вспыхнули движением и замерли над рядами повернувшихся к нам серьезных лиц. Взвод барабанщиков закатил далеко к горизонтам четыре такта частой дроби приветствия. Горович подошел с рапортом и вытянулся перед Халабудой:

— Товарищ председатель комиссии помощи детям! В строю колонистов колонии имени Горького на занятиях гимнастикой триста восемьдесят девять, отсутствуют на дежурстве три, в сторожевом сводном шесть, больных два.

Бывалый кавалерист, Петр Иванович сделал шаг в сторону и открыл глазам Сидора Карповича раздвинутый на широкие спортивные интервалы, замерший в салюте очаровательный строй горьковцев.

Сидор Карпович взволнованно дернул ус, посерьезнел раз в десять против обычного, стукнул суковатой палкой о землю и сказал громко неизменным своим басом:

— Здорово, хлопцы!

Сидору Карповичу пришлось основательно хлопнуть глазами, когда звонкий хор четырехсот молодых веселых глоток ответил:

— Дра!..

Халабуда не выдержал, улыбнулся, оглянулся и смущенно рокотнул:

— Ишь, стервецы! До чего насобачились! Это... я вот скажу им... одну вещь скажу.

— Вольно стоять!

Колонисты отставили правую ногу, забросили руки за спину, колыхнули талией и улыбнулись Сидору Карповичу.

Сидор Карпович еще раз стукнул палкой о землю, еще раз дернул за ус.

— Я, знаете, ребята, речей не люблю говорить, а сейчас скажу, что ж. Вот видите,— молодцы, прямо в глаза вам говорю: молодцы. И все это у вас идет по-нашему, по-рабочему, хорошо идет, прямо скажу: был бы у меня сын, пусть будет такой, как вы, пусть такой будет. А что там бабы разные говорят, не обращайте внимания. Я вам прямо скажу: вы свою линию держите, потому, я старый большевик и рабочий тоже старый, я вижу. У вас это все по-нашему. Если кто скажет не так, не обращайте внимания, вы себе прите вперед. Понимаете, вперед. Вот! А я в знак того прямо вам говорю: одеяла я вам дарю, укрывайтесь одеялами!

Хлопцы рассыпали кристаллы строя и бросились к нам. Лапоть выскочил вперед, присел, взмахнул руками, крикнул:

— Что? Так значит... Сидор Карпович, ура!

Мы с Горовичем еле успели отскочить в сторону. Халабуду подняли на руках, подбросили несколько раз и потащили в клуб, торчала только над толпой его суковатая палка.

У дверей клуба Халабуду опустили на землю. Встрепанный, покрасневший и взволнованный, он смущенно поправлял пиджак и уже удивленно зацепился за какой-

то карман, когда к нему подошел Таранец и скромно сказал:

— Вот ваши часы, а вот кошелек и еще ключи.

— Все выпало? — спросил удивленно Халабуда.

— Не выпало,— сказал Таранец,— а я принял, а то могло выпасть и потеряться... бывает, знаете...

Халабуда взял из рук Таранца свои ценности, и Таранец отошел в толпу.

— Народ, я тебе скажу!.. Честное слово!

И вдруг расхохотался:

— Ах, вы... Ну, что это такое, в самом деле... Где этот самый... который «принял»?

Он уехал в город растроганный.

Я был поэтому прямо уничтожен на другой день, когда тот же Сидор Карпович в собственном богатом кабинете встретил меня недоступно холодно и не столько говорил со мной, сколько рылся в ящиках стола, перелистывал блокноты и сморкался.

— Одеял у нас нет,— сказал он,— нет!

— Давайте деньги, мы купим.

— И денег нет... денег нет... И потом, сметы такой тоже нет.

— А как же вчера?

— Ну, мало ли что? Что там... разговоры. Если нет ничего, что ж...

Я представил себе среду, в которой живет Халабуда, вспомнил Чарлза Дарвина, приложил руку к козырьку и вышел.

В колонии известие об измене Сидора Карповича встретили с раздражением. Даже Галатенко возмущался:

— Дывысь, какой человек! Ну, так теперь же ему в колонию нельзя приехать. А он говорил: «на баштан буду приезжать. И сторожить буду...»

На другой день я отвез в арбитражную комиссию жалобу на председателя помдета, в которой напирал не на юридическую сторону вопроса, а на политическую: не можем допустить, чтобы большевик не держал слово.

К нашему удивлению, на третий день вызвали в арбитраж меня и Лаптя. Перед судейским красным столом стал Халабуда и начал что-то доказывать. За его спиной притаились представители окружающей среды, в оч-

ках, с гофрированными затылками, с американскими усиками, и о чем-то перешептывались между собою. Председатель, в черной косоворотке, лобатый и кареглазый, положил растопыренную пятерню на какую-то бумажку и перебил Халабуду:

— Подожди, Сидор. Скажи прямо: обещал одеяла?

Халабуда покраснел и развел руками:

— Ну... разговор был такой... Мало ли что!

— Перед строем колонистов?

— Это верно... в строю были мальчишки...

— Качали?

— Да мальчишки!.. Качали... что ты им сделаешь?

— Плати.

— Как?

— Плати, говорю. Одеяла нужно дать, так и постановили.

Судьи улыбнулись. Халабуда повернулся к окружающей среде и что-то забубнил угрожающе.

Мы подождали несколько дней, и Задоров поехал к Халабуде получать одеяла или деньги. Сидор Карпович не пустил Задорова к себе, а его управляющий разъяснил:

— Не понимаю, как могло прийти в голову вам судиться с нами? Что это за порядок? Ну, вот, пожалуйста, у меня лежит постановление арбитражной комиссии. Видите, лежит?

— Ну?

— Ну и все! И, пожалуйста, сюда не ходите. Может быть, мы еще решим обжаловать. В крайнем случае мы внесем в смету будущего года. Вы думаете, как: поехали на базар и купили четыреста одеял? Это вам серьезное учреждение...

Задоров возвратился из города очень расстроенный. В совете командиров кипели и бурлили целый вечер и решили обратиться с письмом к Григорию Ивановичу Петровскому. Но на другой день нашелся выход, такой простой и естественный, такой даже веселый, что вся колония от неожиданности хохотала и прыгала, и мечтала о той счастливой минуте, когда в колонию приедет Халабуда и колонисты будут с ним разговаривать. Выход состоял в том, что судебный исполнитель наложил арест на текущий счет помдета. Прошло еще два дня: меня вызва-

ли в тот самый высокий кабинет, и тот же бритый товарищ, который в свое время интересовался, почему мне не нравятся сорокарублевые воспитатели, сидел в широком кресле и наливался веселой кровью, наблюдая за шагающим по кабинету Халабудой, тоже налитым кровью, но уже другого сорта.

Я молча остановился у дверей, и бритый поманил меня пальцем, с трудом удерживая смех:

— Иди сюда... Как же это? Как же это ты, брат, осмелился, а? Это не годится, надо снять арест, а то... вот он ходит тут, а его в собственный карман не пускают. Он пришел на тебя жаловаться. Говорит: не хочу работать, меня обижает заведующий горьковский.

Я молчал, потому что не понимал, какая спираль закручивается бритым.

— Арест надо снять,— сказал серьезно хозяин.— Что это еще за новости, аресты какие-то!

Он вдруг снова не удержался и закатился в своем кресле. Халабуда заложил руки в карманы и смотрел на площадь.

— Прикажете снять арест? — спросил я.

— Да ведь вот в чем дело: приказывать не имею права. Слышишь, Сидор Карпович, не имею права! Я ему скажу: сними арест, а он скажет: не хочу! У тебя, я вижу, в кармане чековая книжка. Выпиши чек, на сколько там: на десять тысяч? Ну вот...

Халабуда отвалился от окна, вытащил руку из кармана, тронул рыжий ус и улыбнулся:

— Ну, и народ же сволочной, что ты скажешь?

Он подошел ко мне, хлопнул меня по плечу:

— Молодец, так с нами и нужно! Ведь мы кто? Бюрократы! Так и нужно!

Бритый снова взорвался смехом и даже платок вытащил. Халабуда, улыбаясь, достал книжку и написал чек.

Первый сноп праздновался пятого июля.

Это был наш старый праздник, для которого давно был выработан порядок и который давно сделался важнейшей вехой в нашем годовом календаре. Но сейчас в нем преобладала идея сдачи колонии после военной операции. Эта идея захватила самого последнего колониста, и поэтому подготовка к празднику проходила «без сигналов», в глубоком захвате страсти и крепкого решения:

все должно быть прекрасно. Недоделанных мест почти что и не было: на кроватях теперь лежали красные новые одеяла, пруд блестел чистым зеркалом, на склоне горы протянулись семь новых террас для будущего сада. Было сделано все. Силантий резал кабанов, сводный отряд Буцая развешивал гирлянды и лозунги. Над воротами на белом фоне свода Костя Ветковский старательно расположил:

И ВОДРУЗИМ НАД ЗЕМЛЕЮ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ТРУДА!

а на внутренней стороне ворот коротко:

ЕСТЬ!

Второго числа разряженный тринадцатый сводный под командой Жевелия развез по городу приглашения.

В день праздника с утра намеченный к жатве полугектар ржи обнесен рядами красных флагов, дорога к этому месту украшена также флагами и гирляндами. У въездных ворот маленький столик гостевой комиссии. Над обрывом у пруда поставлены столы на шестьсот мест, и праздничный заботливый ветерок шевелит углы белых скатертей, лепестки букетов и халаты столовой комиссии.

За воротами, внизу на дороге, дежурят верхом на Молодце и Мэри одетые в красные трусики и рубашки, в белых кавказских шляпах Синенький и Зайченко. За плечами у них развеваются белые полуплащи с красной звездой, отороченные настоящим кроличьим мехом. Ваня Зайченко в неделю изучил все наши девятнадцать сигналов, и командир бригады сигналистов Горьковский признал его заслуживающим чести быть дежурным трубачом на празднике. Трубы повешены у них через плечо на атласной ленте.

В десять часов показались первые гости — пешеходы с Рыжовской станции. Это представители харьковских комсомольских организаций. Всадники подняли трубы, развесив по плечам атласные ленты, крепче уперлись в стремена и три раза протрубили привет.

Начался праздник. В воротах гостей встречает гостевая комиссия в голубых повязках, каждому прикалы-

вает на груди три колоска ржи, перевязанных красной ленточкой, и передает особый билетик, на котором написано, к примеру:

> *11-й отряд колонистов*
> *приглашает вас обедать*
> *за его столом.*
> *К-р отряда Д. Ж е в е л и й.*

Гостей ведут осматривать колонию, а снизу уже раздаются новые звуки привета наших великолепных всадников.

Двор и помещения колонии наполняются гостями. Приходят представители харьковских заводов, сотрудники окрисполкома и наробраза, сельсоветы соседних сел, корреспонденты газет, на машинах подъезжают к воротам Джуринская, Юрьев, Клямер, Брегель и товарищ Зоя, члены партийных организаций, приезжает и бритый товарищ. Приезжает на своем «форде» и Халабуда. Халабуду встречает специально для этого собравшийся совет командиров, вытаскивает из машины и сразу же бросает в воздух. С другой стороны машины стоит и хохочет бритый. Когда Халабуду поставили на землю, бритый спрашивает:

— Что они из тебя сейчас выкачали?

Халабуда обозлился:

— А ты думаешь, не выкачали? Они всегда выкачают.

— Да ну? А что?

— Трактор выкачали! Дарю трактор — фордзон... Ну, черт с вами, качайте, только теперь уже все.

Пришлось Халабуде еще полетать по воздуху, и его немедленно куда-то утащили хлопцы.

Во дворе колонии становится людно, как на главной улице города. Колонисты, украшенные бутоньерками, широкими нарядными рядами ходят по дорожкам с приезжими, улыбаются им алыми губами, освещают их лица то смущенным, то открытым сиянием глаз, на что-то указывают, куда-то увлекают.

В двенадцать часов во двор въехали Синенький и Зайченко, наклонившись с седел, пошептались с дежур-

ным командиром Наташей Петренко, и Синенький, разгоняя смеющихся гостей и колонистов, галопом ускакал на хозяйственный двор. Через минуту оттуда раздались поднебесные звуки общего сбора, который всегда играется на октаву выше всякого другого сигнала. Ваня Зайченко подхватил. Колонисты, бросив гостей, сбегались к главной площадке, и не успел улететь к Рыжову последний трубный речитатив, они уже вытянулись в одну линию, и на левый фланг, высоко подбрасывая пятки и умиляя гостей, пронесся с зеленым флажком Митя Нисинов. Я начинаю каждым нервом ощущать свое торжество. Этот радостный мальчишеский строй, сине-белой лентой вдруг выросший рядом с линией цветников, уже ударил по глазам, по вкусам и по привычкам собравшихся людей, уже потребовал к себе уважения. Лица гостей, до этого момента доброжелательно-покровительственные, какие бывают обыкновенно у взрослых, великодушно относящихся к ребятам, вытянулись вдруг и заострились вниманием. Юрьев, стоящий сзади меня, сказал громко:

— Здорово, Антон Семенович! Так их!..

Колонисты озабоченно заканчивали равнение, то и дело поглядывая на меня. Я уверен, что везде все готово, и не задерживаю следующей команды:

— Под знамя, смирно!

Из-за стены собора, строго подчиняя свое движение темпам салюта, вышла Наташа и повела к правому флангу знаменную бригаду.

Я обратился к колонистам с двумя словами, поздравил с праздником, поздравил с победой.

— А теперь отдадим честь лучшим нашим товарищам, восьмому сводному первого снопа отряду Буруна.

Снова заиграли трубы привет. Из далеких, широко открытых ворот хозяйственного двора вышел восьмой сводный. О дорогие гости, я понимаю ваше волнение, я понимаю ваши неотрывные, пораженные взгляды, потому что уже не в первый раз в жизни я сам поражен и восхищен высокой торжественной прелестью восьмого сводного отряда! Пожалуй, я имею возможность больше вашего видеть и чувствовать.

Впереди отряда Бурун, маститый, заслуженный Бурун, не впервые водящий вперед рабочие отряды коло-

нии. У него на богатырских плечах высоко поднята сияющая отточенная коса с грабельками, украшенная крупными ромашками. Бурун величественно красив сегодня, особенно красив для меня, потому что я знаю: это не только декоративная фигура впереди живой картины, это не только колонист, на которого стоит посмотреть, это прежде всего действительный командир, который знает, кого ведет за собой и куда ведет. В сурово-спокойном лице Буруна я вижу мысль о задаче: он должен сегодня в течение тридцати минут убрать и заскирдовать полгектара ржи. Гости не видят этого. Гости не видят и другого: этот сегодняшний командир косарей — студент медицинского института, в этом сочетании особо убедительно струятся линии нашего советского стиля. Да мало ли чего не видят гости и даже не могут видеть, потому хотя бы, что не только же на Буруна смотреть. За Буруном идут по четыре в ряд шестнадцать косарей в таких же белых рубахах, с такими же расцветшими косами. Шестнадцать косарей! Так легко их пересчитать! Но из этих шестнадцати сколько славных имен: Карабанов, Задоров, Белухин, Шнайдер, Георгиевский! Только последний ряд составлен из молодых горьковцев: Воскобойников, Сватко, Перец и Коротков.

За косарями шестнадцать девушек. На голове у каждой венок из цветов, и в душе у каждой венок из прекрасных наших советских дней. Это вязальщицы.

Восьмой сводный отряд подходит уже к нам, когда из ворот на рысях выносятся две жатки, запряженные каждая двумя парами лошадей. И у каждой в гриве и на упряжи цветы, цветами убраны и крылья жаток. На правых конях ездовые в седлах, на сиденье первой машины сам Антон Братченко, на второй — Горьковский. За жатками конные грабли, за граблями бочка с водой, а на бочке Галатенко, самый ленивый человек в колонии, но совет командиров, не моргнув глазом, премировал Галатенко участием в восьмом сводном отряде. Сейчас можно видеть, с каким старанием, как не лениво украсил цветами свою бочку Галатенко. Это не бочка, а благоухающая клумба, даже на спицах колес цветы. И, наконец, за Галатенко линейка под красным крестом, на линейке Елена Михайловна и Смена,—все может быть на работе.

Восьмой сводный остановился против нашего строя. Из строя выходит Лапоть и говорит:

— Восьмой сводный! За то, что вы хорошие комсомольцы, колонисты и хорошие товарищи, колония наградила вас большой наградой: вы будете косить наш первый сноп. Сделайте это как полагается и покажите еще раз всем пацанам, как нужно работать и как нужно жить. Совет командиров поздравляет вас и просит вашего командира товарища Буруна принять командование над всеми нами.

Эта речь, как и все последующие речи, неизвестно кем сочинена. Они произносятся из года в год в одних и тех же словах, записанных в совете командиров. И именно поэтому они выслушиваются с особенным волнением, и с особым волнением все колонисты затихают, когда подходит ко мне Бурун, пожимает руку и говорит тоже традиционно необходимое:

— Товарищ заведующий, разрешите вести восьмой сводный отряд на работу и дайте нам на помощь этих хлопцев.

Я должен отвечать так, как я и отвечаю:

— Товарищ Бурун, веди восьмой сводный на работу, а хлопцев этих бери на помощь.

С этого момента командиром колонии становится Бурун. Он дает ряд команд к перестроению, и через минуту колония уже в марше. За барабанщиками и знаменем идут косари и жатки, за ними вся колония, а потом гости. Гости подчиняются общей дисциплине, строятся в ряды и держат ногу. Халабуда идет рядом со мной и говорит бритому:

— Черт!.. С этими одеялами!.. А то и я был бы в строю... вот, с косой!

Я киваю Силантию, и Силантий летит на хозяйственный двор. Когда мы подходим к намеченному полугектару, Бурун останавливает колонну и, нарушая традиции, спрашивает колонистов:

— Поступило предложение назначить в восьмой сводный отряд в бригаде Задорова пятым косарем Сидора Карповича Халабуду. Чи есть возражения?

Колонисты смеются и аплодируют. Бурун берет из рук Силантия украшенную косу и передает ее Халабуде.

Сидор Карпович быстро, по-юношески, снимает с себя пиджак, бросает его на межу, потрясает косой:

— Спасибо!

Халабуда становится в ряд косарей пятым у Задорова. Задоров грозит ему пальцем:

— Смотрите же, не воткните в землю! Позор нашей бригаде будет.

— Отстань,— говорит Халабуда,— я еще вас научу...

Строй колонистов выравнивается на одной стороне поля. В рожь выносится знамя,— здесь будет связан первый сноп. К знамени подходят Бурун, Наташа, и наготове держится Зорень, как самый младший член колонии.

— Смирно!

Бурун начинает косить. В несколько взмахов косы он укладывает к ногам Наташи порцию высокой ржи. У Наташи из первого накоса готово перевясло. Сноп она связывает двумя-тремя ловкими движениями, двое девчат надевают на сноп цветочную гирлянду, и Наташа, розовая от работы и удачи, передает сноп Буруну. Бурун подымает сноп на плечо и говорит курносому серьезному Зореню, высоко задравшему носик, чтобы слышать, что говорит Бурун:

— Возьми этот сноп из моих рук, работай и учись, чтобы, когда вырастешь, был комсомольцем, чтобы и ты добился той чести, которой добился я,— косить первый сноп.

Ударил жребий Зореня. Звонко-звонко, как жаворонок над нивой, отвечает Зорень Буруну:

— Спасибо тебе, Грицько! Я буду учиться и буду работать. А когда выросту и стану комсомольцем, добуду и себе такую честь — косить первый сноп и передать его младшему пацану.

Зорень берет сноп и весь утопает в нем. Но уже подбежали к Зореню пацаны с носилками, и на цветочное ложе их укладывает Зорень свой богатый подарок. Под гром салюта знамя и первый сноп переносятся на правый фланг.

Бурун подает команду:

— Косари и вязальщицы — по местам!

Колонисты разбегаются по намеченным точкам и занимают все четыре стороны поля. Поднявшись на стре-

менах, Синенький трубит сигнал на работу. По этому знаку все семнадцать косарей пошли кругом поля, откашивая широкую дорогу для жатвенных машин.

Я смотрю на часы. Проходит пять минут, и косари подняли косы вверх. Вязальщицы довязывают последние снопы и относят их в сторону.

Наступает самый ответственный момент работы. Антон и Витька и откормленные, отдохнувшие кони готовы.

— Рысью... ма-а-арш!

Жатки с места выносятся на прокошенные дорожки. Еще две-три секунды, и они застрекотали по житу, идя уступом одна за другой. Бурун с тревогой прислушивается к их работе. За последние дни много они передумали с Антоном и Шере, много повозились над жатками, два раза выезжали в поле. Будет большим скандалом, если кони откажутся от рыси, если нужно будет на них кричать, если жатка заест и остановится.

Но лицо Буруна постепенно светлеет. Жатки идут с ровным механическим звуком, лошади свободно набирают рысь, даже на поворотах не задерживаются. Хлопцы неподвижно сидят в седлах. Один, два круга. В начале третьего жатки так же красиво проносятся мимо нас, и серьезный Антон бросает Буруну:

— Все благополучно, товарищ командир!

Бурун повернулся к строю колонистов и поднял косу:

— Готовься! Смирно!

Колонисты опустили руки, но внутри у них все рвется вперед, мускулы уже не могут удержать задора.

— На поле... бегом!

Бурун опустил косу. Три с половиной сотни ребят ринулись в поле. На рядах скошенной ржи замелькали их руки и ноги. С хохотом опрокидываясь друг через друга, как мячики, отскакивая в сторону, они связали скошенный хлеб и погнались за жатками, по трое, по четверо наваливаясь животами на каждую порцию колосьев:

— Чур пятнадцатого отряда!..

Гости хохочут, вытирая слезы, и Халабуда, уже вернувшийся к нам, строго смотрит на Брегель:

— А ты говоришь... Ты посмотри!..

Брегель улыбнулась:

— Ну, что же... я смотрю: работают прекрасно и весело. Но ведь это только работа...

Халабуда произнес какой-то звук, что-то среднее между «б» и «д», но дальше ничего не сказал Брегель, а посмотрел на бритого свирепо и заворчал:

— Поговори с нею...

Возбужденный, счастливый Юрьев жал мне руку и уговаривал Джуринскую:

— Нет, серьезно... вы подумайте!.. Меня это трогает, и я не знаю, почему. Сегодня это, конечно, праздник, конечно, это не рабочий день... Но знаете, это... это мистерия труда. Вы понимаете?

Бритый внимательно смотрит на Юрьева:

— Мистерия труда? Зачем это? По-моему, тут что хорошо: они счастливы, они организованы, и они умеют работать. На первое время, честное слово, довольно. Как вы думаете, товарищ Брегель?

Брегель не успела подумать, потому что перед нами осадил Молодца Синенький и пропищал:

— Бурун прислал... Копны кладем! Собираться всем к копнам.

У копен под знаменем мы пели «Интернационал». Потом говорили речи, и удачные и неудачные, но все одинаково искренние, и говорили их люди, чуткие, хорошие люди, граждане страны трудящихся, растроганные и праздником, и пацанами, и близким небом, и стрекотанием кузнечиков в поле.

Возвратившись с поля, обедали вперемежку, забыв, кто кого старше и кто кого важнее. Даже товарищ Зоя сегодня шутила и смеялась.

Праздник продолжался долго. Еще играли в лапту, и в «довгои лозы», и в «масло». Халабуде завязали глаза, дали в руки жгут и заставили безуспешно ловить юркого пацана с колокольчиком. Еще водили гостей купаться в пруде, еще пацаны представляли феерию на главной площадке. Феерия начиналась хоровой декламацией:

Что у нас будет через пять лет?
Тогда у нас будет городской совет,
Новый цех во дворе,
Новый сад по всей нашей горе,
И мы очень бы хотели,
Чтоб у нас были электрические качели.

А заканчивалась феерия пожеланием:

И колонист будет, как пружина,
А не как резиновая шина.

После фейерверка на берегу пруда пошли провожать гостей на Рыжов. На машинах уехали раньше, и, прощаясь со мной, бритый — «хозяин» — сказал:

— Ну, что ж? Так держать, товарищ Макаренко!

— Есть так держать,— ответил я.

12. ЖИЗНЬ ПОКАТИЛАСЬ ДАЛЬШЕ

И снова пошли один за другим строгие и радостные рабочие дни, полные забот, маленьких удач и маленьких провалов, за которыми мы не видим часто крупных ступеней и больших находок, надолго вперед определяющих нашу жизнь. И, как и раньше, в эти рабочие дни, а больше поздними затихшими вечерами складывались думы, подытоживались быстрые дневные мысли, прощупывались неуловимо-нежные контуры будущего.

Но приходило будущее, и обнаруживалось, что вовсе оно не такое нежное и можно было бы обращаться с ним бесцеремоннее. Мы недолго скорбели об утраченных возможностях, кое-чему учились и снова жили уже с более обогащенным опытом, чтобы совершать новые ошибки и жить дальше.

Как и раньше, на нас смотрели строгие глаза, ругали нас и доказывали, что ошибок мы не должны совершать, что мы должны жить правильно, что мы не знаем теории, что мы должны... вообще, мы были кругом должны.

В колонии скоро завелось настоящее производство. Разными правдами и неправдами мы организовали деревообделочную мастерскую с хорошими станками: строгальным, фуговальным, пилами, сами изобрели и сделали шипорезный станок. Мы заключали договоры, получали авансы и дошли до такого нахальства, что открыли в банке текущий счет.

Делали мы дадановские ульи. Эта штука оказалась довольно сложной, требующей большой точности, но мы насобачились на этом деле и стали ульи выпускать сотнями. Делали мебель, зарядные ящики и еще кое-что. Открыли мы и металлообрабатывающую мастерскую, но

в этой отрасли не успели добиться успехов, нас настигла катастрофа.

Так проходили месяцы. Отбиваясь направо и налево, приспособляясь, прикидываясь, иногда рыча и показывая зубы, иногда угрожая настоящим ядовитым жалом, а часто даже хватая за штаны чью-нибудь подвернувшуюся ногу, мы продолжали жить и богатеть.

Богатели мы и друзьями. Кроме Джуринской и Юрьева, в самом Наркомпросе нашлось много людей, обладающих реальным умом, естественным чувством справедливости, положительным хотением задуматься над деталями нашего трудного дела. Но еще больше было друзей в широком обществе, в партийных и окружных органах, в печати, в рабочей среде. Только благодаря им для нашей работы хватало кислорода.

Пошла вглубь культурная работа. Школа доходила до шестого класса. Появился в колонии и Василий Николаевич Перский, человек замечательный. Это был Дон-Кихот, облагороженный веками техники, литературы и искусства. У него и рост и худоба были сделаны по Сервантесу, и это очень помогало Перскому «завинтить» и наладить клубную работу. Он был большой выдумщик и фантазер, и я не ручаюсь, что в его представлении мир не населен злыми и добрыми духами. Но я всем рекомендую приглашать для клубной работы только Дон-Кихотов. Они умеют в каждой щепке увидеть будущее, они умеют из картона и красок создавать феерии, с ними хлопцы научаются выпускать стенгазеты длиною в сорок метров, в бумажной модели аэроплана различать бомбовоза и разведчика и до последней капли крови отстаивать преимущества металла перед деревом. Такие Дон-Кихоты сообщают клубной работе необходимую для нее страсть, горение талантов и рождение творцов. Я не стану здесь описывать всех подвигов Перского, скажу коротко, что он переродил наши вечера, наполнил их стружкой, точкой, клеем, спиртовыми лампами и визгом пилы, шумом пропеллеров, хоровой декламацией и пантомимой.

Много денег стали мы тратить на книги. На алтарном возвышении уж не хватало места для шкафов, а в читальном зале — для читающих.

И было еще кое-что.

Первое — оркестр! На Украине, а может быть, и в Союзе наша колония первой завела эту хорошую вещь. Товарищ Зоя потеряла последние сомнения в том, что я — бывший полковник, но зато совет командиров был доволен. Правда, заводить оркестр в колонии — очень большая нагрузка для нервов, потому что в течение четырех месяцев вы не можете найти ни одного угла, где бы не сидели на стульях, столах, подоконниках баритоны, басы, тенора и не выматывали вашу душу и души всех окружающих непередаваемо отвратительными звуками. Но Первого мая мы вошли в город с собственной музыкой. Сколько в этот день было ярких переживаний, слез умиления и удивленных восторгов у харьковских интеллигентов, старушек, газетных работников и уличных мальчишек!

Вторым достижением было кино. Оно позволило нам по-настоящему вцепиться в работу капища, стоявшего посреди нашего двора. Как ни плакал церковный совет, сколько ни угрожал, мы начинали сеансы точно по колокольному перезвону к вечерне. Никогда этот старый сигнал не собирал столько верующих, сколько теперь. И так быстро. Только что звонарь слез с колокольни, батюшка только что вошел в ворота, а у дверей нашего клуба уже стоит очередь в две-три сотни человек. Пока батюшка нацепит ризы, в аппаратной киномеханик нацепит ленту, батюшка заводит «Благословенно царство...», киномеханик заводит свое. Полный контакт!

Этот контакт для Веры Березовской кончился скорбно. Вера — одна из тех моих воспитанниц, себестоимость которых в моем производстве очень велика, сметным начертаниям она никогда даже не снилась.

В первое время после «болезни почек» Вера притихла и заработалась. Но чуть-чуть порозовели у нее щеки, чуть-чуть на какой-нибудь миллиметр прибавилось подкожного жирка, Вера заиграла всеми красками, плечами, глазами, походкой, голосом. Я часто ловил ее в темноватых углах рядом с какой-нибудь неясной фигурой. Я видел, каким убегающим и неверным сделался серебряный блеск ее глаз, каким отвратительно-неискренним тоном она оправдывалась:

— Ну, что вы, Антон Семенович! Уж и поговорить нельзя.

В деле перевоспитания нет ничего труднее девочек, побывавших в руках. Как бы долго ни болтался на улице мальчик, в каких бы сложных и незаконных приключениях он ни участвовал, как бы ни топорщился он против нашего педагогического вмешательства, но если у него есть — пусть самый небольшой — интеллект, в хорошем коллективе из него всегда выйдет человек. Это потому, что мальчик этот, в сущности, только отстал, его расстояние от нормы можно всегда измерить и заполнить. Девочка, рано, почти в детстве начавшая жить половой жизнью, не только отстала,— и физически и духовно, она несет на себе глубокую травму, очень сложную и болезненную. Со всех сторон на нее направлены «понимающие» глаза, то трусливо-похабные, то нахальные, то сочувствующие, то слезливые. Всем этим взглядам одна цена, всем одно название: преступление. Они не позволяют девочке забыть о своем горе, они поддерживают вечное самовнушение в собственной неполноценности. И в одно время с усекновением личности у этих девочек уживается примитивная глупая гордость. Другие девушки — зелень против нее, девчонки, в то время когда она уже женщина, уже испытавшая то, что для других тайна, уже имеющая над мужчинами особую власть, знакомую ей и доступную. В этих сложнейших переплетах боли и чванства, бедности и богатства, ночных слез и дневных заигрываний нужен дьявольский характер, чтобы наметить линию и идти по ней, создать новый опыт, новые привычки, новые формы осторожности и такта.

Такой трудной для меня оказалась Вера Березовская. Она много огорчала меня после нашего переезда, и я подозревал, что в это время она прибавила много петель и узлов на нитке своей жизни. Говорить с Верой нужно было с особой деликатностью. Она легко обижалась, капризничала, старалась скорее от меня убежать куда-нибудь на сено, чтобы там наплакаться вдоволь. Это не мешало ей попадаться все в новых и новых парах, разрушать которые только потому было нетрудно, что мужские их компоненты больше всего на свете боялись стать на середине в совете командиров и отвечать на приглашение Лаптя:

— Стать смирно и давай объяснения, как и что!

Вера, наконец, сообразила, что колонисты неподходящий народ для романов, и перенесла свои любовные приключения на менее уязвимую почву. Возле нее завертелся молоденький телеграфист из Рыжова, существо прыщеватое и угрюмое, глубоко убежденное, что высшее выражение цивилизации на земном шаре — его желтые канты. Вера начала ходить на свидания с ним в рощу. Хлопцы встречали их там, протестовали, но нам уже надоело гоняться за Верой. Единственное, что можно было сделать, сделал Лапоть. Он захватил в уединенном месте телеграфиста Сильвестрова и сказал ему:

— Ты Верку с толку сбиваешь. Смотри: женим!

Телеграфист отвернул в сторону прыщавую подушку лица:

— Чего там «женим»!

— Смотри, Сильвестров, не женишься, вязы свернем на сторону, ты ведь нас знаешь... Ты от нас и в своей аппаратной не спрячешься, и в другом городе найдем.

Вера махнула рукой на все этикеты и улетала на свидание в первую свободную минуту. При встрече со мной она краснела, поправляла что-то в прическе и убегала в сторону.

Наконец пришел час и для Веры. Поздно вечером она пришла в мой кабинет, развязно повалилась на стул, положила ногу на ногу, залилась краской и опустила веки, но сказала громко, высоко держа голову, сказала неприязненно:

— У меня есть к вам дело.

— Пожалуйста,— ответил я ей так же официально.

— Мне необходимо сделать аборт.

— Да?

— Да. И прошу вас: напишите записку в больницу.

Я молчал, глядя на нее. Она опустила голову.

— Ну... и все.

Я еще чуточку помолчал. Вера пробовала посматривать на меня из-за опущенных век, и по этим взглядам я понял, что она сейчас бесстыдна: и взгляды эти, и краска на щеках, и манера говорить.

— Будешь рожать,— сказал я сухо.

Вера посмотрела на меня кокетливо-косо и завертела головой:

— Нет, не буду.

Я не ответил ей ничего, запер ящики стола, надел фуражку. Она встала, смотрела на меня по-прежнему боком, неудобно.

— Идем! Спать пора,— сказал я.

— Так мне нужно... записку. Я не могу ожидать! Вы же должны понимать!

Мы вышли в темную комнату совета командиров и остановились.

— Я тебе сказал серьезно и своего решения не изменю. Никаких абортов! У тебя будет ребенок!

— Ах! — крикнула Вера, убежала, хлопнула дверью.

Дня через три она встретила меня за воротами, когда поздно вечером я возвращался из села, и пошла рядом со мной, начиная мирным, искусственно-кошачьим ходом:

— Антон Семенович, вы все шутите, а мне вовсе не до шуток.

— Что тебе нужно?

— У, не понимают будто!.. Записка нужна, чего вы представляетесь?

Я взял ее под руку и повел на полевую дорогу:

— Давай поговорим.

— О чем там говорить!.. Вот еще, господи! Дайте записку, и все!

— Слушай, Вера,— сказал я,— я не представляюсь и не шучу. Жизнь — дело серьезное, играть в жизни не нужно и опасно. В твоей жизни случилось серьезное дело: ты полюбила человека... Вот выходи замуж.

— На чертей он мне сдался, ваш человек? Замуж я буду выходить, такое придумали!.. И еще скажете: детей нянчить! Дайте мне записку!.. И никого я не полюбила!

— Никого не полюбила? Значит, ты развратничала?

— Ну, и пускай развратничала! Вы, конечно, все можете говорить!

— Я вот и говорю: я тебе развратничать не позволю! Ты сошлась с мужчиной, теперь ты будешь матерью!

— Дайте записку, я вам говорю! — крикнула Вера уже со слезами.— И чего вы издеваетесь надо мною?

— Записки я не дам. А если ты будешь просить об этом, я поставлю вопрос в совете командиров.

— Ой, господи! — вскрикнула она и, опустившись на межу, принялась плакать, жалобно вздрагивая плечами и захлебываясь.

Я стоял над ней и молчал. С баштана к нам подошел Галатенко, долго рассматривал Веру на меже и произнес не спеша:

— Я думал, что это тут скиглит? А это Верка плачет... А то все смеялась... А теперь плачет...

Вера затихла, встала с межи, аккуратно отряхнула платье, так же деловито последний раз всхлипнула и пошла к колонии, размахивая рукой и рассматривая звезды.

Галатенко сказал:

— Пойдемте, Антон Семенович, в курень. От кавуном угощу! Царь-кавун называется! Там и хлопцы сидят.

Прошло два месяца. Наша жизнь катилась, как хорошо налаженный поезд: кое-где полным ходом, на худых мостах потихоньку, под горку — на тормозах, на подъемах — отдуваясь и фыркая. И вместе с нашей жизнью катилась по инерции жизнь Веры Березовской, но она ехала зайцем на нашем поезде.

Что она беременна, не могло укрыться от колонистов, да, вероятно, и сама Вера с подругами поделилась секретом, а какие бывают секреты у ихнего брата, всем известно. Я имел случай отдать должное благородству колонистов, в котором, впрочем, и раньше был уверен. Веру не дразнили и не травили. Беременность и рождение ребенка в глазах ребят не были ни позором, ни несчастьем. Ни одного обидного слова не сказал Вере ни один колонист, не бросил ни одного презрительного взгляда. Но о Сильвестрове — телеграфисте — шел разговор особый. В спальнях и в «салонах», в сводном отряде, в клубах, на току, в цеху, видимо, основательно проветрили все детали вопроса, потому что Лапоть предложил мне эту тему, как совсем готовую:

— Сегодня в совете поговорим с Сильвестровым. Не возражаете?

— Я не возражаю, но, может быть, Сильвестров возражает?

— Его приведут. Пускай не прикидывается комсомольцем!

Сильвестрова вечером привели Жорка и Волохов, и, при всей трагичности вопроса, я не мог удержаться от улыбки, когда поставили его на середину и Лапоть завинтил последнюю гайку:

— Стань смирно!

Сильвестров до холодного пота боялся совета командиров. Он не только вышел на середину, не только стал смирно, он готов был совершать какие угодно подвиги, разгадывать какие угодно загадки, только бы вырваться целым и невредимым из этого ужасного учреждения. Неожиданно все повернулось таким боком, что загадки пришлось разгадывать самому совету, ибо Сильвестров мямлил на середине:

— Товарищи колонисты, разве я какой оскорбитель... или хулиган?.. Вы говорите — жениться. Я готов с удовольствием, так что ж я сделаю, если она не хочет?

— Как не хочет? — подскочил Лапоть.— Кто тебе сказал?

— Да она ж сама и сказала... Вера.

— А ну, давайте ее в совет! Зорень!

— Есть.

Зорень с треском вылетел в дверь и через две минуты снова ворвался в кабинет и закивал носиком на Лаптя, правым ухом показывая на какие-то дальние области, где сейчас находилась Вера:

— Не хочет!.. Понимаешь, я говорю... а она говорит: иди ты!

Лапоть обвел взглядом совет и остановился на Федоренко. Федоренко солидно поднялся с места, дружески небрежно подбросил руку, сочно и негромко сказал «есть» и двинулся к дверям. Под его рукой прошмыгнул в двери Зорень и с паническим грохотом скатился с лестницы. Сильвестров бледнел и замирал на середине, наблюдая, как на его глазах колонисты сдирали кожу с поверженного ангела любви.

Я поспешил за Федоренко и остановил его во дворе:

— Иди в совет, я пойду к Вере.

Федоренко молча уступил мне дорогу.

Вера сидела на кровати и терпеливо ожидала пыток и казней, перебирая в руках белые большие пуговицы. Зорень делал перед ней настоящую охотничью стойку и вякал дискантом:

— Иди! Верка, иди!.. А то Федоренко... Иди!.. Лучше иди! — Он зашептал: — Иди! А то Федоренко... на руках понесет.

Зорень увидел меня и исчез, только на том месте, где он стоял, подскочил синенький вихрик воздуха.

Я присел на кровать Веры, кивнул двум-трем девочкам, чтобы вышли.

— Ты не хочешь выходить замуж за Сильвестрова?

— Не хочу.

— И не надо. Это правильно.

Продолжая перебирать пуговицы, Вера сказала не мне, а пуговицам:

— Все хотят меня замуж выдать! А если я не хочу!.. И сделайте мне аборт!

— Нет!

— А я говорю: сделайте! Я знаю: если я хочу, не имеете права.

— Уже поздно!

— Ну и пусть поздно!

— Поздно. Ни один врач не может это сделать.

— Может! Я знаю! Это только называется кесарево сечение.

— Ты знаешь, что это такое?

— Знаю. Разрежут, и все.

— Это очень опасно. Могут зарезать.

— И пусть! Пусть лучше зарежут, чем с ребенком! Не хочу!

Я положил руку на ее пуговицы. Она перевела взгляд на подушку.

— Видишь, Вера. Для врачей тоже есть закон. Кесарево сечение можно делать только тогда, если мать не может родить.

— Я тоже не могу!

— Нет, ты можешь. И у тебя будет ребенок!

Она сбросила мою руку, поднялась с постели, с силой швырнула пуговицы на кровать:

— Не могу! И не буду рожать! Так и знайте! Все равно — повешусь или утоплюсь, а рожать не буду!

Она повалилась на кровать и заплакала.

В спальню влетел Зорень.

— Антон Семенович, Лапоть говорит, чи ожидать Веру или как? И Сильвестрова как?

— Скажи, что Вера не выйдет за него замуж.

— А Сильвестрова?

— А Сильвестрова гоните в шею!

Зорень молниеносно трепыхнул невидимым хвостиком и со свистом пролетел в двери.

Что мне было делать? Сколько десятков веков живут люди на земле, и вечно у них беспорядок в любви! Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, Онегин и Татьяна, Вера и Сильвестров. Когда это кончится? Когда, наконец, на сердцах влюбленных будут поставлены манометры, амперметры, вольтметры и автоматические быстродействующие огнетушители? Когда уже не нужно будет стоять над ними и думать: повесится или не повесится?

Я обозлился и вышел. Совет уже выпроводил жениха. Я попросил остаться девочек-командиров, чтобы поговорить с ними о Вере. Полная краснощекая Оля Ланова выслушала меня приветливо-серьезно и сказала:

— Это правильно. Если бы сделали ей это самое, совсем пропала бы.

Наташа Петренко, следившая за Олей спокойными умными глазами, молчала.

— Наташа, какое твое мнение?

— Антон Семенович,— сказала Наташа,— если человек захочет повеситься, ничего не сделаешь. И уследить нельзя. Девочки говорят: будем следить. Конечно, будем, но только не уследим.

Мы разошлись. Девчата пошли спать, а я — думать и ожидать стука в окно.

В этом полезном занятии я провел несколько ночей. Иногда ночь начиналась с визита Веры, которая приходила растрепанная, заплаканная и убитая горем, усаживалась против меня и несла самую возмутительную чушь о пропащей жизни, о моей жестокости, о разных удачных случаях кесарева сечения.

Я пользовался возможностью преподать Вере некоторые начала необходимой жизненной философии, которых она была лишена в вопиющей степени.

— Ты страдаешь потому,— говорил я,— что ты очень жадная. Тебе нужны радости, развлечения, удовольствия, утехи. Ты думаешь, что жизнь — это бесплатный праздник. Пришел человек на праздник, его все угощают, с ним танцуют, все для его удовольствия?

— А по-вашему, человек должен всегда мучиться?

— По-моему, жизнь — это не вечный праздник. Праздники бывают редко, а больше бывает труд, разные у

человека заботы, обязанности, так живут все трудящиеся. И в такой жизни больше радости и смысла, чем в твоем празднике. Это раньше были такие люди, которые сами не трудились, а только праздновали, получали всякие удовольствия. Ты же знаешь: мы этих людей просто выгнали.

— Да,— всхлипывает Вера,— по-вашему, если трудящийся, так он должен всегда страдать.

— Зачем ему страдать? Работа и трудовая жизнь— это тоже радость. Вот у тебя родится сын, ты его полюбишь, будет у тебя семья и забота о сыне. Ты будешь, как и все, работать и иногда отдыхать, в этом и заключается жизнь. А когда твой сын вырастет, ты будешь часто меня благодарить за то, что я не позволил его уничтожить.

Очень, очень медленно Вера начинала прислушиваться к моим словам и посматривать на свое будущее без страха и отвращения. Я мобилизовал все женские силы колонии, и они окружили Веру специальной заботой, а еще больше специальным анализом жизни. Совет командиров выделил для Веры отдельную комнату. Кудлатый возглавил комиссию из трех человек, которая стаскивала в эту комнату обстановку, посуду, разную житейскую мелочь. Даже пацаны начали проявлять интерес к этим сборам, но, разумеется, они не способны были отделаться от своего постоянного легкомыслия и несерьезного отношения к жизни. Только поэтому я однажды поймал Синенького в только что сшитом детском чепчике:

— Это что такое? Ты почему это нацепил?

Синенький стащил с головы чепчик и тяжело вздохнул.

— Где ты это взял?

— Это... Вериного ребенка... чепа... Девчата шили...

— Чепа! Почему она у тебя?

— Я там проходил...

— Ну?

— Проходил, а она лежит...

— Это ты в швейной мастерской... проходил?

Синенький понимает, что «не надо больше слов», и поэтому молча кивает, глядя в сторону.

— Девочки пошили для дела, а ты изорвешь, испачкаешь, бросишь... Что это такое?

Нет, это обвинение выше слабых сил Синенького:

— Та нет, Антон Семенович, вы разберите... Я взял, а Наташа говорит: «До чего ты распустился». Я говорю: «Это я отнесу Вере». А она сказала: «Ну, хорошо, отнеси». Я побежал к Вере, а Вера пошла в больничку. А вы говорите — порвешь...

Еще прошел месяц, и Вера примирилась с нами и с такой же самой страстью, с какой требовала от меня кесарева сечения, она бросилась в материнскую заботу. В колонии снова появился Сильвестров, и Галатенко, на что уж человек расторопный, и тот развел руками:

— Ничего нельзя понять: обратно женятся!

Наша жизнь катилась дальше. В нашем поезде прибавилось жизни, и он летел вперед, обволакивая пахучим веселым дымом широкие поля советских бодрых дней. Советские люди смотрели на нашу жизнь и радовались. По воскресеньям к нам приезжали гости: студенты вузов, рабочие экскурсии, педагоги, сотрудники газет и журналов. На страницах газет и двухнедельников они печатали о нас простые дружеские рассказы, портреты пацанов, снимки свинарни и деревообделочной мастерской. Гости уходили от нас чуточку растроганные скромным нашим блеском, жали руки новым друзьям и на приглашение еще приходить салютовали и говорили «есть».

Все чаще и чаще начали привозить к нам иностранцев. Хорошо одетые джентльмены вежливо щурились на примитивное наше богатство, на древние монастырские своды, на бумажные спецовки ребят. Коровником нашим мы тоже не могли их удивить. Но живые хлопчачьи морды, деловой сдержанный гомон и чуть-чуть иронические молнии взглядов, направленные на рябые чулки и куцые куртки, на выхоленные лица и крошечные записные книжечки, удивляли гостей.

К переводчикам они приставали с вредными вопросами и ни за что не хотели верить, что мы разобрали монастырскую стену, хотя стены и на самом деле уже не было. Просили разрешения поговорить с ребятами, и я разрешал, но категорически требовал, чтобы никаких вопросов о прошлом ребят не было. Они настораживались и начинали спорить. Переводчик мне говорил, немного смущаясь:

— Они спрашивают: для чего вы скрываете прошлое воспитанников? Если оно было плохое, тем больше вам чести.

И уже с полным удовольствием переводчик переводил мой ответ:

— Нам эта честь не нужна. Я требую самой обыкновенной деликатности. Мы же не интересуемся прошлым наших гостей.

Гости расцветали в улыбках и кивали дружелюбно.

— Иес, иес!

Гости уезжали в дорогих авто, а мы продолжали жить дальше.

Осенью ушла от нас новая группа рабфаковцев. Зимою в классных комнатах, кирпич за кирпичом, мы снова терпеливо складывали строгие пролеты школьной культуры.

И вот снова весна! Да еще и ранняя. В три дня все было кончено. На твердой аккуратной дорожке тихонько доживает рябенькая сухая корочка льда. По шляху кто-то едет, и на телеге весело дребезжит пустое ведро. Небо синее, высокое, нарядное. Алый флаг громко полощется под весенним теплым ветром. Парадные двери клуба открыты настежь, в непривычной прохладе вестибюля особенная чистота и старательно разостлан после уборки половик.

В парниках давно уже кипит работа. Соломенные маты днем сложены в сторонке, стеклянные крыши косят на подпорках. На краях парников сидят пацаны и девчата, вооруженные острыми палочками, пикируют рассаду и неугомонно болтают о том, о сем. Женя Журбина, человек выпуска тысяча девятьсот двадцать четвертого года, первый раз в жизни свободно бродит по земле, заглядывая в огромные ямы парников, опасливо посматривает на конюшню, потому что там живет Молодец, и тоже лепечет по интересующим ее вопросам:

— А кто будет пахать? Хлопцы, да? И Молодец будет пахать? С хлопцами? Да? А как это пахать?

Селяне праздновали пасху. Целую ночь они толкались на дворе, носились с узлами, со свечками. Целую ночь тарабанили на колокольне. Под утро разошлись, разговелись и забродили пьяные по селу и вокруг колонии. Но тарабанить не перестали, лазили на колокольню

по очереди и трезвонили. Дежурный командир, наконец, тоже полез на колокольню и высыпал оттуда на село целую кучу музыкантов. Приходили в праздничных пиджаках члены церковного совета, их сыновья и братья, размахивали руками, смелее были, чем всегда раньше, и вопили:

— Не имеете права! Советская власть дозволяет святой праздник! Открывай колокольню! Праздников праздник! Кто может запретить звонить?

— Ты и без звона мокрый,— говорит Лапоть.

— Не твое дело, что мокрый, а почему нельзя звонить?

— Папаша,— отвечает Кудлатый,— собственно говоря, надоело, понимаешь? По какому случаю торжество? Христос воскрес? А тебе какое до этого дело? На Подворках никто не воскресал? Нет! Так чего вы мешаетесь не в свое дело!

Члены церковного совета шатаются на месте, подымают руки и галдят:

— Все равно! Звони! И все дело!

Хлопцы, смеясь, составили цепь и вымели эту пасхальную пену в ворота.

На эту сцену издали смотрит Козырь и неодобрительно гладит бороденку:

— До чего народ разбаловался! Ну и праздную себе потихоньку. Нет, ходит и ругается, господи, прости!

Вечером по селу забегали с ножами, закричали, завертели подворскими конфликтами перед глазами друг друга и повезли к нам в больничку целые гроздья порезанных и избитых. Из города прискакал наряд конной милиции. У крыльца больнички толпились родственники пострадавших, свидетели и сочувствующие, все те же члены церковного совета, их сыновья и братья. Колонисты окружают их и спрашивают с ироническими улыбками:

— Папаша, звонить не надо?

...После пасхи долетели к нам слухи: по другую сторону Харькова ГПУ строит новый дом, и там будет детская колония, не наробразовская, а ГПУ. Ребята отметили это известие как признак новой эпохи:

— Строят новый дом, понимаете! Совсем новый!

В середине лета в колонию прикатил автомобиль, и человек в малиновых петлицах сказал мне:

— Пожалуйста, если у вас есть время, поедем. Мы заканчиваем дом для коммуны имени Дзержинского. Надо посмотреть... с педагогической точки зрения.

Поехали.

Я был поражен. Как? Для беспризорных? Просторный солнечный дворец? Паркет и расписные потолки?

Но недаром я мечтал семь лет. Недаром мне снились будущие дворцы педагогики. С тяжелым чувством зависти и обиды я развернул перед чекистом «педагогическую точку зрения». Он доверчиво принял ее за плод моего педагогического опыта и поблагодарил.

Я возвращался в колонию, скомканный завистью. Кому-то придется работать в этом дворце? Не трудно построить дворец, а есть кое-что и потруднее. Но я грустил не долго. Разве мой коллектив не лучше любого дворца?

В сентябре Вера родила сына. Приехала в колонию товарищ Зоя, закрыла двери и вцепилась в меня:

— У вас девочки рожают?

— Почему множественное число? И чего вы так испугались?

— Как — «чего испугались»? Девочки рожают детей!

— Разумеется, детей... Что же они еще могут рожать?

— Не шутите, товарищ!

— Да я и не шучу!

— Надо немедленно составить акт.

— Загс уже составил все, что нужно.

— То загс, а то мы.

— Вас никто не уполномочил составлять акты рождения.

— Не рождения, а... хуже!

— Хуже рождения? Кажется, ничего не может быть хуже... Шопенгауэр или кто-то другой говорит...

— Товарищ, оставьте этот тон!

— Не оставлю!

— Не оставите? Что это значит?

— Сказать вам серьезно? Это значит, что надоело, понимаете, вот надоело, и все! Уезжайте, никаких актов вы составлять не будете!

— Хорошо!

— Пожалуйста!

Она уехала, и из ее «хорошо» так ничего и не вышло. Вера обнаружила незаурядные таланты матери, заботливой, любящей и разумной. Что мне еще нужно? Она получила работу в нашей бухгалтерии.

Давно убрали поля, обмолотились, закопали что нужно, набили цеха материалом, приняли новеньких.

Рано-рано выпал первый снег. Накануне было еще тепло, а ночью неслышно и осторожно закружились над Куряжем снежинки. Женя Журбина вышла утром на крыльцо, тараща глазенки на белую площадку двора, и удивилась:

— Кто это посолил землю?.. Мама!.. Это, наверное, хлопцы!

13. «ПОМОГИТЕ МАЛЬЧИКУ»

Здание коммуны имени Дзержинского было закончено. На опушке молодого дубового леса, лицом к Харькову, вырос красивый серый, искрящийся терезитом дом. В доме высокие светлые спальни, нарядные залы, широкие лестницы, гардины, портреты. Все в коммуне было сделано с умным вкусом, вообще не в стиле наробраза.

Для мастерских предоставлено два зала. В углу одного из них я увидел сапожную мастерскую и очень удивился.

В деревообделочной мастерской коммуны были прекрасные станки. Все же в этом отделе чувствовалась некоторая неуверенность организаторов.

Строители коммуны поручили мне и колонии Горького подготовку нового учреждения к открытию. Я выделил Киргизова с бригадой. Они по горло вошли в новые заботы.

Коммуна имени Дзержинского рассчитана была всего на сто детей, но это был памятник Феликсу Эдмундовичу, и украинские чекисты вкладывали в это дело не только личные средства, но и все свободное время, все силы души и мысли. Только одного они не могли дать новой коммуне. Чекисты слабы были в педагогической теории. Но педагогической практики они почему-то не боялись.

Меня очень интриговал вопрос, как товарищи чекисты вывернутся из трудного положения. Они-то, пожалуй, могут игнорировать теорию, но согласится ли теория игнорировать чекистов? В этом новом, таком основательном деле не уместно ли будет применить последние открытия педагогической науки, например, подпольное самоуправление? Может быть, чекисты согласятся пожертвовать в интересах науки расписными потолками и хорошей мебелью? Ближайшие дни показали, что чекисты не согласны пожертвовать ничем. Товарищ Б. усадил меня в глубокое кресло в своем кабинете и сказал:

— Видите, какая у меня к вам просьба: нельзя допустить, чтобы все это испортили, разнесли. Коммуна, конечно, нужна, и долго еще будет нужна. Мы знаем, у вас дисциплинированный коллектив. Вы нам дайте для начала человек пятьдесят, а потом уже будем пополнять с улицы. Вы понимаете? У них сразу и самоуправление и порядок. Понимаете?

Еще бы я не понимал! Я прекрасно понял, что этот умный человек никакого представления не имеет о педагогической науке. Собственно говоря, в этот момент я совершил преступление: я скрыл от товарища Б., что существует педагогическая наука, и ни словом не обмолвился о «подпольном самоуправлении». Я сказал «есть» и тихими шагами удалился, оглядываясь по сторонам и улыбаясь коварно.

Мне было приятно, что горьковцам поручили основать новый коллектив, но в этом вопросе были и трагические моменты. Отдавать лучших — как же это можно? Разве горьковский коллектив не заинтересован в каждом лучшем?

Работа бригады Киргизова заканчивалась. В наших мастерских делали для коммуны мебель, в швейной начали шить для будущих коммунаров одежду. Чтобы сшить ее по мерке, надо было сразу выделить пятьдесят «дзержинцев».

В совете командиров к задаче отнеслись серьезно. Лапоть сказал:

— В коммуну нужно послать хороших пацанов, а только старших не нужно. Пускай старшие, как были горьковцами, так и останутся. Да им скоро и в жизнь выходить, все равно.

Командиры согласились с Лаптем, но когда подошли к спискам, начались крупные разговоры. Все старались выделить коммунаров из чужих отрядов. Мы просидели до глубокой ночи и, наконец, составили список сорока мальчиков и десяти девочек. В список вошли оба Жевелия, Горьковский, Ванька Зайченко, Маликов, Одарюк, Зорень, Нисинов, Синенький, Шаровский, Гардинов, Оля Ланова, Смена, Васька Алексеев, Марк Шейнгауз. Исключительно для солидности прибавили Мишу Овчаренко. Я еще раз просмотрел список и остался им очень доволен: хорошие и крепкие пацаны, хоть и молодые.

Назначенные в коммуну начали готовиться к переходу. Они не видели своего нового дома, тем больше грустили, расставаясь с товарищами. Кое-кто даже говорил:

— Кто его знает, как там будет? Дом хороший, а люди смотря какие будут.

К концу ноября все было готово к переводу. Я приступил к составлению штата новой коммуны. В виде хороших дрожжей направлял туда Киргизова.

Все это происходило на фоне почти полного моего разрыва с «мыслящими педагогическими кругами» тогдашнего Наркомпроса Украины. В последнее время отношение ко мне со стороны этих кругов было не только отрицательное, но и почти презрительное. И круги эти были как будто неширокие, и люди там были как будто понятные, а все же как-то так получалось, что спасения для меня не было.

Не проходило дня, чтобы то по случайным, то по принципиальным поводам мне не показывали, насколько я низко пал. У меня самого начинало уже складываться подозрение к самому себе.

Самые хорошие, приятные события вдруг обращались в конфликты. Может быть, действительно я кругом виноват?

В Харькове происходит съезд «Друзей детей», колония идет их приветствовать. Условились, что мы подходим к месту съезда ровно в три часа.

Нужно пройти маршем десять километров. Мы идем не спеша, я по часам проверяю скорость нашего движения, задерживаю колонну, позволяю ребятам отдохнуть,

напиться воды, поглазеть на город. Такие марши для колонистов — приятная вещь. На улицах нам оказывают внимание, во время остановок окружают нас, расспрашивают, знакомятся. Нарядные, веселые колонисты шутят, отдыхают, чувствуют красоту своего коллектива. Все хорошо, и только немного волнует нас цель нашего похода. На моих часах стрелки показывают три, когда наша колонна с музыкой и развернутым знаменем подходит к месту съезда. Но навстречу нам выбегает разгневанная интеллигентка и вякает:

— Почему вы так рано пришли? Теперь детей будете держать на улице?

Я показываю часы:

— Мало ли что!.. Надо же приготовиться.

— Было условлено в три.

— У вас, товарищ, всегда с фокусами.

Колонисты не понимают, в чем они виноваты, почему на них посматривают с презрением.

— А зачем взяли маленьких?

— Колония пришла в полном составе.

— Но разве можно, разве это допустимо — тащить таких малышей десять километров! Нельзя же быть такими жестокими только потому, что вам хочется блеснуть!

— Малыши были рады прогуляться... А после встречи мы идем в цирк,— как же можно было оставить их дома?

— В цирк? Из цирка когда?

— Ночью.

— Товарищ, немедленно отпустите малышей!

«Малыши» — это там, где Зайченко, Маликов, Зорень, Синенький — бледнеют в строю, и их глаза смотрят на меня с последней надеждой.

— Давайте их спросим, — предлагаю я.

— И спрашивать нечего, вопрос ясен. Немедленно отправляйте их домой.

— Извините меня, но я не подчиняюсь вашему распоряжению.

— В таком случае, я сама распоряжусь.

Кое-как скрывая улыбку, я говорю:

— Пожалуйста.

Она подходит вплотную к нашему левому флангу:

— Дети!.. Вот эти!.. Сейчас же идите домой!.. Вы устали, наверное...

Ее ласковый голос никого не обманывает. Кто-то говорит:

— Как же домой? Не-е...

— И в цирк вы не пойдете. Будет поздно...

«Малыши» смеются. Зорень играет глазами, как на танцевальном вечере:

— Ой, и хитрая, смотри ты!.. Антон Семенович, вы смотрите, какая хитрая?

Ваня Зайченко одному ему свойственным движением торжественно протягивает руку по направлению к знамени:

— Вы не так говорите... В строю не так надо говорить... Надо так: раз, два... Видите, у нас строй и знамя... Видите?

Она смотрит с сожалением на этих окончательно заказарменных детей и уходит.

Такие столкновения не имели, конечно, никаких горестных результатов для текущего дела, но они создавали вокруг меня невыносимое организационное одиночество, к которому, впрочем, можно и привыкнуть. Я уже научился понемножку каждый новый случай встречать с угрюмой готовностью перетерпеть, как-нибудь пережить. Я старался не вступать в споры, а если и огрызался иногда, то, честное слово, из одной вежливости, ибо нельзя же с начальством просто не разговаривать.

В октябре случилось несчастье с Аркадием Ужиковым, которое положило между мной и «ими» последнюю, непроходимую пропасть.

На выходной день приехали к нам погостить рабфаковцы. Мы устроили для них спальню в одной из классных комнат, а днем организовали гулянье в лесу. Пока ребята развлекались, Ужиков проник в их комнату и утащил портфель, в котором рабфаковцы сложили только что полученную стипендию.

Колонисты любили рабфаковцев, «как сорок тысяч братьев любить не могут». Нам всем было нестерпимо стыдно. До поры до времени похититель оставался неизвестным, но для меня это обстоятельство было самым важным. Кража в тесном коллективе не потому ужа-

сна, что пропадает вещь, и не потому, что один бывает обижен, и не потому, что другой продолжает воровской опыт, а главным образом потому, что она разрушает общий тон благополучия, уничтожает доверие товарищей друг к другу, вызывает к жизни самые несимпатичные инстинкты подозрительности, беспокойства за личные вещи, осторожный, притаившийся эгоизм. Если виновник кражи не разыскан, коллектив раскалывается сразу в нескольких направлениях: по спальням ходят шепоты, в секретных беседах называют имена подозреваемых, десятки характеров подвергаются самому тяжелому испытанию, и как раз таких характеров, которые хочется беречь, которые и так еле-еле налажены. Пусть через несколько дней вор будет найден, пусть он понесет заслуженное возмездие,— все равно, это не залечит ран, не уничтожит обиды, не возвратит многим покойного места в коллективе. В такой, казалось бы, одинокой краже лежат начала печальнейших затяжных процессов вражды, озлобленности, уединения и настоящей мизантропии. Кража принадлежит к тем многочисленным явлениям в коллективе, в которых нет субъекта влияния, в которых больше химических реакций, чем зловредной воли. Кража не страшна только там, где нет коллектива и общественного мнения; в этом случае дело разрешается просто: один украл, другой обокраден, остальные в стороне. Кража в коллективе вызывает к жизни раскрытие тайных дум, уничтожает необходимую деликатность и терпеливость коллектива, что особенно гибельно в обществе, состоящем из «правонарушителей».

Преступление Ужикова было раскрыто только на третий день. Я немедленно посадил Ужикова в канцелярии и в дверях поставил стражу, чтобы предотвратить самосуд. Совет командиров постановил передать дело товарищескому суду. Такой суд собирался у нас очень редко, так как хлопцы обычно доверяли решению совета. От товарищеского суда Ужиков ничего хорошего не мог ожидать. Выборы судей происходили в общем собрании, которое единодушно остановилось на пяти фамилиях: Кудлатый, Горьковский, Зайченко, Ступицын и Перец. Переца выбрали, чтобы не обижать куряжан, Ступицын славился справедливостью, а первые три обещали полную невозможность мягкости или снисхождения.

Суд начался вечером, при полном зале. В зале были Брегель и Джуринская, приехавшие нарочно к этому делу.

Ужиков сидел на отдельной скамейке. Все эти дни он держался нахально, грубил мне и колонистам, посмеивался и вызывал к себе настоящее отвращение. Аркадий прожил в колонии больше года и за это время, несомненно, эволюционировал, но направление этой эволюции всегда оставалось сомнительным. Он стал более аккуратен, прямее держался, нос его уже не так сильно перевешивал все на лице, он научился даже улыбаться. И все же это был прежний Аркадий Ужиков, человек без малейшего уважения к кому бы то ни было и тем более к коллективу, человек, живущий только своей сегодняшней жадностью.

Раньше Ужиков побаивался отца или милиции. В колонии же ему ничто не грозило, кроме совета командиров или общего собрания, а эта категория явлений Ужиковым просто не ощущалась. Инстинкт ответственности у Ужикова еще более притупился, а отсюда пошли и новая его улыбка, и новая нахальная мина.

Но сейчас Ужиков бледен: очевидно, товарищеский суд ему несколько импонирует.

Дежурный командир приказал встать, вошел суд. Кудлатый начал допрос свидетелей и потерпевших. Их показания были полны сурового осуждения и насмешки. Миша Овчаренко сказал:

— Вот тут, понимаете, говорят хлопцы, что Аркадий этот позорит колонию. Я так скажу, дорогие мои, не может этого быть, он не может такое — позорить колонию. Он не колонист, куда там ему, а разве можно сказать такое, что он человек? Посудите сами, разве он человек? Вот, скажем, собака или кошка — так, честное слово, лучше. Ну, а если спросить, что ему сделать? Нельзя же его взять и выгнать, это ему не поможет. А что я предлагаю: нужно построить ему будку и научить гавкать. Если дня три не покормить, честное слово, научится. А в комнаты его пускать нельзя.

Это была оскорбительная и уничтожающая речь. Ваня Зайченко хохотал за судейским столом. Аркадий серьезно повел глазом на Мишу, покраснел и отвернулся.

Попросила слова Брегель. Кудлатый предложил ей:

— Может быть, вы после хлопцев?

Брегель настаивала, и Денис уступил. Брегель вышла на сцену и сказала пламенную речь. Некоторые места этой речи я сейчас помню:

— Вы судите этого мальчика за то, что он украл деньги. Все здесь говорят, что он виноват, что его нужно крепко наказать, а некоторые требуют увольнения. Он, конечно, виноват, но еще больше виноваты все колонисты.

Колонисты затихли в зале и вытянули шеи, чтобы лучше рассмотреть человека, который утверждает, что они виноваты в краже Ужикова.

— Он у вас прожил больше года и все-таки крадет. Значит, вы плохо его воспитывали, вы не подошли к нему как следует, по-товарищески, вы не объяснили ему, как нужно жить. Здесь говорят, что он плохо работает, что он и раньше крал у товарищей. Это все доказывает, что вы не обращали на Аркадия должного внимания.

Зоркие глаза пацанов, наконец, увидели опасность и беспокойно заходили по лицам товарищей. Необходимо признать, что пацаны не напрасно тревожились, ибо в этот момент коллектив стал перед серьезной угрозой. Но Брегель не увидела тревоги в собрании. С настоящим пафосом она закончила:

— Наказывать Аркадия — значит мстить, а вы не должны унижаться до мести. Вы должны понять, что Аркадий сейчас нуждается в вашей помощи, он в тяжелом положении, потому что вы поставили его против всех, здесь приравнивали его к животному. Надо выделить хороших парней, которые должны взять Аркадия под свою защиту и помочь ему.

Когда Брегель сошла со сцены, в рядах завертелись, загалдели, заулыбались пацаны. Кто-то серьезно звонко спросил:

— Чего это она говорила? А?

А другой голос ответил немного сдержаннее, но в форме довольно ехидной:

— Дети, помогите Ужикову!

В зале засмеялись. Судья Ваня Зайченко отвалился на спинку стула и стукнул ногами в ящик стола. Кудлатый сказал ему строго:

— Ванька, собственно говоря, какой ты судья?

Ужиков сидел, сидел, склонившись к коленям, и вдруг прыснул смехом, но немедленно же взял себя в руки и еще ниже опустил голову. Кудлатый что-то хотел сказать ему, но не сказал, покачал только головой и поколол немного Ужикова взглядом.

Брегель, кажется, не заметила этих мелких событий, она о чем-то оживленно говорила с Джуринской.

Кудлатый объявил, что суд удаляется на совещание. Мы знали, что меньше часа судьи не истратят на юридические препирательства и писание приговора. Я пригласил гостей в кабинет.

Джуринская забилась в угол дивана, спряталась за плечо Гуляевой и тайком рассматривала остальных, видимо, искала правду. Брегель была уверена, что сегодня она преподала нам урок «настоящей воспитательной работы». Я чувствовал в себе странное упрямство, не упрямство прямоты, не упрямство торжества, нет, упрямство горечи и какой-то неопределенной беспросветности моей работы.

Брегель спросила:

— Вы, конечно, не согласны со мной?

Я ответил ей:

— Хотите чаю?

У этих людей гипертрофия силлогизма. Это средство хорошо, это плохо, следовательно, нужно всегда употреблять первое средство. Сколько нужно времени, чтобы научить их диалектической логике? Как им доказать, что моя работа состоит из непрерывного ряда операций, более или менее длительных, иногда растягивающихся на целые годы и при этом всегда имеющих характер коллизий, в которых интересы коллектива и отдельных лиц запутаны в сложные узлы. Как их убедить, что за семь лет моей работы в колонии не было двух случаев, совершенно схожих? Как им растолковать, что нельзя приучать коллектив переживать неясную напряженность действия, опыт общественного бессилия, что в сегодняшнем суде объектом воспитательной работы является не Ужиков и не четыреста отдельных колонистов, а именно коллектив?

Дежурный пригласил нас в зал.

В полной тишине, стоя, колонисты выслушали приговор.

«Приговор

Как врага трудящихся и вора, Ужикова нужно с позором выгнать из колонии. Но, принимая во внимание, что за него просит Наркомпрос, товарищеский суд постановил:

1. Оставить Ужикова в колонии.

2. Не считать его членом колонии на один месяц, исключить из отряда, не назначать в сводные отряды, запретить всем колонистам разговаривать с ним, помогать ему, есть за одним столом, спать в одной спальне, играть с ним, сидеть рядом и ходить рядом.

3. Считать его под командой прежнего командира Дмитрия Жевелия, и он может говорить с командиром только по делу, а также, если заболеет, — с врачом.

4. Спать Ужикову в коридоре спален, а есть за отдельным столом, где укажет ССК, а работать, если захочет, в одиночку, по наряду командира.

5. Всякого, кто нарушит это постановление, немедленно выгнать из колонии по приказу ССК.

6. Приговор начинает действовать сразу после утверждения заведующим колонией».

Приговор был одобрен аплодисментами собрания. Кузьма Леший обратился к нам:

— От-то здорово! Вот это поможет. А то говорят: помогите бедному мальчику, сделайте ему отмычки, хе!

Простодушный Кузьма говорил все это в лицо Брегель и не соображал, что говорит дерзости. Брегель с осуждением посмотрела на лохматого Лешего и сказала мне официально:

— Вы, конечно, не утвердите это постановление?

— Надо утвердить,— ответил я.

В пустой комнате совета командиров Джуринская отозвала меня в сторону:

— Я хочу с вами поговорить. Что это за постановление? Как вы на это смотрите?

— Постановление хорошее,— сказал я.— Конечно, бойкот опасное средство, и его нельзя рекомендовать как широкую меру, но в данном случае он будет полезен.

— Вы не сомневаетесь?

— Нет. Видите ли, этого Ужикова в колонии очень не любят, презирают. Бойкот, во-первых, на целый ме-

сяц вводит новую, узаконенную форму отношений. Если Ужиков бойкот выдержит, уважение к нему должно повыситься. Для Ужикова достойная задача.

— А если не выдержит?

— Ребята его выгонят.

— И вы поддержите?

— Поддержу.

— Но как же это можно?

— А как же можно иначе? Коллектив имеет право защищать себя?

— Ценою Ужикова?

— Ужиков поищет другое общество. И это для него будет полезно.

Джуринская улыбнулась грустно:

— Как назвать такую педагогику?

Я не ответил ей. Она вдруг сама догадалась:

— Может быть, педагогикой борьбы?

— Может быть.

В кабинете Брегель собралась уезжать. Лапоть пришел с приказом.

— Утверждаем, Антон Семенович?

— Конечно. Прекрасное постановление.

— Вы доведете мальчика до самоубийства,— сказала Брегель.

— Кого? Ужикова? — удивился Лапоть.— До самоубийства? Ого! Если бы он повесился, неплохо было бы... Только он не повесится.

— Кошмар какой-то! — процедила Брегель и уехала.

Эти женщины плохо знали Ужикова и колонию. И колония и Ужиков приступили к бойкоту с увлечением. Действительно, колонисты прекратили всякое общение с Аркадием, но ни гнева, ни обиды, ни презрения у них уже не осталось к этому дрянному человеку. Как будто приговор суда все это взял на свои плечи. Колонисты издали посматривали на Ужикова с большим интересом и между собою без конца судачили обо всем происшедшем и обо всем будущем, ожидающем Ужикова. Многие утверждали, что наказание, наложенное судом, никуда не годится. Такого мнения держался и Костя Ветковский.

— Разве это наказание? Ужиков героем ходит. Подумаешь, вся колония на него смотрит! Стоит он того!

Ужиков действительно ходил героем. На его лице появилось явное выражение тщеславия и гордости. Он проходил между колонистами, как король, к которому никто не имеет права обратиться с вопросом или с беседой. В столовой Ужиков сидел за отдельным маленьким столиком, и этот столик казался ему троном.

Но увлекательная поза героя скоро израсходовалась. Прошло несколько дней, и Аркадий почувствовал тернии позорного венца, надетого на его голову товарищеским судом. Колонисты быстро привыкли к исключительности его положения, а изолированность все-таки осталась. Аркадий начал переживать тяжелые дни совершенного одиночества, дни эти тянулись пустой, однообразной очередью, целыми десятками часов, не украшенных даже ничтожной теплотой человеческого общения. А в это время вокруг Ужикова, как всегда, горячо жил коллектив, звенел смех, плескались шутки, искрились характеры, мелькали огни дружбы и симпатии. Как ни беден был Ужиков, а эти радости для него уже были привычны.

Через семь дней его командир Жевелий сказал мне:

— Ужиков просит разрешения поговорить с вами.

— Нет,— сказал я,— говорить с ним я буду тогда, когда он с честью выдержит испытание. Так ему и передай.

И скоро я увидел с радостью, что брови Аркадия, до того времени неподвижные, научились делать на его челе еле заметную, но выразительную складку. Он начал подолгу заглядываться на ребят, задумываться и мечтать о чем-то. Все отметили разительную перемену в его отношении к работе. Жевелий назначал его большею частью на уборку двора. Аркадий с неуязвимой точностью выходил на работу, подметал наш большой двор, очищал сорные ящики, поправлял изгороди у цветников. Часто и по вечерам он появлялся во дворе со своим совком, поднимая случайные бумажки и окурки, проверяя чистоту клумб. Целый вечер однажды он просидел в классе над большим листом бумаги, а наутро он выставил этот лист на видном месте:

КОЛОНИСТ, УВАЖАЙ ТРУД ТОВАРИЩА,
НЕ БРОСАЙ БУМАЖКИ НА ЗЕМЛЮ.

— Смотри ты,— сказал Горьковский,— товарищем себя считает...

На половине испытания Ужикова в колонию приехала товарищ Зоя. Был как раз обед. Зоя прямо подошла к столику Ужикова и в затихшей столовой спросила его с тревогой.

— Вы Ужиков? Скажите, как вы себя чувствуете?

Ужиков встал за столом, серьезно посмотрел в глаза Зои и сказал приветливо:

— Я не могу с вами говорить: нужно разрешение командира.

Товарищ Зоя бросилась искать Митьку. Митька пришел, оживленный, бодрый, черноглазый.

— А что такое?

— Разрешите мне поговорить с Ужиковым.

— Нет, — ответил Жевелий.

— Как это — «нет»?

— Ну... не разрешаю, и все!

Товарищ Зоя поднялась в кабинет и наговорила мне разного вздора:

— Как это так? А вдруг он имеет жалобу? А вдруг он стоит над пропастью? Это пытка, да?

— Ничего не могу сделать, товарищ Зоя.

На другой день на общем собрании колонистов Наташа Петренко взяла слово:

— Хлопцы, давайте уж простим Аркадия. Он хорошо работает и наказание выдерживает с честью, как полагается колонисту. Я предлагаю амнистировать.

Общее собрание сочувственно зашумело:

— Это можно...

— Ужиков здорово подтянулся...

— Ого!

— Пора, пора...

— Поможем мальчику!

Потребовали отзыва командира. Жевелий сказал:

— Прямо говорю: другой человек стал. И вчера приехала... эта самая... Да знаете ж!

— Знаем!

— Она к нему: мальчик, мальчик, а он — молодец, не поддался. Я сам раньше думал, что с Аркадия толку не будет, а теперь скажу: у него есть... есть что-то такое... наше...

Лапоть осклабился:

— Выходит так: амнистируем.

— Голосуй,— сказали колонисты.

А Ужиков в это время притаился у печки и опустил голову. Лапоть оглянул поднятые руки и сказал весело:

— Ну, что ж... единогласно, выходит. Аркадий, где ты там? Поздравляю, свободен!

Ужиков вышел на сцену, посмотрел на собрание, открыл рот и... заплакал.

В зале взволновались. Кто-то крикнул:

— Он завтра скажет...

Но Ужиков провел по глазам рукавом рубахи, и, приглядевшись к нему, я увидел, что он страдает. Аркадий, наконец, сказал:

— Спасибо, хлопцы... И девчата... И Наташа... Я... тот... все понимаю, вы не думайте. Пожалуйста.

— Забудь, — сказал строго Лапоть.

Ужиков покорно кивнул головой. Лапоть закрыл собрание, и на сцену к Ужикову бросились хлопцы. Их сегодняшние симпатии были оплачены чистым золотом. Я вздохнул свободно, как врач после трепанации черепа.

В декабре открылась коммуна имени Дзержинского. Это вышло очень торжественно и очень тепло.

Незадолго до этого пухлым снежным днем назначенные в коммуну первые пятьдесят воспитанников оделись в новые костюмы, в пушистые бобриковые пальто, простились с товарищами и потопали через город в свое новое жилище. Собранные в кучку, они казались нам очень маленькими и похожими на хороших черненьких цыплят. Они пришли в коммуну, покрытые хлопьями снега, как пухом, радостные и румяные. Так же, как цыплята, они бодро забегали по коммуне и застучали клювами по различным оргвопросам. Уже через пятнадцать минут у них был совет командиров, и третий сводный отряд приступил к переноске кроватей.

На открытие коммуны горьковцы пришли строем, с музыкой и знаменем. Они теперь были в гостях у товарищей, которые с этого дня стали носить новое, непривычно торжественное имя коммунаров. Среди собравшихся четырехсот бывших беспризорных группа чекистов, самых ответственных, самых занятых, самых заслуженных деятелей, вовсе не казалась группой благотво-

рителей. Между теми и другими сразу установились отношения дружеские и теплые, но в этих отношениях ярко была видна и разница поколений и наше особенное уважение, советское уважение ребят к старшим. Но в то же время ребята эти выступали не просто как подопечная мелочь,— у них была своя организация, свои законы и своя деловая сфера, в которых были и достоинство, и ответственность, и долг.

Само собой как-то вышло, что заведование коммуной поручалось мне, хотя об этом не было ни договорено, ни объявлено.

По сравнению с коммуной Горьковская колония казалась и более сложным, и более трудным делом. Потеряв пятьдесят товарищей, горьковцы приняли пятьдесят новых, людей столичных и видавших виды. Как и раньше бывало, новые быстро усваивали дисциплину колонии, ее традиции, но настоящая культура и настоящее лицо коллективистов делались гораздо медленнее. Все это, впрочем, было уже привычно.

Впереди у нас были хорошие дали: мы начинали мечтать о собственном рабфаке, о новом корпусе машинного отделения, о новых выпусках в жизнь. А скоро мы прочитали в газетах, что наш Горький приезжает в Союз.

14. НАГРАДЫ

Это время — от декабря до июля — было замечательным временем. В это время мой корабль сильно швыряло в шторме, но на этом корабле было два коллектива, и каждый из них по-своему был прекрасен.

Дзержинцы очень быстро довели свой состав до полутораста человек. К ним пришли тремя группами по тридцать человек новые силы, все беспризорные первого сорта, все народ на подбор. Жизнь коммунаров была культурной, чистой жизнью, и со стороны казалось, что коммунарам можно только завидовать. Многие и в самом деле завидовали, и при этом отнюдь не беспризорные.

Дзержинцы появлялись на людях в хороших суконных костюмах, украшенных широкими белыми воротниками. У них был оркестр духовых инструментов из белого металла, и на их трубах стояли знаки знаменитой

пражской фабрики. Коммунары были желанными гостями в рабочих клубах и в клубе чекистов, куда они приходили солидно-элегантные, розовые и приветливые. Их коллектив имел всегда такой высококультурный вид, что многие головы, обладающие мозговым аппаратом облегченного образца, даже возмущались:

— Набрали хороших детей, одели и показывают. Вы беспризорных возьмите!

Но у меня не было времени скорбеть по этому поводу. Я еле успевал в течение суток проделать все необходимые дела. Я переносился из одного коллектива в другой на паре лошадей, и истраченный на дорогу час казался мне обидным прорывом в моем бюджете времени. Несмотря на то, что ребячьи ряды нигде не шатались и мы не выходили из берегов полного благополучия, воспитательские кадры тоже выбивались из сил. В это время я пришел к тезису, который исповедываю и сейчас, каким бы парадоксальным он ни казался. Нормальные дети или дети, приведенные в нормальное состояние, являются наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики.

И колонисты и коммунары давно перестали быть группами людей, уединенных от общества. У тех и других сложные общественные связи: комсомольские, пионерские, спортивные, военные, клубные. Между хлопцами и городом проложено множество путей и тропинок, по ним передвигаются не только люди, но и мысли, идеи и влияния.

И поэтому общая картина педагогической работы приобрела новые краски. Дисциплина и бытовой порядок давно перестали быть только моей заботой. Они сделались традицией коллектива, в которой он разбирается уже лучше меня и за которой наблюдает не по случаю, не по поводу скандалов и истерик, а ежеминутно, в порядке требований коллективного инстинкта, я бы сказал.

Как ни трудно было мне, как ни туманно было впереди, моя жизнь в это время была счастливой жизнью. Нельзя описать совершенно исключительное впечатление счастья, которое испытываешь в детском обществе,

выросшем вместе с вами, доверяющем вам до конца, идущем с вами вперед. В таком обществе даже неудача не печалит, даже огорчение и боль кажутся высокими ценностями.

Коллектив горьковцев был для меня роднее коммунаров. В нем были крепче и глубже дружеские связи, больше людей с высокой себестоимостью, острее борьба. И горьковцам я был нужнее. Дзержинцам с первого дня выпало счастье иметь таких шефов, как чекисты, а у горьковцев, кроме меня и небольшой группы воспитателей, близких людей не было. И поэтому я никогда не думал, что настанет время, и я уйду от горьковцев. Я вообще не способен был представить себе такое событие. Оно могло быть только предельным несчастьем в моей жизни.

Приезжая в колонию, я приезжал домой, и в общем собрании колонистов, и в совете командиров, даже в тесноте сложнейших коллизий и трудных решений я отдыхал по-настоящему. В это время закрепилась надолго одна из моих привычек: я потерял умение работать в тишине. Только когда рядом, у самого моего стола, звенел ребячий галдеж, я чувствовал себя по-настоящему уютно, моя мысль оживала, и веселее работало воображение. И за это в особенности я был благодарен горьковцам.

Но коммуна Дзержинского требовала от меня все больше и больше. И забота здесь была новее, и новее были педагогические перспективы.

Особенно новым и неожиданным для меня было общество чекистов. Чекисты — это прежде всего коллектив, чего уж никак нельзя сказать о сотрудниках наробраза. И чем больше я присматривался к этому коллективу, чем больше входил в рабочие отношения, тем ярче открывалась передо мною одна замечательная новость. Как это вышло, честное слово, не знаю, но коллектив чекистов обладал теми самыми качествами, которые я в течение восьми лет хотел воспитать в коллективе колонии. Я вдруг увидел перед собой образец, который до сих пор заполнял только мое воображение, который я логически и художественно выводил из всех событий и всей философии революции, но которого я никогда не видел и потерял надежду увидеть.

Мое открытие было настолько для меня дорого и значительно, что больше всего я боялся разочароваться.

Я держал его в глубокой тайне, ибо я не хотел, чтобы мои отношения к этим людям сделались сколько-нибудь искусственными.

Это обстоятельство сделалось точкой отправления для моего нового педагогического мышления. Меня особенно радовало, что качества коллектива чекистов очень легко и просто разъясняли многие неясности и неточности в том воображаемом образце, который до сих пор направлял мою работу. Я получил возможность в мельчайших деталях представить себе многие, до сих пор таинственные для меня области. У чекистов очень высокий интеллект в соединении с образованием и культурой никогда не принимал ненавистного для меня выражения российского интеллигента. Я и раньше знал, что это должно быть так, но, как это выражается в живых движениях личности, представить было трудно. А теперь я получил возможность изучить речь, пути логических ходов, новую форму интеллектуальной эмоции, новые диспозиции вкусов, новые структуры нервов и — самое главное — новую форму использования идеала. Как известно, у наших интеллигентов идеал похож на нахального квартиранта: он занял чужую жилплощадь, денег не платит, ябедничает, въедается всем в печенки, все пищат от его соседства и стараются выбраться подальше от идеала. Теперь я видел другое: идеал не квартирант, а хороший администратор, он уважает соседский труд, он заботится о ремонте, об отоплении, у него всем удобно и приятно работать. Во-вторых, меня заинтересовала структура принципиальности. Чекисты очень принципиальные люди, но у них принцип не является повязкой на глазах, как у некоторых моих «приятелей». У чекистов принцип — измерительный прибор, которым они пользуются так же спокойно, как часами, без волокиты, но и без поспешности угорелой кошки. Я увидел, наконец, нормальную жизнь принципа и убедился окончательно, что мое отвращение к принципиальности интеллигентов было правильное. Ведь давно известно: когда интеллигент что-нибудь делает из принципа, это значит, что через полчаса и он сам, и все окружающие должны принимать валерьянку.

Увидел я и много других особенностей: и всепроникающую бодрость, и немногословие, и отвращение к штампам, неспособность разваливаться на диване или

укладывать живот на стол, наконец, веселую, но безграничную работоспособность, без жертвенной мины и ханжества, без намека на отвратительную повадку «святой жертвы». И, наконец, я увидел и ощутил осязанием то драгоценное вещество, которое не могу назвать иначе, как социальным клеем: это чувство общественной перспективы, умение в каждый момент работы видеть всех членов коллектива, это постоянное знание о больших всеобщих целях, знание, которое все же никогда не принимает характера доктринерства и болтливого, пустого вяканья. И этот социальный клей не покупался в киоске на пять копеек только для конференций и съездов, это не форма вежливого, улыбающегося трения с ближайшим соседом, это действительная общность, это единство движения и работы, ответственности и помощи, это единство традиций.

Становясь предметом особой заботы чекистов, дзержинцы попадали в счастливые условия: им оставалось только смотреть. А мне уже не нужно было с разгону биться головой о стену, чтобы убеждать начальство в необходимости и пользе носового платка.

Мое удовлетворение было высоким удовлетворением. Стараясь привести его к краткой формуле, я понял: я близко познакомился с настоящими большевиками, я окончательно уверился в том, что моя педагогика — педагогика большевистская, что тип человека, который всегда стоял у меня как образец, не только моя красивая выдумка и мечта, но и настоящая реальная действительность, тем более для меня ощутимая, что она стала частью моей работы.

А моя работа в коммуне, не отравленная никаким кликушеством, была работа хоть и трудная, но посильная человеческому рассудку.

Жизнь коммунаров оказалась вовсе не такой богатой и беззаботной, как думали окружающие. Чекисты отчисляли из своего жалованья известный процент на содержание коммунаров, но это было неприемлемо и для нас и для чекистов.

Уже через три месяца коммуна начала испытывать настоящую нужду. Мы задерживали жалованье, затруднялись даже в расходах на питание. Мастерские давали незначительные доходы, потому что, по сути, были

мастерскими учебными. Правда, сапожную мастерскую мы с хлопцами в первые же дни затащили в темный угол и удушили, навалившись на нее с подушками. Чекисты сделали вид, будто они не заметили этого убийства. Но в других мастерских мы никак не могли раскачаться на работу, приносящую доход.

Однажды меня пригласил наш шеф, нахмурился, задумался, положил на стол чек и сказал:

— Все.

Я понял.

— Сколько здесь?

— Десять тысяч. Это последнее. Это вперед взяли за год. Больше не будет, понимаете? Используйте этого... он человек энергичный...

Через несколько дней по коммуне забегал человек отнюдь не педагогического типа — Соломон Борисович Коган. Соломон Борисович уже стар, ему под шестьдесят, у него больное сердце, и одышка, и нервы, и грудная жаба, и ожирение. Но у этого человека внутри сидит демон деятельности, и Соломон Борисович ничего с этим демоном поделать не может. Соломон Борисович не принес с собой ни капиталов, ни материалов, ни изобретательности, но в его рыхлом теле без устали носятся и хлопочут силы, которые ему не удалось истратить при старом режиме: дух предприимчивости, оптимизма и напора, знание людей и маленькая, простительная беспринципность, странным образом уживающаяся с растроганностью чувств и преданностью идее. Очень вероятно, что все это объединялось обручами гордости, потому что Соломон Борисович любил говорить:

— Вы еще не знаете Когана! Когда вы узнаете Когана, тогда вы скажете.

Он был прав. Мы узнали Когана, и мы говорим: это человек замечательный. Мы очень нуждались в его жизненном опыте. Правда, проявлялся этот опыт иногда в таких формах, что мы только холодели и не верили своим глазам.

Соломон Борисович из города привез воз бревен. Зачем это?

— Как зачем? А складочные помещения? Я взял заказ на мебель для Строительного института, так надо же ее куда-нибудь складывать.

— Никуда ее не надо складывать. Сделаем мебель и отдадим ее Строительному институту.

— Хе-хе! Вы думаете, это в самом деле институт? Это фигели-мигели, а не институт. Если бы это был институт, стал бы я с ним связываться!

— Это не институт?

— Что такое институт? Пускай себе он как хочет называется. Важно, что у них есть деньги. А раз есть деньги, так им хочется иметь мебель. А для мебели нужна крыша. Вы же знаете. А крышу они еще будут строить, потому что у них еще и стен нет.

— Все равно, мы не будем строить никаких складочных помещений.

— Я им то же самое говорил. Они думают, коммуна Дзержинского — это так себе... Это образцовое учреждение. Оно будет заниматься какими-то складами?! Есть у нас для этого время!

— А они что?

— А они говорят: стройте! Ну, если им так хочется, так я сказал: это будет стоить двадцать тысяч. А если вы говорите: не нужно строить, пусть будет по-вашему. Для чего мы будем строить складочные помещения, если нам нужен вовсе сборный цех?..

Через две недели Соломон Борисович начинает строить сборный цех. Закопали столбы, начали плотники складывать стены.

— Соломон Борисович, откуда у вас деньги на этот самый сборный цех?

— Как откуда? Разве я вам не говорил? Нам перевели двадцать тысяч...

— Кто перевел?

— Да этот самый институт...

— Почему?

— Как почему? Им хочется, чтобы были складочные помещения... Ну, так что? Мне жаль, что ли?

— Постойте, Соломон Борисович, но ведь вы строите не складочные помещения, а сборный цех...

Соломон Борисович начинает сердиться:

— Мне очень нравится! А кто это сказал, что не нужны складочные помещения? Это же вы сказали?

— Надо возвратить деньги.

Соломон Борисович брезгливо морщится:

— Послушайте, нельзя же быть таким непрактическим человеком. Кто же это возвращает наличные деньги? Может быть, у вас такие здоровые нервы, так вы можете, а я человек больной, я не могу рисковать своими нервами... Возвращать деньги!

— Но ведь они узнают.

— Антон Семенович, вы же умный человек. Что они могут узнать? Ну, пожалуйста, пускай себе завтра приезжают: люди строят, видите? А разве где написано, что это сборный цех?

— А начнете работать?

— Кто мне может запретить работать? Строительный институт может запретить мне работать? А если я хочу работать на свежем воздухе или в складочном помещении? Есть такой закон? Нет такого закона.

Логика Соломона Борисовича не знала никаких пределов. Это был сильнейший таран, пробивающий все препятствия. До поры до времени мы ей не сопротивлялись, ибо попытки к сопротивлению были с самого начала подавлены.

Весной, когда наша пара лошадей стала ночевать на лугу, Витька Горьковский спросил меня:

— А что это Соломон Борисович строит в конюшне?

— Как строит?

— Уже строит! Какой-то котел поставил и трубу делает.

— Зови его сюда!

Приходит Соломон Борисович, как всегда, измазанный, потный, запыхавшийся.

— Что вы там строите?

— Как что строю? Литейную, вы же хорошо знаете.

— Литейную? Ведь литейную решили делать за баней.

— Зачем за баней, когда есть готовое помещение?

— Соломон Борисович!

— Ну, что такое — Соломон Борисович?

— А лошади? — спрашивает Горьковский.

— А лошади побудут на свежем воздухе. Вы думаете, только вам нужен свежий воздух, а лошади, значит, пускай дышат всякой гадостью? Хорошие хозяева!

Мы, собственно говоря, уже сбиты с позиций. Витька все-таки топорщится:

— А когда будет зима?

Но Соломон Борисович обращает его в пепел:

— Как вы хорошо знаете, что будет зима!

— Соломон Борисович! — кричит пораженный Витька.

Соломон Борисович чуточку отступает:

— А если даже будет зима, так что? Разве нельзя построить конюшню в октябре? Вам разве не все равно? Или вам очень нужно, чтобы я истратил сейчас две тысячи рублей?

Мы печально вздыхаем и покоряемся. Соломон Борисович из жалости к нам поясняет, загибая пальцы:

— Май, июнь, июль, тот, как его... август, сентябрь...

Он на секунду сомневается, но потом с нажимом продолжает:

— Октябрь... Подумайте, шесть месяцев! За шесть месяцев две тысячи рублей сделают еще две тысячи рублей. А вы хотите, чтобы конюшня стояла пустая шесть месяцев. Мертвый капитал, разве это можно допустить?

Мертвый капитал даже в самых невинных формах для Соломона Борисовича был невыносим.

— Я не могу спать,— говорил он.— Как это можно спать, когда столько работы, каждая минута — это же операция. Кто это придумал столько спать?

Мы диву давались: только недавно мы были так бедны, а сейчас у Соломона Борисовича горы леса, металла, станки; в нашем рабочем дне только мелькает: авизовка, чек, аванс, фактура, десять тысяч, двадцать тысяч. В совете командиров Соломон Борисович с сонным презрением выслушивал речи хлопцев о трехстах рублях на штаны и говорил:

— Какой может быть вопрос? Мальчикам же нужны штаны... И не нужно за триста, это плохие штаны, а нужно за тысячу...

— А деньги? — спрашивают хлопцы.

— У вас же есть руки и головы. Вы думаете, для чего у вас головы? Для того, чтобы фуражку надевать? Ничего подобного! Прибавьте четверть часа в день в цехе, я вам сейчас достану тысячу рублей, а может, и больше, сколько там заработаете.

Старыми, дешевыми станками заполнил Соломон Борисович свои легкие цеха, очень похожие на складочные помещения, заполнил их самым бросовым материалом, связал все веревками и уговорами, но коммунары с восторгом окунулись в этот рабочий хлам. Делали все: клубную мебель, кроватные углы, масленки, трусики, ковбойки, парты, стулья, ударники для огнетушителей, но делали все в несметном количестве, потому что в производстве Соломона Борисовича разделение труда доведено до апогея.

— Разве ты будешь столяром? Ты же все равно не будешь столяром, ты же будешь доктором, я знаю. Так делай себе проножку, для чего тебе делать целый стул? Я плачу за две проножки копейку, ты в день заработаешь пятьдесят копеек. Жены у тебя нет, детей нет...

Коммунары хохотали на совете командиров и ругали Соломона Борисовича за «халтуру», но у нас уже был промфинплан, а промфинплан — дело священное.

Зарплата у коммунаров была введена с такой миной, как будто нет никакой педагогики, нет никакого дьявола и его соблазнов. Когда воспитатели предлагали вниманию Соломона Борисовича педагогическую проблему зарплаты, Соломон Борисович говорил:

— Мы же должны воспитывать, я надеюсь, умных людей. Какой же он будет умный человек, если он работает без зарплаты.

— Соломон Борисович, а идеи, по-вашему, ничего не стоят?

— Когда человек получает жалованье, так у него появляется столько идей, что их некуда девать. А когда у него нет денег, так у него одна идея: у кого бы занять? Это же факт.

Соломон Борисович оказался очень полезными дрожжами в нашем трудовом коллективе. Мы знали, что его логика — чужая и смешная логика, но в своем напоре она весело и больно била по многим предрассудкам и в порядке сопротивления вызывала потребность иного производственного стиля.

Полный хозрасчет коммуны Дзержинского пришел просто и почти без усилий и для нас самих уже не казался такой значительной победой. Соломон Борисович недаром говорил:

— Что такое? Сто пятьдесят коммунаров не могут заработать себе на суп? А как же может быть иначе? Разве им нужно шампанское? Или, может, у них жены любят наряжаться?

Наши квартальные промфинпланы коммунары брали один за другим широким общим усилием. Чекисты бывали у нас ежедневно. Они вместе с ребятами въедались в каждую мелочь, в каждый маленький прорывчик, в халтурные тенденции Соломона Борисовича, в низкое качество продукции, в брак. С каждым днем осложняясь, производственный опыт коммунаров начал критически покусывать Соломона Борисовича, и он возмущался:

— Что это такое за новости! Они уже все знают? Они мне говорят, как делается на ХПЗ,— они что-нибудь понимают в ХПЗ?

Впереди вдруг засветился общепризнанный лозунг: «Нам нужен настоящий завод».

О заводе стали говорить все чаще. По мере того как на нашем текущем счету прибавлялась одна тысяча за другой, общие мечты о заводе разделились на более близкие и более возможные подробности. Но это уже происходило в более позднюю эпоху.

Дзержинцы часто встречались с горьковцами. По выходным дням они ходили в гости друг к другу целыми отрядами, сражались в футбол, волейбол, городки, вместе купались, катались на коньках, гуляли, ходили в театр.

Очень часто колония и коммуна объединялись для разных походов — комсомольских, пионерских маневров, посещений, приветствий, экскурсий. Я особенно любил эти дни, они были днями моего настоящего торжества. А я уже хорошо знал, что это торжество последнее.

В такие дни по колонии и коммуне отдавался общий приказ, указывались форма одежды, место и время встречи. У горьковцев и у дзержинцев была одинаковая форма: полугалифе, гамаши, широкие белые воротники и тюбетейки. Обыкновенно я с вечера оставался у горьковцев, поручив коммуну Киргизову. Мы выходили из Куряжа с расчетом истратить на дорогу три часа. Спускались с Холодной горы в город. Встреча всегда назначалась на площади Тевелева, на широком асфальте у здания ВУЦИКа.

Как всегда, колонна горьковцев в городе имела вид великолепный. Наш широкий строй по шести занимал почти всю улицу, захватывая и трамвайные пути. Сзади нас становились в очередь десятки вагонов, вагоновожатые нервничали, и неутомимо звенели звонки, но малыши левого фланга всегда хорошо знали свои обязанности: они важно маршируют, немного растягивая шаг, бросают иногда хитрый взгляд на тротуары, но ни трамваев, ни вагоновожатых, ни звонков не удостаивают вниманием. Сзади всех идет с треугольным флажком Петро Кравченко. На него с особенным любопытством и симпатией смотрит публика, вокруг него с особенным захватом вьются мальчишки, поэтому Петро смущается и опускает глаза. Его флажок трепыхается перед самым носом вагоновожатого, и Петро не идет, а плывет в густой волне трамвайного оглушительного трезвона.

На площади Розы Люксембург колонна наконец освобождает трамвайные пути. Вагоны один за другим обгоняют нас, из окон смотрят люди, смеются и грозят пальцами пацанам. Пацаны, не теряя равнения и ноги, улыбаются вредной мальчишеской улыбкой. Почему бы им и не улыбаться? Неужели нельзя пошутить с городской публикой, устроить ей маленькую каверзу? Публика своя, хорошая, не ездят по нашим улицам бояре и дворяне, не водят барынь под ручку раскрашенные офицеры, не смотрят на нас с осуждением лабазники. И мы идем, как хозяева, по нашему городу, идем не «приютские мальчики» — колонисты-горьковцы. Недаром впереди плывет наше красное знамя, недаром медные трубы наши играют «Марш Буденного».

Мы поворачиваем на площадь Тевелева, чуть-чуть подымаемся в горку и уже видим верхушку знамени дзержинцев. А вот и длинный ряд белых воротников, и внимательные родные лица, команда Киргизова, вздернутые руки и музыка. Дзержинцы встречают нас знаменным салютом. Еще секунды — наш оркестр прервал марш и грохнул ответное приветствие.

Только одну секунду, пока Киргизов отдает рапорт, мы стоим в строгом молчании друг против друга. И когда рушится строй и ребята бросаются к друзьям, жмут руки, смеются и шутят, я думаю о докторе Фаусте: пусть

этот хитрый немец позавидует мне. Ему здорово не повезло, этому доктору, плохое он для себя выбрал столетие и неподходящую общественную структуру.

Если мы встречались под выходной день, часто, бывало, ко мне подходил Митька Жевелий и предлагал:

— Знаете что? Пойдем все к горьковцам. У них сегодня «Броненосец «Потемкин». А шамовки хватит...

И в эти дни поздним вечером мы будили Подворки маршами двух оркестров, долго шумели в столовой, в спальнях, в клубе, старшие вспоминали штормы и штили прошлых лет, молодые слушали и завидовали.

С апреля месяца главной темой наших дружеских бесед сделался приезд Горького. Алексей Максимович написал нам, что в июле специально приедет в Харьков, чтобы пожить в колонии три дня. Переписка наша с Алексеем Максимовичем давно уже была регулярной. Не видя его ни разу, колонисты ощущали его личность в своих рядах и радовались ей, как радуются дети образу матери. Только тот, кто в детстве потерял семью, кто не унес с собой в длинную жизнь никакого запаса тепла, тот хорошо знает, как иногда холодно становится на свете, только тот поймет, как это дорого стоит — забота и ласка большого человека, человека — богатого и щедрого сердцем.

Горьковцы не умели выражать чувства нежности, ибо они слишком высоко ценили нежность. Я прожил с ними восемь лет, многие ко мне относились любовно, но ни разу за эти годы никто из них не был со мною нежен в обычном смысле. Я умел узнавать их чувства по признакам, мне одному известным: по глубине взгляда, по окраске смущения, по далекому вниманию из-за угла, по чуть-чуть охрипшему голосу, по прыжкам и бегу после встречи. И я поэтому видел, с какой невыносимой нежностью ребята говорили о Горьком, с какой жадностью обрадовались его коротким словам о приезде.

Приезд Горького в колонию — это была высокая награда. В наших глазах, честное слово, она не была вполне заслужена. И эту высокую награду нам присудили в то время, когда весь Союз поднял знамена для встречи великого писателя, когда наша маленькая община могла затеряться среди волн широкого общественного чувства.

Но она не затерялась, и это трогало нас и нашей жизни сообщало высокую ценность.

Подготовка к встрече Горького началась на другой день после получения письма. Впереди себя Алексей Максимович послал щедрый подарок, благодаря которому мы могли залечить последние раны, которые еще оставались от старого Куряжа.

Как раз в это время меня потребовали к отчету. Я должен был сказать ученым мужам и мудрецам педагогики, в чем состоит моя педагогическая вера и какие принципы исповедую. Поводов для такого отчета было достаточно.

Я бодро подготовился к отчету, хотя и не ждал для себя ни пощады, ни снисхождения.

В просторном высоком зале увидел я, наконец, в лицо весь сонм пророков и апостолов. Это был... синедрион, не меньше. Высказывались здесь вежливо, округленными любезными периодами, от которых шел еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и просиженных кресел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни маститых имен, ни великих открытий. С какой стати они носят нимбы и почему у них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, а на их усах еще висели крошки только что съеденного советского пирога.

Больше всех орудовал профессор Чайкин, тот самый Чайкин, который несколько лет назад напомнил мне один рассказ Чехова.

В своем заключении Чайкин ничего от меня не оставил:

— Товарищ Макаренко хочет педагогический процесс построить на идее долга. Правда, он прибавляет слово «пролетарский», но это не может, товарищи, скрыть от нас истинную сущность идеи. Мы советуем товарищу Макаренко внимательно проследить исторический генезис идеи долга. Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное проявление творческих сил и наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не буржуазную категорию долга.

С глубокой печалью и удивлением мы услышали сегодня от уважаемого руководителя двух образцовых уч-

реждений призыв к воспитанию чувства чести. Мы не можем не заявить протест против этого призыва. Советская общественность также присоединяет свой голос к науке, она также не примиряется с возвращением этого понятия, которое так ярко напоминает нам офицерские привилегии, мундиры, погоны.

Мы не можем входить в обсуждение всех заявлений автора, касающихся производства. Может быть, с точки зрения материального обогащения колонии это и полезное дело, но педагогическая наука не может в числе факторов педагогического влияния рассматривать производство и тем более не может одобрить такие тезисы автора, как «промфинплан есть лучший воспитатель». Такие положения есть не что иное, как вульгаризирование идеи трудового воспитания.

Многие еще говорили, и многие молчали с осуждением. Я, наконец, обозлился и сгоряча вылил в огонь ведро керосина.

— Пожалуй, вы правы, мы не договоримся. Я вас не понимаю. По-вашему, например, инициатива есть какое-то наитие. Она приходит неизвестно откуда, из чистого, ничем не заполненного безделья. Я вам третий раз толкую, что инициатива придет тогда, когда есть задача, ответственность за ее выполнение, ответственность за потерянное время, когда есть требование коллектива. Вы меня все-таки не понимаете и снова твердите о какой-то выхолощенной, освобожденной от труда инициативе. По-вашему, для инициативы достаточно смотреть на свой собственный пуп...

Ой, как оскорбились, как на меня закричали, как закрестились и заплевали апостолы! И тогда, увидев, что пожар в полном разгаре, что все рубиконы далеко позади, что терять все равно нечего, что все уже потеряно, я сказал:

— Вы не способны судить ни о воспитании, ни об инициативе, в этих вопросах вы не разбираетесь.

— А вы знаете, что сказал Ленин об инициативе?

— Знаю.

— Вы не знаете!

Я вытащил записную книжку и прочитал внятно:

«Инициатива должна состоять в том, чтобы в порядке отступать и сугубо держать дисциплину»,— сказал

Ленин на Одиннадцатом съезде РКП(б) 27 марта 1922 года.

Апостолы только на мгновение опешили, а потом закричали:

— Так при чем здесь отступление?

— Я хотел обратить ваше внимание на отношение между дисциплиной и инициативой. А кроме того, мне необходимо в порядке отступить...

Апостолы похлопали глазами, потом бросились друг к другу, зашептали, зашелестели бумагой. Постановление синедрион вынес единодушное:

«Предложенная система воспитательного процесса есть система не советская».

В собрании было много моих друзей, но они молчали. Была группа чекистов. Они внимательно выслушали прения, что-то записали в блокнотах и ушли, не ожидая приговора.

В колонию мы возвращались поздно ночью. Со мной были воспитатели и несколько членов комсомольского бюро. Жорка Волков дорогой плевался:

— Ну, как они могут так говорить! Как это, по-ихнему: нет, значит, чести, нет, значит, такого — честь нашей колонии? По-ихнему, значит, этого нет?

— Не обращайте внимания, Антон Семенович,— сказал Лапоть.— Собрались, понимаете, зануды...

— Я и не обращаю,— утешил я хлопцев.

Но вопрос был уже решен.

Не содрогнувшись и не снижая общего тона, я начал свертывание коллектива. Нужно было как можно скорее вывести из колонии моих друзей. Это было необходимо и для того, чтобы не подвергать их испытанию при новых порядках, и для того, чтобы не оставить в колонии никаких очагов протеста.

Заявление об уходе я подал Юрьеву на другой же день. Он задумался, молча пожал мне руку. Когда я уже уходил от него, он спохватился:

— Постойте!.. А как же... Горький приезжает.

— Неужели вы думаете, что я позволю кому-либо принять Горького вместо меня?

— Вот-вот...

Он забегал по кабинету и забормотал:

— К черту!.. К чертовой матери!..

— Чего это?

— Ухожу к чертовой матери.

Я оставил его в этом благом намерении. Он догнал меня в коридоре:

— Голубчик, Антон Семенович, вам тяжело, правда?

— Ну, вот тебе раз! — засмеялся я.— Чего это вы? Ах, интеллигент!.. Так я уезжаю из колонии в день отъезда Горького. Заведование сдам Журбину, а вы, как хотите там...

— Так...

В колонии я о своем уходе никому не сказал, и Юрьев дал слово молчать.

Я бросился на заводы, к шефам, к чекистам. Так как вопрос о выпуске колонистов стоял уже давно, мои действия никого в колонии не удивили. Пользуясь помощью друзей, я почти без труда устроил для горьковцев рабочие места на харьковских заводах и квартиры в городе. Екатерина Григорьевна и Гуляева позаботились о небольшом приданом, в этом деле они уже имели опыт. До приезда Горького оставалось два месяца, времени было достаточно.

Один за другим уходили в жизнь старики. Они прощались с нами со слезами разлуки, но без горя: мы еще будем встречаться. Провожали их с почетными караулами и музыкой, при развернутом горьковском знамени. Так ушли: Таранец, Волохов, Гуд, Леший, Галатенко, Федоренко, Корыто, Алеша и Жорка Волковы, Лапоть, Кудлатый, Ступицын, Сорока и многие другие. Кое-кого, сговорившись с Ковалем, мы оставили в колонии на платной службе, чтобы не лишать колонию верхушки. Кто готовится на рабфак, тех до осени я перевел в коммуну Дзержинского. Воспитательский коллектив должен был остаться в колонии на некоторое время, чтобы не создавать паники. Только Коваль не остался и, не ожидая конца, ушел в район.

И в сиянии наград, выпавших на мою долю в это время, одна заблестела даже неожиданно: нельзя свернуть живой коллектив в четыреста человек. На место ушедших в первый же момент становились новые пацаны, такие же бодрые, такие же остроумные и мажорные. Ряды колонистов смыкались, как во время боя ряды бойцов. Коллектив не только не хотел умирать, он не хотел

даже думать о смерти. Он жил полной жизнью, быстро катился вперед по точным, гладким рельсам, торжественно и нежно готовился к встрече Алексея Максимовича.

Дни шли и теперь были прекрасными, счастливыми днями. Наши будни, как цветами, украшались трудом и улыбкой, ясностью наших дорог, дружеским горячим словом. Так же радугами стояли над нами заботы, так же упирались в небо прожекторы нашей мечты.

И так же доверчиво-радостно, как и раньше, мы встречали наш праздник, самый большой праздник в нашей истории.

Этот день наконец настал.

С утра вокруг колонии табор горожан, машины, начальство, целый батальон сотрудников печати, фотографов, кинооператоров. На зданиях флаги и гирлянды, на всех наших площадках цветы. Далеко протянулся на широких интервалах строй пацанов, на ахтырском шляху верховые, во дворе почетный караул.

В белой фуражке, высокий, взволнованный Горький, человек с лицом мудреца и с глазами друга, вышел из авто, оглянулся, провел по богатым рабочим усам дрожащими пальцами, улыбнулся:

— Здравствуй... Это... твои хлопцы?.. Да!.. Ну, идем!..

Знаменный салют оркестра, шелест пацаньих рук, пацаньи горячие очи, наши открытые души разложили мы, как ковер, перед гостем.

Горький пошел по рядам...

15. ЭПИЛОГ

Прошло семь лет. В общем все это было давно.

Но я и теперь хорошо помню, помню до самого последнего движения тот день, когда только отошел поезд, увозивший Горького. Мысли наши и чувства еще стремились за поездом, еще пацаньи глаза искрились прощальной теплотой, а в моей душе стала на очередь маленькая «простая» операция. Во всю длину перрона протянулись горьковцы и дзержинцы, блестели трубы двух ор-

кестров, верхушки двух знамен. У соседнего перрона готовился дачный на Рыжов. Журбин подошел ко мне:

— Горьковцев можно в вагоны?

— Да.

Мимо меня пробежали в вагоны колонисты, пронесли трубы. А вот и наше старое шелковое знамя, вышитое шелком. Через минуту во всех окнах поезда показались бутоньерки из пацанов и девчат. Они щурили на меня глаза и кричали:

— Антон Семенович, идите в наш вагон!

— А разве вы не поедете? Вы с коммунарами, да?

— А завтра к нам?

Я в то время был сильным человеком, и я улыбался пацанам. А когда ко мне подошел Журбин, я передал ему приказ, в котором было сказано, что вследствие моего ухода «в отпуск» заведование колонией передается Журбину.

Журбин растерянно посмотрел на приказ:

— Значит, конец?

— Конец,— сказал я.

— Так как же...— начал было Журбин, но кондуктор оглушил его своим свистком, и Журбин ничего не сказал, махнул рукой и ушел, отворачиваясь от окон вагонов.

Дачный поезд тронулся. Бутоньерки пацанов поплыли мимо меня, как на празднике. Они кричали «до свиданья» и шутя приподымали тюбетейки двумя пальцами. У последнего окна стоял Коротков. Он молча салютнул и улыбнулся.

Я вышел на площадь. Дзержинцы ожидали меня в строю. Я подал команду, и мы через город пошли в коммуну.

В Куряже я больше не был.

С тех пор прошло семь советских лет, а это гораздо больше, чем, скажем, семь лет императорских. За это время наша страна прошла славный путь первой пятилетки, большую часть второй, за это время восточную равнину Европы научились уважать больше, чем за триста романовских лет. За это время выросли у наших людей новые мускулы и выросла новая наша интеллигенция.

Мои горьковцы тоже выросли, разбежались по всему советскому свету, для меня сейчас трудно их собрать да-

же в воображении. Никак не поймаешь инженера Задорова, зарывшегося в одной из грандиозных строек Туркменистана, не вызовешь на свидание врача Особой Дальневосточной Вершнева или врача в Ярославле Буруна. Даже Нисинов и Зорень, на что уж пацаны, а и те улетели от меня, трепеща крыльями, только крылья у них теперь не прежние, не нежные крылья моей педагогической симпатии, а стальные крылья советских аэропланов. И Шелапутин не ошибался, когда утверждал, что он будет летчиком; в летчики выходит и Шурка Жевелий, не желая подражать старшему брату, выбравшему для себя штурманский путь в Арктике.

В свое время меня часто спрашивали залетавшие в колонию товарищи:

— Скажите, говорят, среди беспризорных много даровитых, творчески, так сказать, настроенных... Скажите, есть у вас писатели или художники?

Писатели у нас, конечно, были, были и художники, без этого народа ни один коллектив прожить не может, без них и стенной газеты не выпустишь. Но здесь я должен с прискорбием признаться: из горьковцев не вышли ни писатели, ни художники, и не потому не вышли, что таланта у них не хватило, а по другим причинам: захватила их жизнь и ее практические сегодняшние требования.

Не вышло и из Карабанова агронома. Кончил он агрономический рабфак, но в институт не перешел, а сказал мне решительно:

— Хай ему с тем хлеборобством! Не можу без пацанов буты. Сколько еще хороших хлопцев дурака валяет на свете, ого! Раз вы, Антон Семенович, в этом деле потрудились, так и мне можно.

Так и пошел Семен Карабанов по пути соцвосовского подвига и не изменил ему до сегодняшнего дня, хотя и выпал Семену жребий труднее, чем всякому другому подвижнику. Женился Семен на черниговке, и вырос у них трехлетний сынок, такой же, как мать, черноглазый, такой же, как батько, жаркий. И этого сына среди бела дня зарезал один из воспитанников Семена, присланный в его дом «для трудных», психопат, уже совершивший не одно подобное дело. И после этого не дрогнул Семен и не бросил нашего фронта, не скулил и не проклинал ни-

кого, только написал мне короткое письмо, в котором было не столько даже горя, сколько удивления.

Не дошел до вуза и Белухин Матвей. Вдруг получил я от него письмо:

«Я нарочно это так сделал, Антон Семенович, не сказал вам ничего, уж вы простите меня за это, а только какой из меня инженер выйдет, когда я по душе моей есть военный. А теперь я в военной кавалерийской школе. Конечно, это я, можно сказать, как свинья, поступил: рабфак бросил. Нехорошо как-то получилось. А только вы напишите мне письмо, а то, знаете, на душе как-то скребет».

Когда скребет на душе таких, как Белухин, жить еще можно. И можно еще долго жить, если перед советскими эскадронами станут такие командиры, как Белухин. И я поверил в это еще крепче, когда приехал ко мне Матвей уже с кубиком, высокий, сильный, готовый человек, «полный комплект».

И не только Матвей, приезжали и другие, всегда непривычно для меня взрослые люди, и Осадчий — технолог, и Мишка Овчаренко — шофер, и мелиоратор за Каспием Олег Огнев, и педагог Маруся Левченко, и вагоновожатый Сорока, и монтер Волохов, и слесарь Корыто, и мастер МТС Федоренко, и партийные деятели — Алешка Волков, Денис Кудлатый и Волков Жорка, и с настоящим большевистским характером, по-прежнему чуткий, Марк Шейнгауз, и многие, многие другие.

Но многих я и растерял за семь лет. Где-то в лошадином море завяз и не откликается Антон, где-то потерялись бурно жизнерадостный Лапоть, хороший сапожник Гуд и великий конструктор Таранец. Я не печалюсь об этом и не упрекаю этих пацанов в забывчивости. Жизнь наша слишком заполнена, а капризные чувства отцов и педагогов не всегда нужно помнить. Да и «технически» не соберешь всех. Сколько по горьковской только колонии прошло хлопцев и девчат, не названных здесь, но таких же живых, таких же знакомых и таких же друзей. После смерти горьковского коллектива прошло семь лет, и все они заполнены тем же неугомонным прибоем ребячьих рядов, их борьбой, поражениями и

победами, и блеском знакомых глаз, и игрой знакомых улыбок.

Коллектив дзержинцев и сейчас живет полной жизнью, и об этой жизни можно написать десять тысяч поэм.

О коллективе в Советской стране будут писать книги, потому что Советская страна по преимуществу страна коллективов. Будут писать книги, конечно, более умные, чем писали мои приятели-олимпийцы, которые определяли коллектив так:

«Коллектив есть группа взаимодействующих индивидов, совокупно реагирующих на те или иные раздражители».

Только пятьдесят пацанов-горьковцев пришли в пушистый зимний день в красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они принесли с собой комплект находок, традиций и приспособлений, целый ассортимент коллективной техники, молодой техники освобожденного от хозяина человека. И на здоровой новой почве, окруженная заботой чекистов, каждый день поддержанная их энергией, культурой и талантом, коммуна выросла в коллектив ослепительной прелести, подлинного трудового богатства, высокой социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы «исправления человека».

Семь лет жизни дзержинцев — это тоже семь лет борьбы, семь лет больших напряжений.

Давно, давно забыты, разломаны, сожжены в кочегарке фанерные цехи Соломона Борисовича. И самого Соломона Борисовича заменил десяток инженеров, из которых многие стоят того, чтобы их имена назывались среди многих достойных имен в Союзе.

Еще в тридцать первом году построили коммунары свой первый завод — завод электроинструмента. В светлом высоком зале, украшенном цветами и портретами, стали десятки хитрейших станков: «Вандереры», «Самсон Верке», «Гильдемейстеры», «Рейнекеры», «Мараты». Не трусики и не кроватные углы уже выходят из рук коммунаров, а изящные сложные машинки, в которых сотни деталей и «дышит интеграл».

И дыхание интеграла так же волнует и возбуждает коммунарское общество, как давно когда-то волновали

нас бураки, симментальские коровы, «Васильи Васильевичи» и «Молодцы».

Когда выпустили в сборном цехе большую сверлилку «ФД-3» и поставили ее на пробный стол, давно возмужавший Васька Алексеев включил ток, и два десятка голов, инженерских, коммунарских, рабочих, с тревогой склонились над ее жужжанием,— главный инженер Горбунов сказал с тоской:

— Искрит...

— Искрит, проклятая! — сказал Васька.

Скрывая под улыбками печаль, потащили сверлилку в цех, три дня разбирали, проверяли, орудовали радикалами и логарифмами, шелестели чертежами. Шагали по чертежам циркульные ноги, чуткие шлифовальные «Келенбергеры» снимали с деталей последние полусотки, чуткие пальцы пацанов собирали самые нежные части, чуткие их души с тревогой ожидали новой пробы.

Через три дня снова поставили «ФД-3» на пробный стол, снова два десятка голов склонились над ней, и снова главный инженер Горбунов сказал с тоской:

— Искрит...

— Искрит, дрянь! — сказал Васька Алексеев.

— Американка не искрила,— завистливо вспомнил Горбунов.

— Не искрила,— вспомнил и Васька.

— Да, не искрила,— подтвердил еще один инженер.

— Конечно, не искрила! — сказали все пацаны, не зная, на кого обижаться: на себя, на станки, на сомнительную сталь номер четыре, на девчат, обмотчиц якоря, или на инженера Горбунова.

А из-за толпы ребят поднялся на цыпочки, показал всем рыжую веснушчатую физиономию Тимка Одарюк, прикрыл глаза веками, покраснел и сказал:

— Американская точь-в-точь искрила.

— Откуда ты знаешь?

— Я помню, как пускали. И должна искрить, потому вентилятор здесь такой.

Не поверили Тимке, снова потащили сверлилку в цех, снова заработали над ней мозги, станки и нервы. В коллективе заметно повысилась температура, в спальнях, в клубах, в классах поселилось беспокойство.

Вокруг Одарюка целая партия сторонников:

— Наши, конечно, дрейфят, потому что первая машинка. А только американки искрят еще больше.

— Нет!

— Искрят!

— Нет!

— Искрят!

И, наконец, не выдержали наши нервы. Послали в Москву, ахнули поклоном старшим.

— Дайте одну «Блек и Деккер»!

Дали.

Привезли американку в коммуну, поставили на пробный стол. Уже не два десятка голов склонилось над столом, а над всем цехом склонились триста коммунарских тревог. Побледневший Васька включил ток, затаили дыхание инженеры. И на фоне жужжания машинки неожиданно громко сказал Одарюк:

— Ну вот, говорил же я...

И в тот же момент поднялся над коммуной облегченный вздох и улетел к небесам, а на его месте закружились торжествующие рожицы и улыбки:

— Тимка правду говорил!

Давно мы забыли об этом взволнованном дне, потому что давно машинки выходят по пятьдесят штук в день и давно перестали искрить, ибо хотя и правду говорил Тимка, но была еще другая правда — в дыхании интеграла и у главного инженера Горбунова:

— Не должна искрить!

Забыли обо всем этом потому, что набежали новые заботы и новые дела.

В 1932 году было сказано в коммуне:

— Будем делать лейки!

Это сказал чекист, революционер и рабочий, а не инженер, и не оптик, и не фотоконструктор. И другие чекисты, революционеры и большевики, сказали:

— Пусть коммунары делают лейки!

Коммунары в эти моменты не волновались:

— Лейки? Конечно, будем делать лейки!

Но сотни людей, инженеров, оптиков, конструкторов, ответили:

— Лейки? Что вы! Ха-ха...

И началась новая борьба, сложнейшая советская операция, каких много прошло в эти годы в нашем отече-

стве. В этой борьбе тысячи разных дыханий, полетов мысли, полетов на советских самолетах, чертежей, опытов, лабораторной молчаливой литургии, строительной кирпичной пыли и... атак повторных, еще раз повторенных атак, отчаянно упорных ударов коммунарских рядов в цехах, потрясенных прорывом. А вокруг те же вздохи сомнения, те же прищуренные стекла очков:

— Лейки? Мальчики? Линзы с точностью до микрона? Хе-хе!

Но уже пятьсот мальчиков и девчат бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую среду допусков, сферических аберраций и оптических кривых, смеясь, оглянулись на чекистов.

— Ничего, пацаны, не бойтесь,— сказали чекисты.

Развернулся в коммуне блестящий, красивый завод ФЭДов, окруженный цветами, асфальтом, фонтанами. На днях коммунары положили на стол наркома десятитысячный «ФЭД», безгрешную изящную машинку.

Многое уже прошло, и многое забывается. Давно забылся и первобытный героизм, блатной язык и другие отрыжки. Каждую весну коммунарский рабфак выпускает в вузы десятки студентов, и много десятков их уже подходят к окончанию вуза: будущие инженеры, врачи, историки, геологи, летчики, судостроители, радисты, педагоги, музыканты, актеры, певцы. Каждое лето собирается эта интеллигенция в гости к своим рабочим братьям: токарям, револьверщикам, фрезеровщикам, лекальщикам, и тогда — начинается поход. Ежегодный летний поход — это новая традиция. Много тысяч километров прошли коммунарские колонны по-прежнему по шести в ряд, со знаменем впереди и оркестром. Прошли Волгу, Крым, Кавказ, Москву, Одессу, Азовское побережье.

Но и в коммуне, и в летнем походе, и в те дни, когда «искрит», и в дни, когда тихо плещется трудовая жизнь коммунаров, то и дело выбегает на крыльцо кругдоголовый, ясноокий пацан, задирает сигналку к небу и играет короткий сигнал «сбор командиров». И так же, как давно, рассаживаются командиры под стенами, стоят в дверях любители, сидят на полу пацаны. И так же ехидно-серьезный ССК говорит очередному неудачнику:

— Выйди на середину!.. Стань смирно и давай объяснение, как и что!

И так же бывают разные случаи, так же иногда топорщатся характеры, и так же временами, как в улье, тревожно гудит коллектив и бросается в опасное место. И все такой же трудной и хитрой остается наука педагогика.

Но уже легче. Далекий, далекий мой первый горьковский день, полный позора и немощи, кажется мне теперь маленькой-маленькой картинкой в узеньком стеклышке праздничной панорамы. Уже легче. Уже во многих местах Советского Союза завязались крепкие узлы серьезного педагогического дела, уже последние удары наносит партия по последним гнездам неудачного, деморализованного детства.

И, может быть, очень скоро у нас перестанут писать «педагогические поэмы» и напишут простую деловую книжку: «Методика коммунистического воспитания».

Харьков, 1925—1935 гг.

МАРШ ТРИДЦАТОГО ГОДА

ПАМЯТНИК ФЕЛИКСУ ДЗЕРЖИНСКОМУ

ВСТУПЛЕНИЕ

Харьковская окраина. Опушка леса, красивый темносерый дом, цветники, фруктовый сад, площадки для тенниса, волейбола и крокета, открытое поле, запахи чебреца, васильков, полыни...

Здесь расположена самая молодая детская коммуна на Украине — коммуна имени Феликса Дзержинского, открытая 29 декабря 1927 года. Сто пятьдесят коммунаров (сто двадцать мальчиков и тридцать девочек) живут в великолепном доме, выстроенном специально для них.

Многие товарищи упрекали коммунаров-дзержинцев в «дворцовой жизни» и даже в барстве. Подумайте, живут в таком роскошном доме! Дом с паркетными полами, с великолепной уборной, с холодными и горячими душами, с расписными потолками...

— Разве это воспитание? Привыкнут ребята к такому дому, и душам, и паркетам, а потом выйдут в жизнь, где ничего этого нет, и будут страдать. Надо воспитывать применительно к жизненной обстановке.

Говорили еще и так:

— Рабочему человеку все это не нужно. Рабочему нужно, что поздоровее и попроще, а эти финтифлюшки ни к чему.

Коммунары, впрочем, не особенно прислушивались к этой болтовне. Они не сомневались в том, что душ — вещь хорошая, да и паркет — тоже неплохо.

В первые дни коммунары только восторгались всем этим, но вскоре оказалось, что паркет нужно беречь, что

с душем нужно обращаться умеючи, что с расписных потолков нужно ежедневно стирать пыль. Сохранение этого дома — памятника Дзержинскому, содержание его в чистоте стало делом всех коммунаров.

Наш дом достаточно велик, несмотря на то, что по фасаду он большим не кажется. Это двухэтажный темно-серый дом, без каких бы то ни было архитектурных вычуров. Только сетка вывески с золотыми буквами над фронтоном, да два флагштока над нею украшают здание. В центре — парадная дверь. От главного корпуса протягиваются вглубь три крыла, так что все здание имеет форму буквы Ш. В первый год существования нашей коммуны других зданий у нас не было, если не считать нескольких стареньких дач, в которых кое-как расположился обслуживающий персонал. На втором году коммуна построила одноэтажный длинный флигель. Теперь здесь квартиры работников коммуны и мастерские.

Войдя в дом и пройдя небольшой вестибюль, вы остановитесь перед парадной лестницей. Она довольно широка, освещена верхним окном в крыше, стены и потолок расписаны.

Нижний этаж симметричен. Направо и налево тянется светлый коридор. С каждой стороны лестницы расположено по одной комнате управления, по одному классу и по одному залу. Левый зал у нас называется «громкий» клуб. Там — сцена и киноустановка. Правый зал — столовая. Рядом с ним кухня. И в классах и в залах большие окна. В «громком» клубе собрано все то великолепие — гардины, портреты, расписные потолки и т. д.,— тлетворным влиянием которого нас попрекали. В зале рояль и хорошие венские стулья, изготовленные в нашей мастерской. В столовой пятнадцать столов, накрытых клеенкой, у каждого стола по десять венских стульев. Портреты Ленина, Сталина и Дзержинского. И больше ничего. Стена-окно отделяет столовую от кухни. В кухне — в белом колпаке Карпо Филиппович.

В классах нет парт,— двухместные дубовые столики и двухместные дубовые легкие диванчики.

Подымемся по парадной лестнице на второй этаж.

На первой площадке лестницы, под портретом Дзержинского, имеется две двери: одна из них ведет в «тихий» клуб, вторая — в спальню девочек.

У этой спальни есть своя длинная и бурная история.

Окна выходят на север, пол не паркетный, и, главное — комната очень велика. Наши ребята против больших спален.

Первыми здесь поселились ребята одиннадцатого отряда, все — малыши и новенькие. Постоянное отставание этого отряда во всех решительно областях, неряшливый, некоммунарский вид Петьки Романова, Гришки Соколова, Мизяка, Котляра, Леньки и других «пацанов», вечные разговоры на общих собраниях и в совете командиров о том, что одиннадцатый отряд надо подтянуть, различные мероприятия вплоть до лишения малышей права выборов командира,— все это достаточно всем надоело. Летнее избирательное собрание 1929 года назначило в одиннадцатый отряд командира из старших, комсомольца, но он скоро, не справившись с заданием, категорически заявил на собрании, что лучше будет целый год чистить уборные, чем командовать «этой братвой». Начались бурные собрания, одно за другим, на которых заведующий крыл комсомольцев за то, что забросили «пацанов», а коммунар Алексеенко требовал жестких законов для них. Пацаны тоже выступали на собрании и доказывали, что никто не виноват, если штаны быстро рвутся, если руки и шеи не отмываются, если постели неизвестно кем разбрасываются, если стрелы попадают не в дерево, а в окно, если полотенце почему-то оказывается не на своем месте. Но в конце концов было принято твердое решение: расформировать одиннадцатый отряд и разделить малышей между остальными десятью отрядами, состоявшими из более взрослых ребят. Совету командиров было поручено привести это решение в исполнение. Целый день продумали командиры, и, как ни вертели, все выходило, что придется девочкам покинуть свои прекрасные две спальни наверху и переселиться в одну, на место одиннадцатого отряда. В совете командиров было восемь командиров, из них только две девочки: командиры пятого и шестого отрядов. Девочки протестовали и ехидно указывали:

— Конечно, нас только двое, так вы можете что угодно постановить.

В конце концов предложили девочкам компенсацию, на которую они согласились. Купили девочкам гардины,

поставили посреди спальни большой хороший дубовый стол и дюжину стульев, на пол положили пеньковую дорожку с зелеными кантами. Обещали еще дать им трюмо, да этого обещания не исполнили по финансовым соображениям. Правда, девочки и не настаивали.

Вот почему сейчас у девочек так хорошо обставлена спальня.

В «тихом» клубе альфрейные потолки и великолепная мебель: четыре восьмигранных дубовых стола, окруженных светлыми венскими стульями. Особенно заботливо обставлены уголки Дзержинского и Ленина. «Тихим» клуб называется потому, что в нем нельзя громко разговаривать. Здесь можно читать, играть в шахматы, шашки, домино и другие настольные игры.

За клубом — комната для книг. У дзержинцев до шести тысяч томов в библиотеке.

Верхний этаж занят спальнями. Их одиннадцать, и почти все они одинаковы: на двенадцать — шестнадцать человек каждая. В широком коридоре и во всех спальнях — паркетные полы. Все кровати — на сетках и покрашены под слоновую кость. Комнаты все очень высокие, много воздуха и солнца.

В том же здании, внизу — мастерские, о которых еще много придется говорить, а на втором этаже — больничка-амбулатория и две-три кровати на всякий случай. Но коммунары редко болеют, и эти кровати стоят пустыми. Наш лекпом поэтому занимается больше врачебными разговорами и воспоминаниями о своей прежней медицинской деятельности, когда он был подручным у какого-то светила и затмевал это светило благодаря своему таланту и удачливости. Ребята лекпому не верят и смеются.

КАК МЫ НАЧАЛИ

Обычно детские дома, колонии, городки помещаются в старых монастырях или в бывших помещичьих гнездах. За время революции многие из этих ветхих построек обратились в развалины. Прежде чем размещать в них детей, приходилось восстанавливать разрушенное. Окрестные плотники и жестяники, производившие ремонт, ходили по имениям со своим нехитрым инструментом, ук-

рашая строения свежими сосновыми заплатами и доморощенными пузатыми печами. По уютным когда-то комнаткам размещались объекты социального воспитания. Для них расставлялись шаткие проволочные кровати, и на вбитых в стены четырехдюймовых гвоздях развешивались грязные полотенца. Те же плотники в честном порыве втиснули в расшатавшийся паркет новые сосновые ингредиенты, и под бдительным оком санкомов заходили по паркету половые тряпки, обильно смачиваемые грязной водой. Крылечки, предназначенные для нежных ножек тургеневских женщин, и перильца, на которые должны были опираться нежные ручки, не могли выдержать физкультурных упражнений неорганизованной молодежи, и зимою их обломки дослуживали последнюю службу человечеству: с аппетитом пожирал сухое дерево разложенный в печах огонь. Удобные для размещения ампирных диванчиков и различных пуфов небольшие комнатки не соответствовали новым требованиям. Многочисленные переборки и простенки были серьезным недостатком общежитий. Они были зачастую столь стары, что из них вываливались гвозди, и домашние штукатуры напрасно прибавляли к их толщине два-три вершка глины. Они стояли до поры до времени, эти бугристые изнемогавшие стены. «Клифтами» [1], штанами, рукавами и плечами вытирался мел, которым ребята белили стены. Обваливалась глина. Наступал момент, когда явственно обнажался древесный скелет. Последний часто использовался ребятами как топливо.

В монастырях — та же история и те же картины. Только стены в монастырях гораздо массивнее, только запахи в бывших кельях гораздо живучее: с большим трудом вытесняется приторный запах ладана. Но переборки и стены здесь разрушались скорее, крылечки в самом непродолжительном времени заменялись приставленной доской.

В монастыре детский дом прежде всего с великим увлечением приспосабливал под клуб церковь. Десятисаженные высоты и храмовые просторы страшно увлекали наших педагогов, которым представлялось: вот в этих дворцах забурлит клубная работа, вот здесь разрешатся

---

[1] Пиджаками.

все проблемы нового воспитания. Перестройка этих церквей стоила очень дорого, а результаты получались, просто говоря, неудовлетворительные. Летом ребят не загонишь в полутемный гулкий и неуютный зал, а зимою ничем клубный воздух не отличается от свежего зимнего. Все — потому, что когда перестраивали храм, то, оказывается, не сообразили: никакими печами и никакими тоннами топлива помещение не обогреешь.

Полуподвальная трапезная со стенами и подоконниками шириною в полторы сажени, с нависшими сводами, обставленная древними столами длиною в четверть километра, конечно, обращалась в столовую. Она трижды в день наполнялась шумливой и нетерпеливой толпой, и поэтому никогда не находилось времени убрать столовую как следует. Пыльные окна скоро становились целыми государствами пауков, кое-как прикрытые мелом масляные спасители, богородицы и чудотворцы начинали одним глазом подсматривать за ребятами, а потом доходили до такой смелости, что и бороды их и благословляющие персты безбоязненно окружали ребячью толпу.

И в имениях и в монастырях очень много построек — домов, домиков, флигелей, складов. Как посмотрит, бывало, организатор на эти хоромы и на эти коридоры, так и себя не помнит. Но жадные на помещение педагоги просчитываются на этом обилии. Сотни детей через месяц уже сидят на всех подоконниках. Оказывается, что разместились не совсем удобно, что это нужно перестроить, а это построить наново, а это перенести. Целое лето энергичный организатор торгуется с плотниками и печниками. На осень разместятся по-иному. Но зимою в колонию приходит новый организатор, у которого новые вкусы. Начинаются стройки и перестройки. Действительно, все это богатство представляет просторное поле для деятельности. И так бесконечно перестраивается колония, но самого главного в ней всегда нехватка: теплых уборных нет, водопровода нет, электричества нет, и канализации нет, и нет никакого органического единства и никакой гармонии. Игра вкусов на протяжении пяти-десяти лет настолько запутывает, что в последнем счете — все по-прежнему неудобно и неуютно. В течение целого дня сотни ребят бродят из дома в дом, ибо в одном доме столовая, в другом — школа, в третьем — ма-

стерские, в четвертом — клуб, в пятом — спальни, а в шестом — управление, и ни в одном из этих домов нет вешалки, а если и есть, то никто эту вешалку не охраняет. Никому не хочется остаться без пальто, без фуражки, и бродят ребята по колонии, не раздеваясь в течение всего дня. Надворные уборные в самый короткий срок делаются непригодными для прямого своего назначения, и зимой используют их все для того же отопления. В наскоро приспособленных умывальных всегда налито, напачкано,— не лучше, чем в уборных. Так, несмотря на все ремонты и перестройки, отнимающие огромные средства, все это старье все-таки постепенно разрушается, осыпается и обваливается, пока наконец спасительный пожар не уничтожает последние остатки старого мира и пока, следовательно, детский дом не переводится в другое место.

Наш дом выстроили чекисты Украины за счет отчислений из своей заработной платы. Чекисты создали памятник великому Дзержинскому. Они обнаружили ясность и четкость в понимании задачи, последовательность и решительность в ее выполнении.

В конце декабря 1927 года наш дом был готов и оборудован. Были расставлены кровати, в клубах повешены гардины и закончены художниками уголки. В библиотеке на полках стояло до трех тысяч книг, в столовой и на кухне все было приготовлено, и сам Карпо Филиппович был на месте. Кладовые были наполнены всем необходимым. И только когда все это было готово, в коммуну приехали первые коммунары.

По этому поводу многие товарищи говорили: не по правилам сделано, ни на что не похоже, педагогической наукой и не пахнет.

Мы и раньше не раз слышали такие проповеди:

— Не нужно ребятам давать все в готовом виде. Не нужно им все до конца строить и оборудовать. Пусть детский коллектив собственными руками сделает себе мебель, украсит свой дом, вообще пусть он станет на путь самоорганизации, самообслуживания, самооборудования,— только тогда у нас воспитается настоящий инициативный человек-творец.

Как прекрасно звучат все эти слова!

Но ведь дело не только в словах.

Мы не против самоорганизации и самооборудования, пусть никто не обвинит нас в педагогическом оппортунизме.

Изготовить, скажем, мебель, столы, скамьи или даже стулья — это, конечно, очень хорошо. Но для этого нужно уметь это изготовить.

Если ты не умеешь сделать стол, то ты его и не сделаешь, а если сделаешь, то дрянной, и уйдет на это больше времени и больше средств, чем на покупку стола в магазине. И еще: не сделает этого стола не только ребенок, но и сам хитроумный организатор, который придумал именно такой порядок самооборудования. При таком мучительном способе самооборудования как раз никаких воспитательных достижений не получится. Наоборот, можно сказать с уверенностью, что самые талантливые ребята через месяц возненавидят вас за то, что их заставили спать на полу и обедать на подоконнике, что заставили их делать то, чего они не умеют делать.

Но доказать эти простые вещи не так уж легко. Многим педагогам очень приятно показать посетителям рукой на все окружающее и сказать:

— Это дети сами сделали.

— В самом деле? Ах, какая прелесть! Действительно, как интересно!.. Как же вы этого добились?

...и тогда изложить свои восхитительные приемы:

— Очень просто, знаете... Когда дети сюда прибыли, мы им ничего не дали, мы им сказали: сделайте себе все своими силами!

Мы хотели бы таким педагогам посоветовать:

— Почему бы вам самим на себе не испытать всю прелесть этого метода? Ведь если это вообще полезно, то полезно будет и для вас: может быть, и у вас прибавится инициативы и творческого опыта. Попробуйте вместе с вашими восторгающимися посетителями поселиться в пустых комнатах и самооборудуйтесь — сделайте себе столы и табуретки, сшейте одежду и т. п.

Дзержинцы вошли в готовый и оборудованный дом. Им предоставлено было все то, что нужно для мальчика и девочки: забота, чистота, красивые вещи, уют — все то, чего они давно были лишены и что должны по праву иметь все дети. Никто не захотел производить над ними неумных, жестоких и ожесточающих опытов.

ПЕРВЫЕ ДЗЕРЖИНЦЫ

Мы решили, что не стоит сразу впускать в дом толпу с улицы и потом смотреть, как будет разрушаться общежитие. Первые отряды дзержинцев были организованы из ребят, живших в колонии имени М. Горького. Это не значит, что мы выбрали из числа горьковцев самых лучших и организованных ребят и оставили колонию в руках новичков и социально запущенных. Отряды первых дзержинцев заключали в себе и сильных, и слабых ребят и даже ребят, довольно сомнительных в смысле пригодности их для роли организаторов нового дела. Но все они уже были связаны общей горьковской спайкой.

Из состава горьковской колонии было выбрано для колонизации Нового Харькова шестьдесят колонистов, в том числе пятнадцать девочек. Уже за три недели до переезда эти ребята были выделены советом командиров горьковской колонии и приняли участие в подготовке своего переезда. В мастерских горьковской колонии была изготовлена новая одежда, и 26 декабря все шестьдесят человек, нарядившись в новые костюмы и попрощавшись с колонистами, в снежный зимний день тронулись навстречу новой жизни.

Вошли они в новый дом все запушенные снегом, пухлые и толстенькие, какими не привыкли у нас видеть беспризорных. Бобриковые пальто еще больше толстили их.

Большинство первых дзержинцев были в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, но попадались между ними и старые горьковцы, представители первых полтавских поколений этого прекрасного племени.

Здесь были:

Виктор Крестовоздвиженский — мастер и работать, и командовать, и веселиться, человек, преданный самой идее детской коммуны, обладавший исключительными способностями организатора: прекрасной памятью, способностью схватывать сразу множество вещей, привычкой к волевому напряжению. К тому же Виктор был очень искренним и благородным человеком. Единственным его недостатком, унаследованным от первых времен беспризорщины, было пренебрежение к школе. Он всегда презрительно относился к стремлению многих ребят по-

пасть на рабфак и в глубине души считал рабфаковцев «панычами».

Митя Чевелий — «корешок» Виктора — многим отличался от него, но был его постоянным спутником на жизненном пути. Это был идеальный горьковец, подтянутый, стройный и немногословный. Дмитрий был крепко убежден в ценности и колонии и коммуны. Он видел очень много детских домов, принимал даже участие в реорганизации некоторых разваленных колоний. Он был очень хорош собою, но никогда не козырял этим и к девушкам относился чрезвычайно сдержанно.

И Виктору и Дмитрию было лет по семнадцати.

Третьим нужно назвать Кирилла Крупова, тоже «старика-полтавца». Кирилл всегда был очень способным и в настоящее время учится в одном из вузов Харькова. Неизменно активный, он был в комсомольской ячейке одним из самых видных членов. Правда, на него иногда нападало легкомысленное настроение. Он очень любил начать вдруг возню. Его желание встряхнуться после работы выражалось в диких прыжках и сумасшедшей беготне, причем ему далеко не всегда удавалось избежать столкновения с вещами и с людьми. Бывали у него минуты, когда на него «находило». Вдруг он становился забывчивым и недисциплинированным. После ему приходилось отдуваться на общих собраниях наравне с малышами. Но в общем это был хороший товарищ и прекрасный коммунар.

Павлуша Перцовский, любимец всех коммунаров, человек удивительно добрый, но с твердыми убеждениями. Такие люди, как он, сильны прежде всего тем, что умеют от чего угодно отказаться и с чем угодно примириться, если это касается материальных условий.

Вот Николай Веренин — это совсем другой человек. Пришел он к нам жадненьким и весьма нечистым на руку. Между словами «купить», «выменять», «отнять», «украсть» он не видел никакой качественной разницы и избирал всегда тот способ, который был наиболее удобным. Жизнь в горьковском коллективе, чрезвычайно настойчивом и не боявшемся никаких конфликтов, подействовала на Веренина только в том смысле, что заставила его быть гораздо осторожнее. Веренин был парень очень неглупый. Уже в колонии Горького он был в стар-

шей группе и считался одним из самых образованных коммунаров. Он умел объединить нескольких невыдержанных товарищей, чтобы вместе с ними начать игру в карты, проникнуть в кладовку, организовать наблюдение за тем, что плохо лежит, и т. д. Новичков Веренин в первый же день брал на свое попечение и эксплуатировал их, как только было возможно. Использовал он и коекого из ребят постарше, тех, кто поглупее. В числе таких был Охотников, которого ребята назвали «удивительная балда». Однако политика Веренина еще в колонии Горького начала срываться. Его выкинули из комсомола и стали смотреть на него как на последнего человека.

В самый день переезда новых дзержинцев из Куряжа в Новый Харьков Веренин был назначен сопровождать воз с ботинками. И, конечно, пара ботинок исчезла неизвестно куда. Веренин был не один,— с ним был Соков, спокойный и стройный мальчик, самим своим видом внушавший к себе доверие. Веренин указывал на то, что с ними был конюх, и им нужно было отлучаться от подводы по делам. В первый же день в коммуне Дзержинского пришлось разбирать такое грязное дело.

Свою жизнь в новом доме мы начали с организации самоуправления.

Как только коммунары разделись и наскоро ознакомились со зданием коммуны, Крестовоздвиженский взялся за сигнальную трубу, предусмотрительно купленную накануне. Впервые в нашем дворце зазвенели звуки старого сигнала, так всем хорошо знакомого, такого зовущего и такого непреклонного:

«Спеши, спеши, скорей!»

Оживленные, радостные ребята, восхищенные и домом и новизной своих костюмов, сбежались в зал «громкого» клуба. Витька, вытирая ладонью мундштук сигналки, засмеялся:

— Хорошо! Проиграл один раз — и все на месте.

Действительно, в колонии Горького, чтобы собрать общее собрание, да еще такое экстренное, пришлось бы с трубой в руках обходить все корпуса и закоулки.

В «громком» клубе на новых диванах киевской работы расселись шестьдесят новых коммунаров.

На собрании мы занялись подсчетом: для слесарной нужно две смены, для столярной две смены, для швейной две смены,— вот уже шесть отрядов. Еще сапожная мастерская — тоже выходит два отряда, но относительно нее были сомнения.

— Тут такие мастерские и машины, что никто не захочет идти в сапожную,— говорили ребята.

Наметили и еще один отряд — хозяйственный. По горьковскому плану в этот отряд входили ключники, завхозы, кладовщики, секретарь совета командиров и вообще все должностные лица колонии или ребята, имеющие индивидуальную работу.

Решили на собрании, что каждый коммунар сейчас же напишет на клочке бумаги, в какой мастерской он желает работать, а совет командиров немедленно соберется и рассмотрит все эти записки. Совет командиров выбрали тут же на собрании и поручили ему распределить по отрядам командиров. Выбрали и секретаря совета — Митю Чевелия. Первыми нашими командирами были: Крестовоздвиженский, Нарский, Соков, Перцовский, Шура Сторчак и Нина Ледак.

Только тронулись все из «громкого» клуба, а Витька уже затрубил «сбор командиров».

Коммунары разошлись по коммуне, главным образом по мастерским, где их ожидали новенькие станки — токарные, сверлильные, шепинги, фрезерные, долбежные.

А в комнате совета Митя Чевелий оглядел всех шестерых своими черными глазами и сказал ломающимся баском:

— Совет командиров трудовой коммуны имени Дзержинского считаю открытым.

Михайло Нарский, самым видом своим противоречащий всякому представлению о торжественности, сказал, весело шепелявя:

— Хиба ж это совет командиров? Шесть каких-то человек! От, понимаешь, даже смешно! Вот в колонии хиба ж так?

Но Митя сердито оборвал его:

— Если тебе смешно, так выйди в коридор и посмейся.

Нарский смущенно наклонил голову и сказал:

— Та я шо ж? Я ж ничего... Так только...

Долго пришлось просидеть за столом совету команди-

ров, распределяя коммунаров по отрядам, учитывая все личные особенности и желания, считаясь и с требованиями заведующего производством. Особенно трудно было с сапожной мастерской: никто не хотел посвятить свою жизнь сапожному делу. Пришлось в скором времени мастерскую закрыть.

Занялись и Верениным. Недолго бузил Николай, повинился в грехе, и сказал ему Митька:

— Ото ж, щоб було в послідній раз, бо не знаю, що тобі зроблю!

И удивительно! — как священный завет принял Веренин слова Митьки: сегодняшний случай с Николаем действительно оказался последним.

ПЕРВЫЙ ОТРЯД

В коммуне теперь двенадцать отрядов.

Первичным коллективом на производстве в коммуне всегда был отряд коммунаров, а не класс или спальня.

По нашей системе, вся группа коммунаров, работающая в той или другой мастерской в одну из смен, составляет отряд.

Таким образом, у нас получилось:

Первый отряд — токарно-слесарный цех первой смены.

Второй отряд — тот же цех второй смены.

Третий отряд — столяры первой смены.

Четвертый отряд — столяры второй смены.

Пятый отряд — швейная мастерская первой смены.

Шестой отряд — швейная мастерская второй смены.

Седьмой отряд — литейный цех первой смены.

Восьмой отряд — литейный цех второй смены.

Одиннадцатый отряд — никелировщики первой смены.

Двенадцатый отряд — никелировщики второй смены.

Только десятый отряд соединяет в себе «шишельников» обеих смен, так как разбивать их было нецелесообразно,— слишком маленькие получились бы отряды.

Девятый отряд — запасный: он посылает помощь остальным отрядам, если кто-нибудь заболеет или командируется на работу на сторону. Обычно в девятый отряд входят те коммунары, которые еще не определили

своих симпатий в производственном отношении, или новенькие. Новеньким дают возможность присмотреться и попробовать себя на работе.

Некоторые из отрядов сложились уже в крепкие коллективы; другие, напротив, никак не подберут постоянного состава. Сейчас первые шесть отрядов состоят из ребят, давно живущих в коммуне.

По сменам коммунары распределились в зависимости от принадлежности к школьной группе. В коммуне в последнем учебном году было шесть групп семилетки: одна третья, две четвертых, две пятых и одна шестая.

Самый заслуженный и лучший отряд в коммуне — это первый. За восемь месяцев междуотрядного соцсоревнования три месяца победителем был этот отряд.

В первом отряде подобрались знающие ребята, лучшие наши металлисты, старые коммунары. Из четырнадцати человек в отряде семеро уже проходили командирский стаж, некоторые — по нескольку раз. Многие занимают теперь более ответственные посты — заместителя заведующего, членов санкомов (а в санком всегда выбирается самый подтянутый и чистоплотный коммунар). Первый отряд носит почетное звание комсомольского, так как он составлен исключительно из комсомольцев.

Командует отрядом Фомичев. Он избирается на командирский пост уже не первый раз.

Фомичев — веселый и неглупый парень, бесспорный кандидат на рабфак, способный производственник. Только недавно он вместе с Волчком перешел на токарный станок — и вот теперь уже Фомичев и Волчок идут первыми по токарному отделению и перегнали даже самого заслуженного нашего токаря, Воленка. И Волчок и Воленко — оба в первом отряде. У них несколько странные отношения. Они по ряду причин не любят друг друга, но стараются не показать этого в коммуне. Воленко изрядно завидует успехам Волчка в токарном цехе, завидует его исключительному положению в коммуне.

Волчок — общий любимец и общепризнанный авторитет. Этот семнадцатилетний мальчик уже давно в комсомоле, всегда он расположен ко всем, всегда улыбается и в то же время подтянут и по-коммунарски подобран. Он — старый командир оркестра и умеет держать его в руках, несмотря на то, что в оркестре подобрался на-

род, имеющий большой вес в коммуне. Коммунары в восторге от музыкальных талантов Волчка. Действительно, он — незаурядный музыкант. Он ведет партию первого корнета, освобожден педагогическим советом от занятий в нашей школе и ежедневно посещает Музыкальный институт, готовится к серьезной работе по классу духового оркестра. Коммунары давно привыкли к своему оркестру, тем не менее они всегда собираются послушать, как выводит Волчок свои замечательные трели. За такое мастерство коммунары могут простить много грехов. Волчок умеет руководить, не потрафляя никаким слабостям товарищей и не вызывая к себе неприязненного чувства. Вот почему, когда Волчок командовал отрядом, отряд так легко захватил коммунарское знамя, удерживал его три месяца и сдал пятому отряду с боем.

Сейчас Волчок подчиняется Фомичеву как командиру отряда, но Фомичев играет на баритоне в оркестре и подчиняется Волчку как командиру оркестра. И если Волчок в отряде безупречен, то нельзя того же сказать о Фомичеве в оркестре. Опоздать на сыгровку, потерять мундштук, нотную тетрадь, иногда побузить во время игры — для Фомичева не редкость. Наш капельмейстер Тимофей Викторович раз даже просил его уйти из оркестра.

Волчку не раз приходилось призывать Фомичева к порядку, иногда даже представлять в рапорте вниманию высших органов коммуны.

Но у Фомичева мягкий характер. Он всегда добродушен, никогда не обижается на Волчка и вечно обещает ему, что «этого больше не будет». Трудно ему пересилить свою легкомысленную и немного дурашливую природу. Но он так же любит Волчка, как и все коммунары, и сколько Волчок ни отказывался, Фомичев все же настоял в совете командиров, чтобы Волчка назначили его помощником по отряду.

Недавно первый отряд должен был поливать клумбы перед зданием коммуны. Командир не сумел это дело организовать как следует: не распределил работы между коммунарами, не успел согласовать ее с другими работами отряда, не учел отпускных расчетов по отряду в день отдыха, не получил вовремя леек, не наладил брандспойтов и вообще запутал дело так, что хоть зови

следователя. Вышло все это не потому, что не хватало у него сообразительности, а просто по его халатности и забывчивости.

Получился полный беспорядок. Коммунары здорово обиделись на своего командира.

Волчок, с улыбкой наблюдая неразбериху в работе отряда, говорит Фомичеву:

— Чудак же ты! Как же ты назначаешь парня к брандспойту на шесть часов вечера, если он с пяти стоит на дневальстве в лагерях.

Командир сердится и кричит:

— Вы все только разговариваете, а я должен каждого просить! Боярчук на дневальстве? Хорошо. А почему Скребнев не мог взять кишку? Ты их защищаешь, а они радуются.

Волчок снова, спокойно:

— Вот чудак! Ну, как тебе не стыдно? Разве Скребнев справится с брандспойтом? Он его и не подымет. Ты сообрази.

Фомичев в таких случаях именно сообразить и не может. Он «парится» и кричит, хватает первого встречного, уже и без того злого:

— Боярчук, иди на клумбу!

Хитрый и смешливый рыжий Боярчук поворачивает к командиру свою веснушчатую физиономию и, дурашливо уставившись на него, говорит ехидно:

— На клумбу идти? А ты ж сказал, чтобы я бочки прикатил...

Все начинают смеяться.

Тогда, в полной запарке, Фомичев приказывает:

— Нечего долго разговаривать! Бери ты, Волчок, брандспойт.

Волчок заливается смехом:

— Вот чудак, все я да я: и вчера я и позавчера я! Чего ты все на меня?.. Ну, хорошо, что с тобой делать?

И до поздней ночи возится Волчок с клумбой, наполняет бочки водой, расстилает для просушки мокрый брандспойт и убирает в вестибюле, через который приходится протягивать кишку от домового крана.

Рядом с ним напряженно работает сам командир, но работой командует уже не он. Три-четыре коммунара из

отряда, приведенные в порядок веселым умным Волчком, деятельно носятся с поливалками.

Сложную и хитрую политику ведет Воленко. Это — мальчик серьезный, немного обозленный, немного недоверчивый.

Он чрезвычайно активен и вполне заслуженно носит сейчас звание дежурного заместителя. Но, занимая и этот пост, стоя наиболее близко к управлению в коммуне,— он всегда склонен подозревать всякие несправедливости, всегда готов стать на защиту кажущегося угнетенным. А так как угнетенных в коммуне нет, то Воленко часто поддерживает отдельных бузотеров и неудачников. Поддерживает он и Фомичева. Часто это приводит к конфликтам с Волчком. В голубой повязке дежурного заместителя Воленко неуязвим, его решения не подлежат обсуждению, и он этим пользуется в своей молчаливой борьбе с авторитетом Волчка.

Один раз Волчок поставил вопрос о Фомичеве перед общим собранием.

Играл наш оркестр в городе в каком-то клубе. Началась торжественная часть, весь оркестр в яме, а Фомичев пропал. Послали его искать, нашли в буфете. Говорят:

— Иди.

А он:

— Что, мне уже и отдохнуть нельзя?

— Да от чего ты будешь отдыхать? Ведь еще и не играли.

— А дорога?

Пришлось самому Волчку идти звать его. Вернувшись в оркестр, Фомичев заявил, что никак не может найти мундштука. А мундштук был в кармане пальто. Так и играли торжественную часть только с одним баритоном, а в антракте даже вызывали дежурного члена клуба, искали мундштук.

Коммунары возмутились ужасно.

Припомнили все прежние проступки Фомичева. Редько из четвертого отряда прямо предложил:

— Из-за него только позоримся всегда. Выкинуть его из оркестра, вот и все!

Фомичев хмуро стоял посреди зала и только огрызался:

— Ну что ж, и выкинь.

Волчок знал, что выкинуть нельзя, не скоро приготовишь нового баритониста, но и он пугал:

— Да и придется.

И вот тут Воленко, когда прения закончились, нанес свой удар:

— Замечание в приказе!

Волчок, чуть не плача:

— Да что ты, Воленко, замечание! Сколько уже замечаний было!

— А ты как считаешь? — спросил Воленко с подчеркнутой серьезностью.

— Как считаю?

Волчок, улыбаясь, оглянулся и снова сердито показал на своего командира:

— Вот, смотрите: стоит — как с гуся вода. Ему десяток нарядов закатить нужно, чтоб помнил.

В собрании сочувствующий гул. Но Воленко настаивал:

— Что ж тут такого? Забыл, вот и все. Не нарочно он сделал.

Председатель собрания, наконец, прекратил этот поединок. Фомичеву объявили замечание в приказе. Однако легче ему не стало. Когда отряд пришел в спальню, все напали и на Фомичева и на Воленко. Последний снял уже голубую повязку, и, следовательно, с ним спорить было можно. Да он и сам, наконец, понял, что поступил с Фомичевым слишком милостиво.

Если сравнить Фомичева, каким он был два года назад, с Фомичевым теперешним,— нельзя не поразиться такой переменой.

Он был в высшей степени ленив, неаккуратен, рассеян и груб. Несколько раз общее собрание приходило в отчаяние: выходило так, что хоть выгоняй Фомичева из коммуны.

Этого Фомичева мы воспитали и сделали из него образцового коммунара. Теперь, если напомнить ему о прошлом, он улыбнется во весь рот и скажет: «А ведь и в самом деле!» Теперь, хоть и порядочно еще недостатков у Фомичева, все же недаром его на второй срок выбрали командиром лучшего отряда. Может он многое забыть и многое перепутать, но нет лучше его в цехе:

умеет он и с мастером поговорить о разных неполадках, и всем коммунарам с ним весело и занятно. В комсомоле и разных комиссиях он, если захочет и не забудет, всякое дело сделает добросовестно и даст вразумительный отчет. Нет такого вопроса в коммуне, на который бы он не отозвался.

И еще вот что хорошо: он не обидчив и каждому члену отряда он приятель.

ПАЦАНЫ

На другом полюсе коммуны находится отряд пацанов.

В этом десятом отряде в настоящее время собраны не все пацаны. Года полтора тому назад они имели полную автономию и составляли довольно сильную общину, их было человек тридцать, занимали они отдельную спальню и выбирали себе своего командира. Я уже рассказывал, как они потеряли свою самостоятельность.

Собственно говоря, никаких преступлений и тогда пацаны не совершали. В то время их еще не пускали в производственные мастерские, а предоставляли им возможность работать в изокружке, в котором много они перепортили материалов и инструментов. В изокружке дела было очень много: модели аэропланов, паровая машина, выпиловка, разные игры, в том числе знаменитая «военная игра». Малыши, постоянно нуждаясь в «импорте» таких материалов, как бамбук, резина и пр., вели деятельные внешние сношения. Бамбук они получали у коммунарской спорторганизации и потому всегда с нетерпением ожидали очередной лыжной аварии, сопровождавшейся зачастую поломкой палок. С резиной, необходимой для изготовления аэропланных моторов, дело обстояло гораздо сложнее. Для этого поддерживались сношения с расположенным недалеко от нас авиазаводом. Скудные партии резины, достававшиеся через знакомых рабочих и комсомольцев, слабо покрывали нужду в этом материале. Однажды пацаны отправили делегацию к самому начальнику завода и с тех пор были этим необходимым сырьем обеспечены на сто процентов. Благодаря этому изокружковское дело стало поглощать у

них очень много энергии, и ее не хватало для исполнения нарядов по коммуне. А без работы в коммуне никогда ни один коммунар не оставался. В особенности часто не справлялись они с обязанностью отстаивать посты в сторожевом отряде. Главный пост этого временного (недельного) сводного отряда — в вестибюле. Дневальный обязан смотреть, чтобы в коммуну не входили чужие, чтобы все вытирали ноги, чтобы пальто вешали на вешалки, а не бросали как попало на барьеры вестибюля. Главная же задача дневального — проверять ордера в спальню. Днем вход в спальню не разрешается без ордера дежурного по коммуне. В ордере пишется, на сколько минут разрешается коммунару войти в спальню и что можно из спальни вынести. Дневальный проверяет ордер и следит за тем, чтобы предписания дежурного по коммуне были выполнены. Другие коммунары, стоя на посту, умели все это делать как-то без хлопот и скандалов. У пацанов же всегда получалось не совсем ладно. То прозевает дневальный какого-нибудь нарушителя, заглядевшись на интересное зрелище во дворе или в здании коммуны, то, напротив, проявит излишнюю энергию: покажется ему, что слишком долго кто-нибудь задержался в спальне, и он спешит туда вместе со своей винтовкой,— возникает конфликт, а в это время уже дежурный по коммуне записывает в рапорт, что дневального на посту не было. В особенности много претерпевали пацаны оттого, что в сутках так мало помещается часов. Никогда нельзя успеть сделать всех дел, которые предусмотрены планом, не говоря уж о работе сверх плана. Не только ведь заниматься в изокружке,— нужно и в школе хорошо учиться, и поиграть, и в лес пойти, и выкупаться, и зайти в совет командиров узнать новости, и свести счеты с каким-нибудь противником, и поговорить, и на дневальстве постоять, и умыться, и почиститься. Ребята не успевали всего сделать. Особенно страдали те процессы, которые не могли непосредственно заинтересовать пацанов, например, умывание, чистка ботинок и пр. К тому же в своей деятельности пацаны развивали предельные темпы, причем большинство так называемых механических препятствий преодолевали простейшим способом: перелезали через изгороди, лазили в окна, топтали цветники. Это, конечно, сказывалось и на их одежде. Выгля-

дели они иногда возмутительно с точки зрения и дежурного по коммуне и дежурного члена санкома. В результате всего этого — неизбежный рапорт, и провинившегося выводили на середину на общем собрании. Коммунары в общем относились к ним ласково, однако это не мешало требовать порядка. Совет командиров всегда считал, что виноваты в беспорядках сами наши командиры. Несколько раз предлагали малышам хороших командиров, но отряд гордо держал знамя независимости: «Зачем нам ваши командиры? У нас и своих ребят хватит». Кандидатов избирательных комиссий они отводили в особенности ретиво, и поэтому на избирательных собраниях всегда им удавалось проводить своих кандидатов.

Все это было давно.

Сейчас десятый отряд уже участвует в производстве. Он обязан представить в день тысячу четыреста «шишек».

Шишка — это сделанная из песка и воды куколка, которая при формовке вкладывается в форму, чтобы заполнить проектированную пустоту полой вещи. При литье место, занятое шишкой, медью не заполняется. Для изготовления шишек есть специальные шаблоны и формы: для кроватных углов, для масленок, для трубочек и т. п. Отряд Мизяка делится на две бригады. Каждая бригада должна приготовить в смену семьсот шишек. Приблизительной нормой на отдельного коммунара считается сто шишек за четырехчасовой рабочий день. Для шишек нужно готовить еще и проволоку, на концах которой она подвешивается внутри формы при отливке. За каждую шишку коммунар получает копейку.

Многие из членов десятого отряда теперь уже делают по двести шишек, и благодаря такой успешности у нас скоро предвидится сокращение десятого отряда и перевод старших в более серьезные цехи. Мечтают они все о токарном цехе.

В десятом отряде много замечательных ребят. Пока что расскажем только о «старом» нашем коммунаре Петьке Романове.

У Петьки есть брат Алексей, старше его на полтора года и опытнее. Но Петька к старшему брату относится с некоторым высокомерием. Алексей моложе его по коммуне, и его имя чаще попадается в рапортах, потому

что он человек излишне предприимчивый и с собственническими наклонностями.

Петьке только двенадцать лет. Родился он на Кубани. Давно уже судьба разбросала Петькину родню по свету. После небольшого беспризорного стажа попал Петька в коммуну. А через три месяца прислали из коллектора и Алексея. Петька и Алешка — низкорослые подростки, очень похожие друг на друга. Только Алешка веселее и не такой курносый. Петька же большею частью серьезен.

Как-то случилась с этими представителями фамилии Романовых с Кубани потешная история.

В тот самый день, когда привели Алешку из коллектора, пришли в коммуну два мальчика, оба черные от паровозной копоти и угля, оба «небритые и немытые», оба лет по тринадцати. Заявили они, что работали в Донбассе и теперь хотят устроиться в детском доме. Совет командиров, экстренно собранный, отнесся к ним благожелательно. Коммунары накормили и переодели их в кое-какое барахлишко, назвали их «шахтарями», но в коммуну принять отказались: шахтари были неграмотны, а у нас первой группы не было. Решили отвести их в коллектор и просить принять для отправки в какую-нибудь колонию.

Шахтари согласились. Им разрешили переночевать в клубе. Они ушли из совета командиров и заигрались где-то с ребятами.

На другой день я почему-то забыл о них. Только к вечеру вспомнил, что нужно привести в исполнение постановление совета командиров. Вызвал срочно Нарского, дал ему записку в коллектор и сказал:

— Отведешь этих шахтарей в коллектор. Вот тебе письмо совета командиров, а вот деньги на проезд.

Нарский, как всегда, с готовностью салютнул и, ответив: «Есть!» —бросился спешно исполнять поручение. Как всегда, через минуту возвратился:

— А какие это пацаны?

— Да вот те два, что вчера в совете командиров... Шахтари.

— А, знаю! — обрадовался Нарский. — Шахтари? Знаю... А где они?

— Там где-то, в саду. Разыщи и доставь в коллектор, да смотри, чтобы приняли. Без того и не возвращайся.

— Есть! — повторил Нарский и исчез.

Часа через два кто-то из командиров увидел, что Петька сидит на парадной лестнице и плачет.

— Что с тобой? Чего ты плачешь?

Петька отвернулся и перестал плакать, но разговаривать не хотел.

Коммунары почти никогда не плачут, и все кругом были уверены, что с Петькой случилось что-то серьезное.

— Расскажи, чего ты ревешь?

Петька поднялся со ступеньки, зацепился рукой за поручни и, наконец, сказал серьезно и решительно:

— Отправьте меня из коммуны.

— Почему?

— Не хочу здесь жить.

— Почему?

— Отправьте меня к брату.

Все удивились. Как будто никакого такого брата, к которому можно было бы отправить Петьку, у него не было.

— К какому брату?

— К какому! К старшему...

— А где он живет?

— Я не знаю... Я не знаю, куда вы его отправили.

— Мы отправили?.. Что ты мелешь? Ты здоров?

— Я ж видел... Нарский Мишка повел. Я ему говорю: «Куда ты его ведешь?» — А он говорит: «Не твое дело!» И повел.

— Нарский повел в город твоего брата? Одного?

— Нет, еще какого-то пацана.

Немедленно я выяснил потрясающие подробности. Нарский захватил и отвел в город одного из шахтарей и нового Романова — Алешку. Второй шахтарь продолжал играть в саду и чувствовал себя прекрасно.

Пришлось срочно организовать вторую экспедицию, отправлять второго шахтаря и возвращать Романова.

Сильно обрадовался Петька этому обороту дела. Когда экспедиция возвратилась, он долго оглядывал своего найденного вторично брата, помог ему искупаться и

переодеться, начал знакомить с коммуной. Он упросил совет командиров назначить Алешку в свой отряд.

С тех пор как Алешка и сам сделался матерым коммунаром, Петька лишил его своего покровительства. Он кроет брата на собраниях под улыбки всего зала и записывает в рапорт при всякой возможности.

Петька расхаживает по коммуне, всегда хлопотливый и занятый. Только одного он боится — экскурсий и делегаций. Боится с того времени, когда оскандалил коммуну и всю пионерскую организацию.

Приехал однажды в коммуну один из членов высокой партийной организации. Встретил в коридоре Петьку, задрал его остроносую морду вверх и спросил:

— Вот так коммунар! Ты грамотен?

— А как же! — сказал Петька.

— Может быть, ты и политграмоту знаешь?

— Ну да, знаю.

— А ты знаешь, кто такой Чемберлен?

— Знаю,— улыбнулся Петька.

— А ну, скажи!

— Председатель Харьковского исполкома.

Посетитель усмехнулся:

— Что ты говоришь? Ты, брат, ошибаешься.

Петька задумался и вдруг махнул рукой безнадежно, не видя возможности выйти из положения.

И убежал в сад.

С тех пор Петька, как только увидит экскурсию или делегацию, немедленно скрывается в лес.

УТРО В КОММУНЕ

Ночь. Все в коммуне спят, только дневальный бодрствует. В вестибюле возле памятных мраморных досок стоит небольшой дубовый диванчик. Это место дневального.

В карауле бывают по очереди все, без исключения, коммунары. Каждый дневальный стоит на карауле два часа. Совет командиров назначает на две пятидневки разводящего, который освобождается от всех работ в коммуне и обязан следить за правильностью смен дневальных и за правильным исполнением ими своих обязанно-

стей. Разводящий является начальником караула в коммуне и вечером сдает рапорт о состоянии сторожевого сводного отряда. Сторожевым отрядом считаются коммунары, дежурившие по караулу в течение дня.

Редко в этом рапорте отмечаются ошибки дневальных. Коммунары— народ дисциплинированный, и в коммуне, кажется, не было случая, чтобы дневальный не вовремя явился на пост или ушел с поста самовольно. Вот только с новенькими коммунарами бывают иногда скандалы. Заснет на дневальстве парень, а уж тогда ни один коммунар не откажется взять и унести винтовку.

Бедный страж просыпается и сразу сознает, что беда непоправима. Придется ему все утро провести в поисках винтовки, и хорошо, если удастся найти похитителя и уговорить его возвратить винтовку. В большинстве же случаев бывает, что винтовка находится уже после того, как весть о позорном поведении дневального облетит всю коммуну, и со всех сторон на сонливого стража посыплются вопросы:

— А где же твоя винтовка?

— Что же это ты оскандалился?

Однажды проезжая педагогическая комиссия пришла в ужас:

— Что это у вас за казарма? Зачем эти часовые?

Кое-как нам удалось убедить педагогов, что без часовых нам жить никак невозможно: и беспорядок будет в спальнях и грязь. Ведь в коммуну ходит много посторонних людей, которые считают, что если они принесут в коммуну каких-нибудь полкилограмма пыли и грязи, то это пустяк, о котором не стоит говорить.

Коммунары же хорошо знают, что принесенную на сапогах пыль завтра нужно убирать и щетками и тряпками, да и то, конечно, всю не уберешь,— много ее попадет в легкие.

Эти соображения немного убедили педагогов. Но тогда возник вопрос:

— А зачем ему винтовка? Стрелять-то ведь он не будет.

На этот вопрос ответить было уже труднее. И в самом деле, дневальный не будет стрелять, да и патронов у него нет. Но коммунары очень дорожат этой винтовкой в руках дневального. Это символ его значения, это

знак того, что ему доверено коллективом очень много — охрана коллектива. Коммунар знает также, что его винтовка в руках — это прообраз будущей винтовки, которую ему нужно будет взять в руки для защиты своей рабочей страны и своей революции. И если теперь ему приходится за этой винтовкой ухаживать и за нее отвечать, то это облегчит ему усвоение будущих военных обязанностей.

К тому же винтовка в руках — это просто удобно и целесообразно. Каждому проходящему — и своему и постороннему — сразу ясно, что перед ним дневальный, которому нужно подчиняться без всяких споров.

Дневальный коммунар имеет право сидеть, он должен вставать только при появлении заведующего коммуной, дежурного по коммуне и командира сторожевого отряда. Мы таким образом превращаем дневальство в гимнастику внимания и зоркости, обостряем слух и глаз и приучаем коммунара к тому молчаливому сосредоточению, которое необходимо часовому.

Та же педагогическая комиссия возмущалась:

— Ведь это же безобразие! Стоит мальчик, молчит и ничего не делает. Хоть книжку ему дайте, все-таки с пользой проведет время. Ведь так стоять страшно неинтересно.

Присутствовавший тут же представитель ГПУ, человек военный и не отравленный педагогическими «теориями», даже побледнел от удивления.

— Как вы говорите? Часовому читать книжку?.. Да разве это возможно!

Одним словом, мы совершаем это педагогическое преступление, и наш дневальный стоит с винтовкой.

Обыкновенно дневальные коммунары очень строги. В рапорте дневального отмечаются самые мельчайшие нарушения санитарной и общей дисциплины: «Баденко не закрыла за собою двери», «Котляр не вытер ноги», «У Орлова пальто без вешалки».

Сторожевой отряд имеет право всякое пальто без вешалки сдать в кладовую, и собственнику пальто после этого придется хлопотать у секретаря совета командиров — получать ордер на выдачу его пальто из кладовой.

Недавно дежуривший на дневальстве Петька Романов записал в рапорт самого заведующего производством,

всеми уважаемого Соломона Борисовича Левенсона — за то, что на предложение вытереть ноги Соломон Борисович возразил: «Зачем же? У меня ноги чистые». Пришлось Соломону Борисовичу на общем собрании коммунаров извиняться и приводить объяснения: «Занят очень, много приходится бегать, иногда и забудешь».

Много дела днем нашему дневальному, но и ночью ему скучать не приходится. Ночью в здании коммуны не остается ни одного взрослого, так как квартиры сотрудников все в других домах, а дежурства воспитателей в коммуне нет. Дневальный запирает двери, как только сотрудники разойдутся, запирает кабинет заведующего и проверяет, все ли окна в доме закрыл дежурный отряд. У вечернего дневального карточка, на которой он записывает, кого нужно будить раньше других. Эта карточка передается следующим дневальным.

Раньше всех нужно будить старшую хозяйку. Эта должность возлагается чаще на мальчиков, но название ее сохраняет по традиции женский род. Ключ от кухни хранится у старшей хозяйки, и с ее приходом начинается кухонная жизнь.

После старшей хозяйки поднимается дежурный по коммуне или — сокращенно — ДК. Отличает его красная повязка. Всех дежурных по коммуне девять. Их коллегия избирается общим собранием вместе с советом командиров на три месяца, обычно из старших коммунаров. ДК организует весь рабочий день коммуны. ДК обходит коммуну, подписывает у старшей хозяйки ордера в кладовую, проверяет все помещения коммуны и получает у дневального ключ от кабинета заведующего. Без четверти шесть дневальный будит дежурного сигналиста. Сигналистов тоже девять. Каждый ДК имеет у себя постоянного, прикрепленного к нему трубача, с которым он сработался. Трубачом в коммуне быть —дело не простое. Сигналов очень много, все они более или менее сложны, поэтому почти все трубачи набираются из оркестра.

Ровно в шесть разливается по коммуне сигнал. Это веселый дробный мотив. К нему давно подобрали слова, как и к большинству сигналов:

Ночь прошла. Вставайте, братья!
Исчезают тень и лень.
Блещет день.

За мотор,
За станок и за топор!
Нам
Встать пора к трудам!

Притихшая в предутреннем сне коммуна вдруг наполняется шумом.

Коммунары немедленно приступают к уборке. Уборочных отрядов у коммунаров нет, мы не имеем возможности отрывать от производства лишнюю рабочую силу. У нас снимаются с производства только ДК, командир сторожевого и старшая хозяйка. Уборка же производится всеми коммунарами авральным способом. Наладить эту уборку было делом далеко не легким. Только в совете командиров пятого созыва порядок уборки был выработан окончательно. Каждое утро нужно убрать всю коммуну, то есть вымыть полы там, где нет паркета, подмести, вытереть пыль на стенах и на вещах, протереть окна, поручни лестниц, убрать в уборных, вычистить медные части, поправить гардины и занавесы. Это — огромная работа, и ее вполне хватит на сто пятьдесят человек коммунаров.

Самое распределение этой работы — разделение всей территории коммуны между уборщиками и в особенности распределение орудий уборки — оказалось в свое время сложнейшей задачей, требующей изобретательности и четкости. В настоящее время работа по уборке распределяется советом командиров в очередном заседании в девятый день каждой декады, на декаду вперед. Наряд дается на отряд. Работа по уборке в том или другом пункте определяется числом очков, например:

Убрать уборную	4 очка
Убрать пыль в классе	2 »
Подмести «громкий» клуб	4 »
Вытереть пыль в «тихом» клубе	4 »
Вытереть пыль с поручней лестниц	3 »
Вытереть пыль в кабинете	1 »
Подмести кабинет	1 »
и т. д.	

В общей сложности это составляет семьдесят пять очков, то есть на каждых двух коммунаров приходится одно очко. В согласии с этим каждому отряду полагается известное количество очков, например: для десятого отряда четыре очка, потому что в отряде восемь комму-

наров, а для первого отряда — семь очков, потому что здесь коммунаров четырнадцать. Секретарь совета командиров заранее заготовляет билетики. На одной стороне билетика написано название работы, а на другой обозначено только число очков. Все эти билетики раскладываются на столе номерами вверх, и каждый командир набирает себе столько очков, сколько полагается для отряда. Очередь отрядов по выниманию билетиков все время передвигается. Если в прошлую декаду начинали с первого отряда, то теперь начинают со второго, а в следующую будут начинать с третьего. Каждому отряду предоставляется право обменяться своим билетом с другим отрядом, если будет достигнуто соглашение. Когда все такие междуотрядные соглашения закончены, секретарь совета командиров записывает, что кому попалось, и все это объявляется в приказе вечером от имени совета командиров. Копия приказа выдается санитарной комиссии. Каждый отряд получает на декаду орудия уборки. Работа по уборке считается непроизведенной, если она не сдана командиром или его помощником дежурному члену санитарной комиссии. Для этого ДЧСК обходит все помещения по приглашению отряда, внимательно проверяет, как подметен пол, как протерты стекла, как вытерта пыль. Когда все отряды уборку сдали, дежурный член санитарной комиссии подходит к ДК и рапортует ему:

— Уборка сдана.

Только после такого рапорта ДК может распорядиться о дальнейшем движении дня. Если же этого рапорта нет, день задерживается. Мы привыкли в таких случаях не «париться» и не волноваться.

Недавно третий отряд очень плохо убрал верхний коридор. Дежурный член санитарной комиссии отказался принять уборку. Третий отряд был того мнения, что уборка проведена хорошо, что пыль на батареях — дело не существенное и что ДЧСК просто придирается. Отряд сложил свои орудия производства и заявил, что уборку он повторять не будет.

ДК попробовал поговорить с отрядом по совести, но отряд заупрямился, и его командир, белобрысый парень Агеев Васька, сказал:

— Чепуха какая — пыль на батареях! Это дело генеральной уборки. Смотри ты: засунул руку черт его знает

куда! Хорошо, что она у него, как соломинка. А у нас и руки ни у кого такой нет.

Дежурный член санитарной, маленький юркий Скребнев сверкает белыми зубами.

— Смотрите, у них руки для уборки не годятся! Скоро скажете — полы не будем мыть, нагнуться никак нельзя, видите, животы какие нажили.

Швед, помощник командира, мягкий и ладный, серьезно обращается к своему командиру:

— Скажи, пускай уберут ребята. Можно послать на батареи Кольку, он просунет руку.

Агеев — руки в карманы и кивает на Скребнева:

— Записывай в рапорт! А я запишу, что ты придираешься, как бюрократ.

Сидим на диване у парадного входа, нас любопытно рассматривает умытое глазастое утреннее солнце.

Подходит ДК — маленький, подвижной и совсем юный Сопин. Он — старый коммунар и комсомолец. Он сам состоит в третьем отряде и не раз даже командовал им. Сопин усаживается рядом со мной и подымает жмурящееся лицо к солнцу.

— Вы знаете, Антон Семенович, опаздываем уже на десять минут, а эти лодыри, третий отряд, до сих пор не сдали уборки.

Я, не выпуская изо рта папиросы, так же спокойно говорю:

— Что ж ты будешь делать? Ведь это твои корешки?

— Да вот и не знаю, что делать. Понимаете, с командиром тоже ссориться не хочется.

Агеев Васька хохочет.

Налетает сердитый взлохмаченный Фомичев и орет:

— Чего вы держите? Уже давно на поверку...

Сопин непривычно для него жестко заявляет:

— Сигнала не дам, пока не скажет ДЧСК [1]. Мое дело маленькое.

Швед опять трогает за рукав Агеева:

— Пошли кого-нибудь, черт с ними! Я бы и сам пошел, да жду здесь Ваньку, он обещал сдать щетки.

Агеев отрицательно качает головой. Фомичев «парится на три атмосферы», как говорят ребята, и кричит:

---

[1] Дежурный член санкома.

— Через вас, смотри, уже четверть часа!

— Ну, хорошо,— говорит Агеев.— Уберем.

Через пять минут подходит к Сопину Скребнев и салютует:

— Уборка сдана.

Сопин кивает черной, как уголь, головой востроглазому Пащенку, и тот прикладывает сигналку ко рту. Звенят в сияющем утреннем воздухе раскатистые, бодрые призывы: «Собирайтесь все!»

Вечером в этот день ДК отмечает в рапорте: «По дежурству в коммуне все благополучно. Утром задержан завтрак на пятнадцать минут по вине третьего отряда».

Председатель собрания смотрит на командира третьего. Агеев пробует улыбаться и нехотя вылезает на середину.

— Ну, что ты скажешь? — спрашивает председатель.

— Да что я скажу?— вытягивается командир.

По тону его и по тому, как он держит в руках фуражку, чувствуется, что настроен он вяло, сказать ему нечего.

— Там эти батареи, так никак туда руку...

Он замолкает, потому что в зале смеются. Все очень хорошо знают, что тут не в руках дело. Сколько раз уже эти самые батареи проверялись санкомом!

— Больше никто по этому вопросу? — спрашивает председатель.

Все умолкают и ждут, что скажет дежурный заместитель.

ДЗ сегодня самый строгий. Это Сторчакова, секретарь комсомольской ячейки. Она всегда серьезна и неприветлива, и ничем ее разжалобить невозможно. Агеев, видно, утром забыл, кто сегодня ДЗ, иначе он был бы сговорчивее.

— Три часа ареста,— отчеканивает Сторчакова.

Агеев тянет руку к затылку.

— Садись,— говорит председатель.

После собрания Агеев подходит ко мне.

— Ну что, влопался? — спрашиваю его.

— Я завтра отсижу.

— Есть.

На другой день Агеев сидит у меня в кабинете. Читает книжку, заглядывает через окно во двор. Он арестован.

— Что, скучно? — спрашиваю я его.

— Ничего,— смеется он.— Еще час остался.

Такие оказии, впрочем, бывают чрезвычайно редко. Уборка обычно не вызывает осложнений в коллективе, настолько весь этот порядок въелся в наш быт. Вот разве только новенькие напутают. В прошлом году ДК так и не добился от новеньких уборки в вестибюле и с негодованием отметил в рапорте, что вестибюль не был убран. Оказалось потом, что ребята слово «вестибюль» поняли так, что им поручено «мести бюст», и действительно вылизали на славу бронзовый бюст Дзержинского в «громком» клубе.

Когда уборка кончена, трубач дает сигнал на поверку. По этому сигналу бегом собираются коммунары по спальням, потому что поверка не ждет, и неизвестно, с какой спальни она начинается.

Поверка это — ДЗ, ДК и ДЧСК.

При входе поверки каждый командир командует:

— Отряд, смирно!

Коммунары вытягиваются каждый возле своей кровати, и дежурный по коммуне приветствует отряд:

— Здравствуйте, товарищи!

Ему отвечают салютом и приветствием, и начинается самая работа поверки. Каждый коммунар должен доказать, что он оделся, как полагается, что он убрал постель, что у него чисто в ящике шкафа и что он не забыл почистить ботинки и помыть шею и уши. Разумеется, старших коммунаров только в шутку можно попросить:

— Повернись-ка, сынку!

Зато малышей и новеньких поверка действительно поворачивает во все стороны, заглядывает им в уши, поднимает одеяла и иногда даже просит показать, как надеты чулки и не очень ли грязны ноги.

Теперь в коммуне очень редко бывают в рапортах неожиданности по данным поверки. Только Котляра, одного из самых младших членов десятого отряда, приходится часто выводить на середину. Общее собрание уже привыкло к его страшной неаккуратности и почти потеряло надежду что-нибудь с ним сделать. Часто раздаются голоса:

— Да довольно с ним возиться! Пускай командир выходит на середину. Почему не смотрит за пацаном?

Мизяк не смотрит? Мизяк с этим Котляром возится больше любой матери. Но что тут поделаешь, если самая фигура нескладного, корявого Котляра просто не приспособлена для одежды.

До сих пор Котляр не умеет зашнуровать ботинок, а ведь живет в коммуне больше года. Штаны на нем всегда выпачканы и почему-то всегда изорваны, даром что меняют ему одежду постоянно.

Котляр на средине безучастно слушает негодующие речи и смотрит на председателя широкими рачьими глазами.

И председатель и ДЗ машут на него руками:

— Садись уже, довольно стоять.

Последней поверяют спальню девочек. Там всегда идеально прибрано. Только Сторчакова иногда скажет самой младшей:

— Покажи, как шею помыла.

Поверка окончена. Все спускаются вниз, и труба играет:

«Все в столовую!»

Завтрак.

В МАШИННОМ ЦЕХЕ

После завтрака, в половине восьмого, проиграли «на работу». Нечетные отряды идут в мастерские, четные — в школу.

В здании коммуны собираются воспитатели-учителя, к мастерским подходят рабочие и инструкторы. Через три минуты никого уже не видно в коридорах и во дворе. Только ДК в красной повязке что-то рассчитывает у дневного расписания, повешенного в коридоре внизу.

Шум затихает лишь на несколько минут. Скоро начинается новая симфония. Раньше всех закричит шипорез в машинном цехе деревообделочной мастерской. Он наполняет коммуну гулким ветровым шумом, перемежающимся с отчаянным визгом пожираемого машиной дерева. Каждый дубовый брусок начинает с громкого вскрика, потом вдруг орет благим матом и, наконец, испустив истошный последний вскрик, в стоне замирает. А вот на циркулярке дереву, видно, даже умирать приятно. Циркулярка в течение целого дня звенит веселым, тор-

жествующим звоном, аккомпанируя острому дурашливому крику дерева. Фуговальный гудит кругло и по-стариковски ворчливо.

В машинном цехе утром работают восемь коммунаров из третьего отряда. Между ними ходит, поправляет и проверяет их высокий и худой инструктор Полищук, начавший с беспризорности, а кончивший приобретением большой квалификации и вступлением в партию. У него с коммунарами отношения приятельские.

Сейчас коммуна делает большое дело, оборудует мебелью новый Электротехнический институт в Харькове. Институт открывается осенью этого года.

Много коммунаров собирается поступить на рабфак института.

Мы делаем сотни дубовых столов, стульев, табуреток, чертежных столов и пр., всего на пятьдесят тысяч рублей. Все это нужно закончить к 15 августа, и поэтому в деревообделочной мастерской «запарка».

Машинный цех буквально завален деревом, обрезками, деталями и полуфабрикатом, назначенным для сдачи в сборный цех. Целыми штабелями лежат под стенами и у машин ножки, царги, проножки, планки и прочая столярная благодать. Коммунары покрыты дубовой пылью, у них страшные и смешные запыленные очки.

Самый маленький здесь Топчий, приемыш коммуны. Как-то осенью, в темную и мокрую ночь, его папаша, селянин с Шишковки, в состоянии непозволительно веселом напоролся на часового у пороховых погребов. На первый окрик отмахнулся пьяной рукой, на второй — выразился пренебрежительно, и снял его часовой.

Черноволосый и круглоголовый Топчий — малый способный, напористый и рассудительный. Он с первых же дней, невзирая на свой рост и возраст, потребовал от совета командиров, чтобы ему дали настоящее дело. Командиры его осадили высокомерно:

— Молодой еще! Посмотрим, что из тебя выйдет.

Но уже через два месяца сказали командиры:

— Э, Топчий парень гробо́й [1].

Очень скоро назначили Топчия в третий отряд и дали ему долбежный станок. Теперь он, почти не отрыва-

---

[1] Хороший.

ясь, разделывает на этом станке шиповые пазы и отверстия для скреплений.

Самая тонкая работа в машинном цехе выпала на долю Шведа. Он — на ленточной. Швед — большой политик и оратор. Как только он прибыл в коммуну из коллектора, тотчас же обратился в совет командиров с письменным заявлением. Он писал, что хочет работать в коммунарском активе и просит дать ему такую именно работу. Это заявление возмутило и взволновало коммунаров:

— Как это, в активе? Что это, совет командиров будет актив назначать? Посмотрим, как он в мастерских поработает.

Вместе со Шведом пришел из коллектора его друг Кац.

Трудно объяснить, что могло связать Шведа и Каца. Швед умен, начитан, очень развит. Он, пожалуй, даже не в меру серьезен, только в его серьезности нет ничего напряженного и сухого. В его огромных черных глазах какая-то старая, недетская печаль. Он мягок и вдумчив. Коммунарский стиль чистоты и подтянутости он усвоил очень быстро.

Совсем другое дело — Кац. Только очень плохая семья могла воспитать и вытолкнуть в люди такого разболтанного, никчемного мальчика. Работать он не захотел. Он прямо заявил, что не собирается быть ни столяром, ни слесарем и вообще к деятельности этого рода он себя не готовит. Стыдно ему было оставаться в коммуне без работы, но в мастерских от него не было никакого толку. Зато он убивал много времени на поддерживание каких-то невыясненных связей в городе: не было дня, чтобы его кто-то не вызывал по телефону, или чтобы он не просился в отпуск по самым срочным делам. Из отпуска он приходил всегда с опозданием, и ДК с утра ругался, что нужно искать замену и кого-то передвигать с места на место. Благодаря всему этому Кацу часто приходилось выходить на середину на общих собраниях. К разным рапортам и жалобам на Каца скоро прибавились и его жалобы на коммунаров: тот толкнул, тот придирался, тот что-то сказал. На поверку выходило, что никто не виноват. Каца начали ненавидеть. Не было дня, чтобы в совете командиров или на

собрании кто-нибудь не заявлял: «Нам такие не нужны». Коммунаров доводило до остервенения высокомерие Каца и его неаккуратность: «Ленивый, грязный...»

Швед очень мучительно переживал неудачи своего товарища, тем более, что к этим неудачам присоединились и его собственные. После его заявления о желании вступить в актив над ним посмеивались, и хотя он держался крепко и никогда не попадал в рапорт, общая оценка Шведа была в коммуне невысокой. Дело кончилось неожиданным взрывом.

Тимофей Денисович, заведующий нашей школой, подал в совет командиров заявление, в котором просил назначить Шведа его помощником. У нас помощники Тимофея Денисовича зимой освобождаются от другой работы. На них лежит много обязанностей: вести учет школьной работы и посещаемости, заведовать учебниками, учебными пособиями, наглядными пособиями и музеем школы. Фактически Швед, как и его предшественники, должен был стать руководителем командиров школьных групп. Это очень почетная роль в коммуне, она требует знаний и уменья деликатно обращаться с книгами, картами, банками, ретортами и т. д. В совете командиров неохотно пошли на назначение Шведа, предлагали других кандидатов. Но против старых квалифицированных и знающих коммунаров были возражения со стороны организаторов производства, которые отказывались снимать с работы настоящих мастеров. Ребятам помоложе было бы трудно вести сложную работу с школьными группами. Наконец, настаивал на своем Тимофей Денисович. Ему уступили, хоть и неохотно.

— Ничего в коммуне не сделал, походил по сводным отрядам две недели и уже в активе. Так нельзя! Просто «латается», не хочется работать в мастерской, да и все тут.

Швед подал заявление. В нем он писал, что в коммуне есть антисемитизм, что ребята преследуют его и Каца потому только, что они — евреи. Я просил указать лица и факты, но Швед сказал, что он боится назвать фамилии. Я передал его заявление общему собранию.

Собрание было оглушено и возмущено. Действительно, заявление было явно неосновательным. В коммуне много евреев, много евреев и среди рабочих, есть и ев-

реи воспитатели. Никогда в коммуне не было национальной розни.

На собрании долго говорили о необоснованности заявления и выдвинули обвинение против Шведа и Каца в явно придирчивом и нетоварищеском отношении к коммунарам. Указывали, конечно, на плохую работу и нечистоплотность Каца, на неосторожное стремление Шведа в актив. Такие «радикалы», как Редько, высказывались прямо:

— Довольно заниматься чепухой! Они не могут указать фактов, нечего тут и разбирать. Не нравится им в коммуне, потому что здесь работать нужно,— пусть уходят, никто их не держит.

Большинство требовало, чтобы Швед назвал лиц, которых он обвиняет в антисемитизме, возмущалось его страхом.

— Что, у нас бандиты, что ли? Пусть кто-нибудь попробует здесь заниматься этим делом,— и вы увидите, чем это кончится! Вот в девятьсот двадцать восьмом году один такой нарвался из коллектора, так что́, долго с ним церемонились? В два счета вылетел. А вы какое имеете право бояться? Значит, вы не настоящие коммунары, а какие-то гости.

Коммунары евреи были также очень поражены. Юдин, Каплуновский и другие обрушились на Шведа, обвиняли его в том, что он вносит раздор в среду коммунаров, утверждали, что по отношению к себе и к другим евреям они встречали только товарищеское отношение. Высказывались на собрании по этому вопросу только старшие коммунары; малыши притихли и держались выжидательно. А между тем именно с их стороны раньше раздавались голоса против Каца.

Кончилось дело тем, что выбрали комиссию для более подробного расследования. Комиссия ничего из заявления Шведа не подтвердила, и это дало основание совету командиров на ближайшем же заседании вновь поднять вопрос о преждевременности включения Шведа в коммунарский актив.

Для меня было совершенно очевидно, что в своей жизни Швед много пережил обид на почве национальной розни, и у него выработалось уже привычное ожидание новых обид и преследований. Поэтому, вероятно,

он взял на себя и защиту Каца, который встречал неприязненное к себе отношение еще в коллекторе. К мальчику, подобному Кацу, в среде коммунаров всегда сложилось бы определенное отношение, независимо от того, к какой национальности он принадлежит.

Шведа сняли и назначили в столярную мастерскую. «Пусть поработает, тогда из него настоящий коммунар выйдет». Я не возражал, так как на самом деле это было полезно для Шведа.

Швед был крайне подавлен всей этой историей. Его удивляло и обескураживало, что он так нечаянно и неожиданно оказался в противоречии со всем коллективом. Но в то же время видно было, что он признал правоту коллектива.

В дальнейшем Швед дал доказательства и большой воли и здравого ума. Неожиданно для всей коммуны, будучи дневальным, он занес в рапорт по сторожевому отряду Каца и на собрании напал на него искренно и горячо:

— С такими коммунарами, конечно, трудно жить. Если ему говорят — покажи ордер, а он отвечает: «Ты уже заелся?» — так это не коммунар, а шпана!

Собрание довольно холодно выслушало оправдания Каца. Кацом перестали интересоваться и давно уже перестали продергивать его на собраниях. Так всегда бывает, когда в глазах коммунаров кто-нибудь становится безнадежным, когда его уже не считают членом коллектива.

Кац это тоже понял. В тот же вечер он пришел ко мне и просил отправить его к родным в Киевский округ. Совет командиров, которому я представил заявление Каца, на экстренном заседании дал согласие на этот отъезд.

Швед все-таки провожал товарища до шоссе.

С тех пор на глазах стал расти Швед. Уже через месяц совет командиров согласился на просьбу Васьки Агеева назначить Шведа помощником командира третьего отряда. Почти в то же время Швед прошел в редколлегию стенгазеты и скоро стал ее председателем. Наконец, его выбрали кандидатом в ДК, и он теперь часто носит красную повязку, выполняя ответственнейшую и труднейшую работу в коммуне. В третьем отряде, одном

из лучших отрядов коммунаров, Швед сделался общим любимцем. Товарищи гордятся его развитием, его уменьем говорить, всегда выдвигают его в разные делегации. Он теперь чувствует себя в коллективе свободно и уверенно.

1 июня третий отряд, после долгой борьбы, занял первое место, главным образом благодаря работе Шведа, на которого «старик» Агеев Васька (который, между прочим, по возрасту моложе Шведа) возложил почти все функции командования. Агеев не скрывал этого, и при торжественной передаче знамени отряду-победителю знамя принимал не сам Агеев, а Швед. Он в этот вечер был подчеркнуто ладно одет, такими же подтянутыми явились и его ассистенты. Их лица выражали сдержанное торжество и готовность серьезно бороться за свое первенство.

Швед и сейчас работает в машинном цехе столярной мастерской. Это для него оказалось во всех отношениях полезным. Даже на способе выражаться это отразилось очень положительно. Швед оставил прежнюю манеру низать одна на другую книжные фразы и щеголять утомительными, бесконечными периодами: его язык приобрел живость и простоту.

В машинном цехе Швед нашел и товарищей и самого себя. Он деятельно готовится в вуз и прекрасно понимает, что его производственная работа занимает выдающееся место в этой подготовке.

СБОРНЫЙ

В сборном цехе не так шумно, как в машинном.

Здесь с трудом пробираешься между верстаками. Кругом навалены табуретки, стулья, части столов, козелки и разные детали. И не мудрено: один маленький Брацихин вырабатывает за свои четыре часа двести рамок для сидений.

Здесь собрался народ квалифицированный. Почти все ребята уже второй-третий год работают в столярной. За это время коммунары выпустили много продукции: оборудовали Харьковскую городскую станцию Южных дорог дорогими тысячерублевыми кассами-кабинками,

представляющими собой целые квартиры для станционных кассиров, с барьерами, ящиками, полочками, окнами и стеклами; в новом прекрасном клубе союза строителей обставили дубовой мебелью зрительный зал, лекционный зал, вешалки, кабинеты; громадный новый Дворец культуры, выстроенный союзом химиков в Константиновке, полгода снабжали мебелью: в этом дворце две тысячи мест — только в одном театральном зале; студентам-харьковцам отправили в общежитие сотни тумбочек, табуреток и стульев. Работали и для Института патологии и гигиены труда, и для поликлиник, и для Харторга.

И, разумеется, в первую очередь отделали новые клубы для своих шефов: клуб ГПУ УССР имени Ильича и клуб Фельдъегерского корпуса.

В первое время, пока не умели коммунары работать, было много наемных рабочих. Добраться в коммуну трудно, и квартир в коммуне всегда не хватало; попадались нам рабочие плохие — летуны, рвачи и лодыри, которые никак не могли удержаться на производстве. Но уже в прошлом году коммунары потеряли терпение и потребовали от заведующего производством уменьшить постоянный приток чуждых коммуне людей. Скоро начался спор о введении разделения труда, о работах по бригадам. Наши рабочие, главным образом кустари, привыкли кое-как, не спеша, копаться у своего станка. В результате и работа тянулась мучительно долго, и заработок у них был плохой. Тогда они начинали бузить,— расценки, мол, никуда не годятся. А когда им предложили ввести разделение труда, то помешали взаимное недоверие и подозрительность. Сколько ни крыли их коммунары на общих собраниях и на производственных совещаниях — ничто не помогало. Наконец, коммунары приняли отчаянное решение. Сократили всех рабочих, за исключением тех, кто сжился с коммунарами, кто готов был идти по пути рационализации. Как раз в это время нужно было сдать заказ союзу строителей в Москве. Чтобы выполнить заказ к сроку, общее собрание ввело двойной рабочий день — по семь часов,— перебросило в столярный цех всех более или менее свободных слесарей и всех пацанов. Им дали работу по полировке мебели. Вместе с ними работали и все воспитатели.

Только благодаря этой ударной работе заказ выполнили к сроку, и пятого июня мы сидели уже в вагонах московского поезда, получив накануне от строителей четыре тысячи рублей.

В настоящее время в сборном цехе очень мало взрослых рабочих, да и те — рабочие самой низкой квалификации. Они выполняют самую простую работу: ножки чистят. Основная работа в цехе ведется исключительно старыми коммунарскими кадрами третьего и четвертого разрядов. Большею частью — это ребята пятнадцати-шестнадцати лет, есть и четырнадцатилетние.

У двух верстаков расположилась полубригада из трех коммунаров: Зорин, Водолазский и Ширявский.

Зорин совсем малыш, и ему поручили проверять шипы при помощи специального сусла. Он очень ловко перебрасывает в своем сусле и проверяет лучковой пилой до ста шипов в день; детали с проверенными шипами он передает Водолазскому, который покрывает шипы шоколадной жижицей клея и деревянным молотком сбивает рамку будущего стула.

Водолазский — высокий белокурый юноша. Ему шестнадцать лет, но выглядит он гораздо старше. Водолазский давно отбыл и командирский срок и побывал заместителем заведующего. Работает он с точностью машины. Он, почти не глядя, отбрасывает случайный брак, сквозь зубы поругивая машинный цех. В сборном цехе часто придираются к машинистам и станковым, обвиняя их в халатности.

— Смотрите, опять шипы зарезали с параллельным уклоном. Вечно у них там... замечтается кто-нибудь и портит!

Ширявский, с улыбкой в умных глазах, принимает от Водолазского рамку и завинчивает ее в пресс, стоящий перед ним на козлах. Пресс сжимает рамку со всех сторон. Ширявский еще постучит по ней молотком, и через четверть минуты она уже лежит в штабеле таких же рамок.

У этой полубригады дело идет весело.

Рядом с ней работает Никитин — самый авторитетный человек в коммуне, носитель и продолжатель старых традиций горьковской колонии. Никитин сейчас — «контроль коммуны». Его участие во всех проверочных и следственных комиссиях обязательно. На нем же ле-

жит неприятная обязанность приводить в исполнение все постановления общего собрания, касающиеся отдельных коммунаров: ограничение в отпуске, лишение кино, иногда наряд на дополнительную работу. Никитин поэтому всегда носится с блокнотом.

Сейчас Никитин очень недоволен: что-то заело в машинном цехе, и для сборщика не хватает настоящей работы. Никитину дали чистить планки для спинок,— это такая «буза», которую может делать простой чернорабочий, а не шестиразрядник — ветеран коммуны Никитин.

Сегодня вечером попадет от него на производственном совещании и Полищуку, и главному столярному мастеру Попову, и коммунарам-машинистам, и в особенности Соломону Борисовичу.

Первое: почему до сих пор не поставлена вторая циркулярка?

Второе: почему до сих пор не налажена маятниковая пила?

Третье: почему не исправлен штурвал у фрезера?

Четвертое: почему задерживается точка ленточных пил?

Главные удары на производственных совещаниях всегда приходятся по машинному цеху. Это не потому, что там плохо работают, а потому, что силы сборщиков у нас превышают возможности машинного цеха. Вот почему и возникла необходимость ставить дополнительные станки и усиливать пропускную способность имеющихся.

На дворе устроился Сопин с двумя товарищами. Сопин вообще не выносит комнатного воздуха, раньше всех он выбирается спать в сад. Он убедил Попова перенести туда же верстаки.

У Сопина всегда занятно и весело. Даже распиливая косой шип, он ухитряется о чем-нибудь болтать и над чем-нибудь посмеиваться.

— А чего это у токарей сегодня такие кислые рожи? Ты не знаешь, Старченко?

Старченко, прилизанный, аккуратный юноша, оглядывается на маленького Сопина и продолжает размеренно постукивать молотком по стамеске.

— А ты знаешь?

— Конечно, знаю! Они насобачились на углах, а сегодня им масленки поднесли точить. Кравченко разогнался штук на шестьдесят в день, а у него не выходит.

Сопин знает все, что делается в коммуне. Это ему удается благодаря какой-то удивительной способности проникать всюду, отнюдь не пользуясь никакими шпионскими способами, а исключительно благодаря своей замечательной общительности и живости. На всякое событие в коммуне он должен отозваться.

Сопин прославился в коммуне зимой этого года, когда в пику вялой редколлегии «Дзержинца», еле-еле выпускающей два номера в месяц, он с небольшой компанией добровольцев вдруг бахнул по коммуне ежедневной «Шарошкой». «Шарошка» сначала вышла на небольшом картонном листе, но с каждым днем увеличивала и увеличивала размеры и, наконец, стала протягиваться длинной узкой полосой по всей стене коридора. Она была до отказа набита статьями, заметками, вырезками из газет, ехидными вопросами и смешными издевательскими телеграммами.

Коммуна зашевелилась, как разворошенный муравейник. Продернутые в «Шарошке» коммунары решительно запротестовали против самовольно организованного общественного мнения и требовали, чтобы «Шарошка» сняла подзаголовок: «Орган коммунаров дзержинцев». Старая редколлегия «Дзержинца» указывала на отдельные промахи газеты и называла ее «Брехушкой». Но Сопин с компанией не отступали и с каждым днем увеличивали свою газету.

На общем собрании редколлегия «Дзержинца» обиженно заявила, что она прекращает издание «Дзержинца», так как у нее нет материала: все перехватывает Сопин.

Бюро комсомола еле помирило две редакции. Полномочия Сопина были подтверждены общим собранием, и только в одном ему пришлось уступить: отказаться от названия «Шарошка».

С тех пор «Дзержинец» выходит в формате «Шарошки», и хотя редколлегия отказалась от ежедневного выхода, но раз в пятидневку газета сменяется.

До половины двенадцатого кипит работа в мастерских, шумят станки, визжит пила и стонет дерево. Заказ

нового Электротехнического института с каждым часом подвигается вперед.

Коммунары очень ценят этот заказ не только потому, что он приносит заработок и прибыль, а еще и потому, что мы связались с институтом. К нам часто приезжают в коммуну организаторы института, и многие коммунары уже считают себя будущими студентами. Осенью этого года тридцать три коммунара готовятся к поступлению на рабфак института.

КУДА МЫ ИДЕМ?

В наших цехах имеются производственные комиссии, часто собираются производственные совещания, есть штаб социалистического соревнования, но все решения этих институтов не могут иметь обязательной силы, если они не утверждены советом командиров. Получается как будто неладно: старшие, более опытные, да еще поддержанные участием взрослых,— вся эта настоящая сила, сосредоточенная в производственных органах, как будто уступает силе двенадцати командиров, народу более молодому и менее опытному в производстве. Но у нас очень дорожат именно таким соотношением сил.

Совет командиров представляет всю коммуну, а не один какой-нибудь цех, и ему часто приходится выступать против цеховщины и даже цехового рвачества. И то обстоятельство, что командиры почти всегда «середняки» по возрасту, очень нравится большинству коммуны, потому что в коммуне восемьдесят процентов именно «середняков». Кроме того, на заседаниях совета командиров могут высказываться все коммунары, хотя в голосовании участвует только по одному человеку от отряда. Обычно бывает, что, если в совете командиров разбирается производственный вопрос, командир присылает в совет наиболее матерого специалиста по цеху, который и ведет свою линию в заседании от имени отряда, а командир в это время тихонько сидит в углу. Вообще говоря, в коммуне выработалась очень сложная и хитрая механика внутренних отношений. Механика и стиль наших отношений инстинктивно усваиваются каждым коммунаром. Благодаря этому нам удается избегать какого

бы то ни было раскола коллектива, вражды, недовольства, зависти и сплетен. И вся мудрость этих отношений, в глазах коммунаров, концентрируется в переменности состава совета командиров, в котором уже побывала половина коммунаров и обязательно побывают остальные.

Производственные совещания и комиссии находятся под общим руководством комсомола. Производство, в котором работает сто пятьдесят ребят, средний возраст которых не превышает пятнадцати лет,— представляет очень сложный организм. Мы не можем ограничиться одним каким-нибудь производством, так как в таком случае наверняка не сумеем удовлетворить разнообразных вкусов и наклонностей попадающих к нам ребят. Если мальчику, жившему в семье, нужно идти на фабзавуч, он может выбрать тот, который ему больше по душе или к которому у него есть определенные способности. Наш воспитанник принужден выбирать себе уже в коммуне работу и специальность, может быть, на всю жизнь. Наша обязанность — предоставить ему возможно больший выбор. В то же время мы принуждены держать у себя различные возрастные группы ребят, в основном — от тринадцати до семнадцати лет.

В деле организации наших мастерских мы все время были несколько стеснены. С самого начала коммуна имени Дзержинского не числилась на бюджете какого-нибудь учреждения. Она была выстроена и оборудована обществом чекистов, но содержать сто пятьдесят детей, то есть ежемесячно вносить в коммуну шесть-семь тысяч рублей, чекистам было чрезвычайно тяжело, да и коммунары бы этого не захотели. Передать же коммуну на бюджет государственный или местный — значило бы для чекистов отказаться от руководящей роли в коммуне и, будем говорить прямо, подвергнуть коммуну всем испытаниям, выпадающим на долю детдомов.

Все это привело к тому, что и в правлении и в коммуне возникло стремление к самоокупаемости. Нужно признаться, что в первый момент мы не вполне ясно представляли себе, в какие формы это может вылиться, и было много сомнений в педагогической ценности самого института самоокупаемости.

И все же наше производство, у которого не было ни оборотного капитала, ни квалифицированной рабочей силы, было организовано.

Первый год принес нам радости не много. Мы оборудовали несколько клубов, выпустили немало мебели, но не только не пришли к самоокупаемости, а еще получили убытки. Все это произошло исключительно благодаря нашей половинчатости. Мы боялись сразу оттолкнуться от соцвосовских берегов и не решались поставить воспитанника в те же условия, в которых находится рабочий, боялись вызвать и использовать личную заинтересованность коммунара, боялись строго стандартизованной механической работы, вообще прилипли к «сознанию» и к «сознательности» и боялись от них оторваться.

Но неудачи заставили нас отказаться от «педагогических» предрассудков и сжечь корабли.

В начале тридцатого года мы вложили в производство небольшой капитал и поставили несколько новых станков для стандартной работы.

Производство медной арматуры, в особенности кроватных углов, было механизировано до конца, было введено полное разделение труда, и коммунарам стала выплачиваться сдельная плата по тем же расценкам, как и взрослым рабочим. То же самое было сделано и в столярной мастерской. В первый же месяц мы увидели результаты, которых и сами не ожидали: в апреле мастерские дали тысячу рублей прибыли. В последующие месяцы прибыль эта стала расти в замечательной прогрессии: в мае — пять тысяч, в июне — одиннадцать тысяч, в июле — девятнадцать тысяч, в августе — двадцать две тысячи.

Если принять в расчет, что содержание коммунаров стоит в месяц только шесть тысяч, то очевидной сделается головокружительность наших успехов. При этом нужно учесть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Каждый коммунар вносит из своего месячного заработка на пополнение расходов по содержанию коммуны восемьдесят процентов (но не более тридцати пяти рублей). Всего внесено коммунарами в мае полторы тысячи, в июне — две тысячи четыреста и в июле — четыре тысячи. Таким образом, из прибылей производства прихо-

дилось брать лишь самую небольшую сумму, и мы имели даже возможность вкладывать большие суммы в расширение нашего производства, в постройку новых мастерских, мы смогли на эти деньги покупать новые машины.

Одним броском мы достигли полной самоокупаемости. И когда в карманах у коммунаров зазвенели деньги, появились новые потребности. Нашему педагогическому совету стоило много напряжения все эти потребности заранее учесть, заранее принять меры к тому, чтобы отдельные новые явления в коллективе не стали бы в противоречие с интересами всего коллектива и интересами нашего воспитания.

Все обошлось благополучно.

Больше того. Как раз личная материальная заинтересованность сделала совершенно очевидной необходимость общих усилий для улучшения производства. Старая дисциплина и прекрасные отношения в коллективе пришлись как раз кстати и для нового дела, для организации работы в таком направлении, чтобы коммунар мог действительно работать, зарабатывать и был в этом заинтересован.

Уже на третьем месяце этот заработок как сумма полученных коммунаром рублей перестал быть новостью для них, и выросли новые формы коллективных устремлений: соцсоревнование и ударничество.

Вся система нашей коммуны и производства — производственные комиссии в каждом цехе, общекоммунарский штаб соцсоревнования, совет командиров, сами командиры — все это сумело органически слиться в работе. Все фетиши соцвоса, после того как мы их отбросили, никакими призраками не тревожили нас. Мы о них забыли на другой же день.

Мы сделались настоящим заводом. Но мы и больше завода, ибо мы теперь действительно коммуна: из заработка коммунаров мы организуем потребление и быт в тех совершенных формах, которые мы уже выработали раньше.

Таким образом, наш решительный разрыв с псевдоучеными и потребительскими уклонами детских домов действительно оздоровил и нашу производственную работу и наше воспитание.

Мы довольны всем этим. Но методисты из соцвоса именно теперь считают нас «мытарями», променявшими высокие идеи «новейшей педагогики» на презренные чертежные столы для советских вузов и кроватные углы.

С другой стороны, слышны разговоры о том, что наши мастерские не дадут квалифицированных рабочих. Но это — мура, как говорят наши коммунары. Разумеется, наши выученики не сумеют сделать вручную дубового великолепного резного буфета, хитроумных часов с кукушкой или с танцующими фигурками. Но это ведь никому и не нужно сейчас. Нам сейчас нужны станковые, сборщики, литейщики, формовщики, никелировщики. Как раз их и готовит коммуна. При этом наши ребята получают образование и коллективное воспитание. Это есть то, что называется новыми кадрами.

Дальше. За три года пребывания в коммуне коммунар становится квалифицированным рабочим в нескольких областях труда. Вот сейчас Ленька Алексюк работает на шишках. Что и говорить, квалификация небольшая. В следующем году он перейдет на машинную формовку, а потом и на ручную. На третьем году он прекрасно изучит никелировочное дело — и пойдет в жизнь нужным советским трудовым человеком.

«Педагоги» нас критикуют. Но к нам приезжают рабочие с канатного завода и просят:

— Дайте нам ваших токарей. Нам вот такие токаря нужны до зарезу!

Этой оценки нам достаточно для хорошего самочувствия.

ХОЗЯЕВА

Нигде не собрано так много настоящих коммунаров, прошедших всю нашу школу, бодрых, веселых, трудолюбивых и удачливых, как в слесарно-токарном цехе. Подавляющее большинство здесь — комсомольцы. Здесь у каждого станка живет молодая, уверенная в себе рабочая мысль.

И в столярной мастерской и в других мастерских и цехах есть и дисциплина, и подъем, и умение работать, и бодрость. Но только наши металлисты сумели

в своих цехах сделаться самостоятельными хозяевами производства, задающими тон даже квалифицированным рабочим.

В токарно-слесарном цехе работают мастер Левченко, его помощник и несколько квалифицированных рабочих токарей и слесарей. Все это неплохие рабочие и хорошие люди. Коммунары в этот цех пришли недавно, так как всего полгода тому назад поставили у нас токарные станки.

Но во всем, на каждом шагу, в каждом кубическом сантиметре воздуха чувствуется здесь, что крепкий, непоколебимо уверенный в себе коллектив мальчиков стал во главе цеха — без всяких постановлений, без протоколов и почти без речей, исключительно благодаря своей сознательности и спайке.

В смену работают здесь четырнадцать коммунаров. У токарных станков стоят мальчики и обтачивают медные углы для кроватей или медные масленки для каких-то станков. Перед каждым на станине лежит несколько станов еще не обточенных углов и несколько станов уже готовых.

Работа спорится не у всех одинаково. У Волчка и у Фомичева, у Воленко, у Кравченко, у Грунского горки готовых медных частей больше, чем у других, менее квалифицированных. Невелика горка у маленького Панова, который у своего станка стоит на подставке.

На станинах взрослых рабочих — частей гораздо больше, и станки здесь вращаются быстрее. Взрослых рабочих человек семь.

Вот один из них отошел от своего станка, и, не отрываясь от работы, все коммунары повернули головы к нему. Может быть, там ничего особенного и не случилось, может быть, и коммунары ничего особенного не подумали, но их совершенно инстинктивное внимание ко всему, что происходит в мастерской, заставляет всю мастерскую чутко реагировать на малейшее нарушение привычного ритма общей работы.

Где-то заест пас, где-то начнет болтаться конец трансмиссии, у кого-нибудь не хватит резцов, и тот поспешит за ними в кузницу, где-нибудь завяжется спор между механиком и рабочим,— никто не остановит работы, никто из коммунаров не скажет ни слова, но это

вовсе не значит, что случай «проехал». Ничего не проехало. Если всего этого не заметил командир, и сегодня на общем собрании коммунаров будет благополучно в рапорте, то завтра на производственном совещании, или просто в кабинете завкоммуной, или даже в коридоре кто-нибудь обязательно постарается выяснить, в чем дело. И если один начнет говорить об этом, его немедленно поддержат тринадцать, а то еще придет помощь и из другой смены.

Недавно на производственном совещании один из рабочих обвинял механика в каких-то неправильных распоряжениях и, между прочим, сказал:

— Я, конечно, ему не подчинился. Я работаю токарем двадцать восемь лет, а он мне говорит: «Останови станки, я запрещаю вам работать». Как он мне может запрещать, если мне разрешил работать сам заведующий производством! И он все-таки чуть не стал на меня кричать, чтобы я вышел из мастерской.

Все сочувственно кивали головами, все соглашались с оратором.

Но встал коммунар и сказал:

— А мы вот этого не понимаем. Вам приказал механик остановить станки, а вы ему не подчинились, да еще и хвалитесь здесь, говорите, что вы двадцать восемь лет работали. Где вы работали двадцать восемь лет? А мы считаем, что такого рабочего, как вы, нужно немедленно уволить.

Соломон Борисович, заведующий производством, человек старый, но юркий, замахал на коммунара руками и испуганно замигал глазами. Как это можно уволить такого квалифицированного рабочего? Соломон Борисович даже расстроился.

— Как это вы говорите — уволить? Это старый рабочий, а вы еще молодой человек.

Коммунары загудели кругом. Дело происходило в саду, на площадке оркестра.

— Так что же, что молодые?

Кто-то поднялся:

— Молодые мы или нет, а если с Островским еще такое повторится, так его нужно уволить, пусть он хоть тридцать восемь лет работал.

Слово берет Редько и медлительно, немного заикаясь, начинает говорить:

— В цехе три начальника, а четвертый — сам Соломон Борисович. Распоряжения отдаются часто через голову механика, квалифицированные рабочие «гонят», портят материал и покрывают брак, трансмиссии установлены наскоро, в цехе много суетни и мало толку...

Собрание не принимает никакого постановления и расходится.

Обиженный Островский уходит в одну сторону, обиженный механик — в другую, обиженный Соломон Борисович — в третью.

Коммунары не обижаются: они знают свою силу и уверены, что будет так, как они захотят.

Через день совет командиров назначает своего браковщика, тот начинает отшвыривать неправильно обточенные, грубо обработанные детали, и уже никому не приходит в голову протестовать против его браковки.

В том же совете командиров недвусмысленно требуют от Соломона Борисовича, чтобы в ближайшие дни был поставлен на фундамент шлифовальный станок. Соломон Борисович обещает поставить его в течение трех дней. Вася, секретарь совета, записывает в протокол это обещание и говорит с улыбкой:

— Записано: через три дня.

А после совета в частной беседе грозят Соломону Борисовичу:

— Смотрите, Соломон Борисович, ваша квартира недалеко — устроим демонстрацию против ваших окон, оркестр у нас свой. Когда-нибудь сядете чай пить, а тут — что такое? Смотрите в окно, а кругом красные флаги и плакаты: «Долой расхлябанность! Да здравствует дисциплина!»

Соломон Борисович отшучивается:

— Ну, вы окна бить не будете? Окна ж ваши, коммунарские.

Васька закатывается за своим столом.

— Окна, конечно, нельзя, так мы стаканы побьем. Милиции близко нету, не забывайте.

Смеется Соломон Борисович:

— Честное слово, хорошие вы ребята, только напрасно волнуетесь, все будет хорошо.

— Посмотрим! — говорят коммунары.

И они смотрят. И под их взглядами ежится всякий шкурник, рвач, растяпа. Соломону Борисовичу этот въедливый хозяйский взгляд помогает вскрыть все недостатки производства.

Все уверены, что первый и второй отряды наведут дисциплину в токарном цехе.

Недавно на общем собрании рыжий Боярчук, сдавая рапорт на командира первого отряда, сообщил:

— В цехе полчаса не было резцов.

Соломон Борисович при обсуждении рапорта заявил категорически:

— Это неправда. Резцы были. Просто поленились пойти к кладовщику получить.

Коммунары хорошо знают, что где угодно может быть неправда, только не в рапорте. Рапорт пишется пером, и ни один командир не напишет в рапорте неправды.

Коммунары засмеялись.

— А если правда, тогда что?

— Что хотите,— сказал Соломон Борисович.

Встал командир первого, Фомичев.

— Мне за неправильный рапорт было бы не меньше трех нарядов.

— Пускай мне будет три наряда,— выпалил сердито Соломон Борисович.

— Хорошо,— сказал Фомичев.

Тут же выбрали комиссию. На другой день она доложила:

— Резцов действительно не было.

На собрании поднялся смех:

— А где же Соломон Борисович?

Оглянулись, а Соломона Борисовича и след простыл.

На другой день пришел ко мне Соломон Борисович и сказал:

— Ну что ж, я им сделаю душ в саду. Это стоит трех нарядов.

Васька, секретарь совета командиров, подумал и сказал:

— Пожалуй, что и стоит.

КОПЕЙКИ И МАЛЬЧИКИ

В никелировочном цехе работают два отряда: одиннадцатый — до обеда и двенадцатый — после обеда. В каждом по десять человек. Командирами здесь старые коммунары — Крымский и Жмудский, но большинство членов этих отрядов—новички. Однако эти новички уже справляются со своим положением хозяев на производстве. Недавно они даже одержали крупную победу над Соломоном Борисовичем.

Никелировочная мастерская разделяется на два отделения: в одном стоят шлифовальные, полировочные станки и так называемые щетки. На всех этих приспособлениях медные части, вышедшие из токарного цеха, приготовляются к никелировке: шлифуются и полируются. В другом отделении они опускаются в никелировочные ванны, но и перед ваннами проходят очень сложную процедуру промывок и очисток и бензином, и известью, и еще каким-то составом. Одним словом, в никелировочном цехе очень много отдельных процессов, и общий успех работы зависит от слаженности и согласованности.

Почему-то Соломон Борисович держал здесь двух мастеров: один заведовал шлифовальным отделением, второй — собственно никелировочным. Мастера эти отчаянно конкурировали друг с другом, подставляли один другому ножку, сплетничали и втягивали в эту глупую борьбу и рабочих, которых там человека четыре, и ребят.

Вообще никелировочный цех у нас один из самых неудачных: всегда в этом цехе что-нибудь ломается, останавливается. И Соломон Борисович, и мастер, и члены производственного совещания, и остальные коммунары на каждое заседание совета командиров приходят с взаимными претензиями. Начинается разговор в очень корректных выражениях, но кончается бурно. Раскраснеются физиономии, размахаются руки, голоса повысятся на пол-октавы. Голос секретаря совета командиров, называемого чаще ССК, переходит в фальцет, но тщетны все попытки сколько-нибудь охладить Соломона Борисовича. Соломон Борисович горячится ужасно.

— Что вы мне рассказываете? Кому вы рассказываете? Я работаю на производстве девятнадцать лет, а

мне такой, понимаете, малыш говорит, что здесь число оборотов неправильное. Так разве я могу так работать? Я требую, чтобы со стороны коммунаров было ко мне другое отношение.

Тут Соломон Борисович сам доходит до такого числа оборотов, что уже не замечает, как начинает рассказывать своему соседу, политруководителю коммуны товарищу Варварову, о каких-то еще более возмутительных проявлениях неуважения к его производственному опыту. Варваров, молодой и кучерявый, что-то у него спрашивает. Соломон Борисович ерзает на стуле и роется в глубочайших карманах своего пиджака-халата, очевидно, разыскивая документальное доказательство.

ССК пищит:

— Соломон Борисович, а Соломон Борисович! Соломон Борисович, говорите всему совету. Чего вы шепчетесь?..

Соломон Борисович оглядывается на сердитого Ваську и расцветает в улыбке:

— Ну, вот видите?

Но, несмотря на все эти столкновения, Соломон Борисович любит ребят и часто приходит в неожиданный восторг от напористости коллектива.

Этот восторг он выражает на каждом шагу, но и на каждом шагу он с этим коллективом ссорится и устраивает конфликты. Коммунары платят ему таким же сложным букетом. С одной стороны, они видят его энергию и знания, но в то же время они не склонны слепо подчиняться его авторитету и прекрасно разбираются в отрицательных свойствах его как организатора: бывает, что Соломон Борисович погонится за дешевкой, любит сделать что-нибудь, как-нибудь, только бы держалось, из-за копейки часто не только поспорит, а и разволнуется.

Коммунары умеют собрать самые подробные сведения о какой-нибудь детали у мастеров и неожиданно ошеломляют своей эрудицией Соломона Борисовича.

— Вот в Киеве на производствах везде платят по полкопейки за такую-то деталь, а я вам даю три четверти.

— Э, и хитрый же вы, Соломон Борисович! Так в Киеве платят же только за формовку, а есть еще и чернорабочие...

Соломон Борисович наливается кровью, размахивает руками и сердится:

— Откуда вы все это знаете? Я девятнадцать лет работаю на производстве, а он будет мне толковать о чернорабочем!

Когда был поднят вопрос о ненужности двух мастеров в никелировочном, Соломон Борисович сначала попробовал обидеться, потом стал взывать к милосердию и, наконец, сообразил, что предложение производственной комиссии оставить одного мастера на два отделения — предложение дельное. Принужден он был согласиться и с другим предложением производкомиссии: платить коммунарам за работу на ванне не одну с четвертью копейки от стана, а две копейки. Но на совете командиров Соломон Борисович вдруг стал на дыбы:

— Постойте, как же так? — Соломон Борисович даже вспотел.— Вы говорите, прибавить три четверти копейки с первого июня, а сейчас пятнадцатое. Я же не могу уволить второго мастера с первого июня, а могу только с пятнадцатого, значит и ваша прибавка,— он повернулся к членам производственной комиссии,— может быть только с пятнадцатого.

Председатель производственной комиссии — командир двенадцатого Жмудский, поддерживаемый внушительным урчанием половины всего своего отряда, расположившейся прямо на полу,— вероятно, в знак того, что они не имеют права голоса на совете командиров,— вытянул удивленную черномазую физиономию.

— Так при чем же здесь мастер?

Маленький востроносый ССК Васька даже лег на стол, устремившись всем телом к расстроенному Соломону Борисовичу.

— Так поймите же, Соломон Борисович! Мастер-то относится к рационализации, а то совсем другое дело — расценки.

— Что вы мне, молодой человек, рассказываете? Кому вы это говорите?..

Полный, круглый, красный и клокочущий, завернутый в широчайший и длиннейший, покроя эпохи последних Романовых, пиджак, карманы которого всегда звенят ключами, метрами, отвертками, шайбами и т. п.,— Соломон Борисович вскакивает со стула и вдруг

набрасывается на меня, хотя я решительно ни в чем не виноват. Я мирно подсчитываю в это время, сколько метров сатину нужно купить на парадные трусики для коммунаров, принимая во внимание, что девчонкам трусиков не нужно, что в кладовой имеется сто одиннадцать метров и что...

— Вы, Антон Семенович, распустили ваших ребят. Они теперь уже думают, что это не я инженер, а они инженеры. Они будут мне читать лекции о рационализации... Я пойду в правление, я решительно протестую!

Соломон Борисович брызжет слюной и отчаянно машет руками.

— Да ведь они же правы, Соломон Борисович.

— Как правы? Как правы? Как правы? Я должен где-то брать деньги на никелировку? И мастеру платить, и три четверти копейки...

— Да при чем же здесь мастер? — спрашивает Жмудский.

— Как при чем? Как при чем? Вы слышите, что они спрашивают? При чем мастер? А мастеру платить нужно за две недели? По-вашему, так можно выполнять промфинплан?

— А какое нам дело, что вы держали мастера, который не нужен? Вы и еще бы держали, если бы мы не придумали, а теперь вы хотите, чтоб за наш счет...

Соломон Борисович начинает чувствовать, что Жмудский не так уж далек от истины, и перестает вертеть руками, растерянно всматривается в лицо Жмудского:

— Как вы говорите?

Жмудский смущен неожиданным замешательством противника. Он даже подымается со своего стула и заикается:

— Мастер же, это был убыток. Мы вам посоветовали...

— Нам премию нужно выдать! — перебивает Жмудского кто-то из командиров сзади Соломона Борисовича.

Соломон Борисович резким движением поворачивается на сто восемьдесят градусов и... улыбается. На него смотрят плутоватые глаза Скребнева, которому он очень симпатизирует. Соломон Борисович находит выход:

— Мастер, говорите, убыток? У Соломона Борисовича никогда не бывает убытка.

— Как это не бывает? А ведь был лишний мастер,— раздается со всех сторон.

— Эх, нет, товарищи!

Соломон Борисович вытаскивает из кармана платок, который кажется бесконечным, потому что до конца никогда не вытягивается, затем снова усаживается на своем стуле и забывает, что имел намерение вытереть трудовой пот на инженерском челе. Платок исчезает в кармане, и Соломон Борисович уже сияет и по-отечески, по-стариковски ласково и любовно говорит притихшим коммунарам:

— Двух мастеров нужно было иметь, пока вы учились работать. Вот теперь вы выучились, и двух мастеров не нужно, нужен только один. Если бы вы и не предложили, я его и сам бы снял. Пока вы учились, конечно, нужно было переплачивать на мастерах, поэтому и расценки были ниже. Вы работали не самостоятельно, а с мастером.

— Э-э-э, Соломон Борисович!.. Нет... Это что ж...

— Ишь, хитрый какой!

— Смотрите! Учились... А когда мы научились? Сегодня? Сегодня? Да?

На Соломона Борисовича один за другим сыплются вопросы, но чувствуется все же, что он нанес гениальный удар.

Когда шум немного стихает, серебряный дискант Скребнева вдруг звенит, как колокольчик председателя:

— Это вы сейчас придумали? Правда ж?

Весь совет заливается хохотом. Соломон Борисович снова наливается кровью и с достоинством подымается с места:

— Нет, товарищи, я так не могу работать...

Снова Соломон Борисович начинает кричать:

— Кончено! Довольно! Кто я здесь такой? Инженер? Или я буду у этих мальчишек учиться управлять производством?..

Коммунары в общем не обижаются даже за «мальчишек». Они улыбаются в уверенном ожидании моего ответа. И я улыбаюсь.

— Да ведь как же не согласиться? Тут ведь дело не в копейке, Соломон Борисович. Нельзя предъявлять

коммунарам такую логику, нельзя так связывать эти два пункта.

Соломон Борисович опять выступает с достоинством, складывает бумаги в портфель и говорит:

— Хорошо. Значит, дело это переносится в правление.

— В правление? — ССК таращит глаза.

— Да, в правление,— обиженно угрожает Соломон Борисович.

— Посмотрим, что правление скажет, это интересно. Вот смотри ты, в правление! — удивляется ССК.

Соломон Борисович вылетает из кабинета, и еще виден в дверях его пиджак, а Васька уже вещает:

— Следующий вопрос — заявление Звягина о приеме в коммуну.

ИЗ КНИГИ О КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Пока шумят мастерские, в главном доме коммуны тихо. Только во время перемен из класса высыпают ребята и спешат кто в спальню, кто в кабинет, кто в кружок. Многие просто прогуливаются у парадного хода по выложенному песчаником тротуару.

Школьная смена своим костюмом резко отличается от рабочей. В то время когда слесаря, токаря и в особенности кузнецы и формовщики с измазанными физиономиями щеголяют блестящими от масла, пыльными спецовками, старыми картузами и взлохмаченными волосами, на ребятах из школьной смены хорошо пригнанные юнгштурмовки, портупеи, новенькие гамаши и начищенные ботинки, головы приведены в идеальный порядок, и даже такая всесоюзная растрепа, как Тетерятченко, по крайней мере до третьего урока ходит причесанным.

Кончив работу, первая рабочая смена должна переодеться и вымыться к обеду. Вторая надевает рабочие костюмы только после обеда. Вечером, после пяти часов, все должны быть в чистых костюмах.

Добиться этого удалось далеко не сразу. Многие коммунары считали, что внешность истинного пролетария должна быть возможно более непривлекательной. Совет

командиров и санитарные комиссии долгое время безрезультатно боролись с этим взглядом.

— Двадцать раз в день переодеваться! — говорили коммунары.—Конечно, тогда ничего не сделаешь. Только и знаешь, что развязываешь да завязываешь ботинки!

Пришлось вводить строгие правила.

Удалось наконец добиться, чтобы, отправляясь в школу, ребята переодевались. Но уже к вечеру каждый ходил, как хотел.

Однако довольно скоро наступили перемены. Когда для клубов и столовых наша мастерская изготовила новую прекрасную мебель, заменившую тоненькие киевские диванчики, стало для всех очевидным, что эту мебель мы сможем привести в негодный вид в самый короткий срок. Наша санкомиссия очень легко провела на одном из общих собраний запрещение входить в клубы и в столовую в рабочей одежде. Энергичные ДЧСК стали настойчиво приводить в исполнение постановление общего собрания.

— Фомичев, выйди из столовой!

— Чего я буду выходить?

— Ты в спецовке.

— Не выйду.

ДЧСК берется за блокнот. Фомичев знает, что кончится рапортом и выходом на середину на общем собрании, но ему хочется показать, что он не боится этого.

— Пиши в рапорт,— говорит он.— Я все равно не выйду.

Тут приходит на помощь более решительный дежурный по коммуне:

— Не раздавать первому отряду, пока Фомичев не переоденется.

Этот ход сразу вызывает более выгодную для санкома перестановку сил. Первый отряд отходит на тыловые позиции.

— Почему из-за одного Фомичева мы должны сидеть за пустым столом?

— Я не буду спорить с каждым коммунаром,— настаивает ДК.— Что вы, маленькие?

С ДК ничего не поделаешь, без его ордера обеда из кухни отряду не отпустят. И члены первого отряда нападают уже на Фомичева:

— Вечно из-за тебя возня!

Фомичев отправляется переодеваться.

К общему удивлению, число таких конфликтов среди коммунаров было очень незначительным. Зато пришлось немало повозиться с рабочими.

В дверях нашего «громкого» клуба — дежурный отряд. Один из дежурящих вежливо заявляет:

— Товарищ, нужно переодеться.

Рабочий принимает все защитные позы и окраски и даже рад случаю повеличаться:

— Как это переодеться? Что ж тут — для господ у вас или для рабочих?

Ответ на удивление выразительный:

— Идите переоденьтесь и тогда приходите на киносеанс,— говорит дежурный.

— А если мне не во что переодеться?

Распорядитель прекращает спор и вызывает командира.

Командир — человек бывалый, много видевший, у него неплохая память. Он заявляет бузотеру:

— У вас на чистый костюм денег нет? А на водку у вас есть?

— На какую водку?

— Не знаете на какую? На ту, которую вчера выпили с Петром Ухиным.

Возле посетителя уже два-три добровольца из ближайших резервов, самым милым образом кто-то прикасается к его локтям, а перед его носом появляется винтовка молчаливо-официального дневального.

Впрочем, за последнее время таких столкновений почти не бывает. Мы забыли об этих спорах, никому не приходит теперь в голову вступать в пререкания с коммунаром, украшенным какой-нибудь повязкой. Для всех стало законом, что нельзя в зале сидеть в шапке, и если кто-нибудь забудет ее снять, со всех сторон раздаются возгласы:

— Кто это там в шапке?

Разговоры у дневального обычно возникают лишь с посторонней публикой.

Недавно какой-то посетитель вошел в помещение с папиросой. В доме курить запрещено. Вошедшему предло-

жили бросить папиросу. Он швырнул ее куда-то в угол вестибюля под вешалку. Дневальный потребовал:

— Поднимите.

Посетитель оскорблен ужасно. Он не хочет поднять окурок.

— Нет, поднимите!

В голосе дневального появляются нотки тревоги: а вдруг так-таки повернется и уйдет, не подняв окурка?

Чрезвычайно интересно, что такие тревожные нотки удивительно быстро улавливаются всей коммуной. Этот ребячий коллектив перевязан какими-то тончайшими нервами. Малейшее нарушение мельчайших интересов коллектива ощущается как требовательно-призывный пожарный сигнал.

Не успели оглянуться и посетитель и дневальный, как несколько человек окружили место скандала.

Малыши, если они одни, не оглядываются по сторонам,— они уверены, что через несколько секунд прибудут солидные подкрепления. Поэтому атака пацанов стремительна:

— Как это не поднимете?

Нарушитель закона что-то возражает. В это время где-то в конце коридора уже гремит тяжелая артиллерия — Вовченко, или Фомичев, или Долинный, или Водолазский:

— Что там такое?

Посетитель спешит поднять окурок и растерянно ищет, куда бы его бросить.

— Правильно! А то никакого спасения от разных господ не будет.

— Какие ж тут господа?

— А вот такие! Вам говорят поднимите, значит поднимите. Без лакеев нужно обходиться.

В отношении к пьяным коммунары непоколебимы. Для них не существует разницы между человеком пьяным и даже чуть подвыпившим, только пахнущим водкой. Насчет спирта нюх коммунарского контроля настолько обострен, что малейший запах скрыть от них невозможно. Если возникло такое подозрение, посетителя выставляют из коммуны, хотя бы даже он и вел себя очень разумно и умеренно. Тут уж ничего нельзя сделать.

Коммунары — очень строгий народ. Я сам, заведующий коммуной, иногда с удивлением ловлю себя на мысли: «Хорошо ли я вытер ноги? Не получу ли я сейчас замечания от дневального, вот этого самого Петьки, которого я пробираю почти каждую пятидневку за то, что у него не починены штаны?»

В коммуне живет до полсотни служащих и рабочих, и никогда у нас не бывает пьянства, ссор, драк. Когда недавно из Киева к нам прибыла целая группа рабочих, бывших кустарей, на третий же день к ним пришел отряд легкой кавалерии нашего комсомола и вежливо попросил:

— Отдайте нам карты. Вы играете на деньги.

Вы не застрахованы от того, что в вашу дверь вежливо постучат Роза Красная или Скребнев и спросят:

— Разрешите санкому коммунаров посмотреть, насколько у вас чисто в квартире.

Можно, конечно, и не разрешить, можно сказать — какое, дескать, вам дело, что у меня в комнате грязь!

— Если еще будет такая грязь, мы вас вызовем на общее собрание.

И если вам придет в голову, что вы сможете, не явившись на общее собрание, после этого на другой день продолжать жить в коммуне, вы скоро убедитесь, что это была непростительная ошибка.

Наши служащие невольно подчиняются этому крепкому, убежденному, уверенному в себе ребячьему коллективу. Для них небезразлично отношение к ним коммуны, а многим просто нравятся эти вежливые и настойчивые дети. Благодаря этому все в общем проходит благополучно. Не только никто не будет протестовать против вторжения санкома в квартиру, но все заранее позаботятся, чтобы всюду было чисто, чтобы не пришлось краснеть перед контролерами.

Моя мать — старая работница, проведшая всю жизнь в труде и в заботах,— радостно встречает молодых носителей новой культуры и, предупредительно показывая им свои чуланчики и уголки, наполненные старушечьим барахлишком, даже приглашает их:

— Нет, отчего ж, посмотрите, посмотрите... Может, чего мои старые глаза не увидели, так ваши молодые найдут.

«ДЕЛЕГАЦИИ»

Нередко у нас бывают экскурсии из города. Но больше всего бывает иностранных делегаций. Поэтому в коммуне всех посетителей называют «делегациями».

Зимой «делегаций» меньше, летом же почти не бывает дня, чтобы в коммуну кто-нибудь не приехал. Это объясняется не только известностью коммуны. Много значит и то, что коммуна — единственное детское учреждение, расположенное в черте города.

Посетители всегда предупреждают коммуну по телефону за день, за два. В первое время мы рассматривали каждое такое предупреждение как сигнал к специальным приготовлениям. Иногда было необходимо выстраивать коммуну с оркестром и знаменем. Это — в дни памятных для коммуны событий. К таким мы относим посещения коммуны членами Коминтерна и КИМа.

Но бывало и так, что торжественные встречи ложились на нас своего рода бременем. Пока автомобили с «делегацией» кружат по горам и лесам в поисках сносной дороги в коммуну (а дорогу в коммуну отыскать не так-то легко), коммунары должны томиться в ожидании. Мало того: перед этим нужно бросить работу в мастерских, переодеться, нужно собирать оркестр и выносить знамя, а вынос знамени, по коммунарским традициям, является довольно сложной церемонией.

Очень многие делегации настаивают на созыве общего собрания коммунаров.

Понятно, что такие торжественные собрания, если они созываются ежедневно, делаются для коммунаров тягостными. Поэтому уже давно мы встали на путь решительной борьбы с разными церемониями, и теперь, несмотря на самые настойчивые требования, мы решительно в них отказываем. Мы уже потому не можем позволять себе роскоши излишних парадов, что от этого страдает наше производство.

Теперь гостей при входе в коммуну встречает дежурный, приветливо приглашает их в кабинет, если их немного, или в «громкий» клуб, если гостей больше трех-четырех десятков. Дальнейшая судьба «делегации» зависит уже от того, из кого она состоит. Иностранцев

обыкновенно провожает заведующий; на его обязанности лежит и прием больших рабочих экскурсий. Компании же поменьше выпадают на долю секретаря совета командиров или дежурного заместителя. С течением времени в коммуне образовалась небольшая группа специальных гидов, которые знают, что интересует гостей, что показывать, и держат в голове всю необходимую статистику. Коммунары в мастерских теперь не отрываются от станков, когда приходит делегация.

В столовой, если гости попадают к нам во время обеда, еще живет обыкновение при входе гостей всем вставать и салютовать. Но в этот обычай внесена небольшая поправка. Коммунары приветствуют гостей таким образом, если тот, кто водит гостей по коммуне, скажет, входя в столовую:

— Товарищи, у нас гости.

Большинство «делегаций» радует нас, разнообразя нашу жизнь и в значительной мере помогая поддерживать связь с внешним миром. Особенно приветливо встречаем харьковских рабочих, которые посещают нас большими компаниями, человек по сто и больше. Были в коммуне и негритянские и китайские делегации. Горячо приняли коммунары делегата Германского союза фронтовиков. Его восторженно чествовали на торжественном собрании и выбрали даже почетным коммунаром с зачислением в восьмой отряд.

Иностранные «делегации», состоящие из выхоленных и прекрасно одетых богатых англичан или американцев, вызывают к себе тоже большой интерес, но это уже интерес особый.

Коммунары смеются:

— Хлопцы, живые буржуи в коммуне!

Вокруг «живых буржуев» всегда собирается толпа пацанов, которые, очевидно, никак не могут представить себе, что эти представители вымирающего подвида людей еще имеют возможность свободно передвигаться по земной коре, и никто их не ловит и не отправляет в заповедники. Малыши рассматривают этих туристов с таким видом, как будто и в самом деле рассчитывают увидеть оскаленные челюсти, хищные движения, испачканные кровью рабочих руки, раздувшиеся животы. И выражение лиц у некоторых пацанов такое, как будто вооб-

ще находиться рядом с такими гостями, даже и в нашей стране, не совсем безопасно.

Буржуи с пацанами разговаривают ласково и даже восхищаются некоторыми физиономиями. Нужно признать, что господа осматривают коммуну очень внимательно и на каждом шагу спрашивают:

— Так вот это и есть беспризорные?

Умытые, причесанные и очень интеллигентные коммунары, совершенно головокружительная вежливость их, умение коммунаров держаться с достоинством, чистота в здании, деловой тон в мастерских — противоречат представлениям буржуазного мира не только о наших беспризорных, но и вообще о всей нашей жизни. Отсюда и то недоверие, с каким относятся буржуи к коммуне.

Мы, правда, не отказываем себе в удовольствии поразить их. Коммунары с винтовками в вестибюле нарочно задирают повыше головы. На вопрос: — Неужели все это беспризорные? — мы отвечаем через переводчика:—Нет, это не беспризорные,— это хозяева здесь. Все это принадлежит им: и спальни, и мастерские, и материалы.

Переводчик, улыбаясь, что-то растолковывает буржуям. Те преувеличенно вежливо кивают головами, но все же не могут скрыть небольшого смущения, тем более, что коммунары самым приветливым и самым ехидным образом посмеиваются.

Еще больше приходится смущаться буржуям, когда коммунары усаживают их в кружок в зале и начинают задавать очень недипломатические вопросы:

— Работают ли у вас дети на фабриках и заводах?

— Сколько часов в день?

— Сколько они получают?

— Помогает ли им государство?

— Есть ли у вас сироты, и куда они деваются?

— Помогает ли государство этим сиротам попасть в вуз?

После этих вопросов буржуи делаются и гораздо вежливее и гораздо суше. Они вынуждены отвечать довольно нечленораздельно.

— Да, конечно, у нас есть приюты... Приюты, понимаете? Там тоже мастерские, только, конечно, там дети учатся ремеслу и «приучаются не воровать»...

Рабочие делегации Запада никогда не спрашивают: «Неужели все это беспризорные?», никогда не становится их тон сухим или чрезмерно вежливым. Они в восторге от нашей коммуны и от наших ребят, они в восторге и оттого, что к ним так тепло относятся эти ребята, оттого, что ребятам так хорошо живется в коммуне. Они искренно, часто волнуясь, рассказывают ребятам, как тяжело живется на Западе, как тяжек там детский труд, как тяжела детская сиротская доля. Коммунары слушают их, затаив дыхание.

Гости давно уже сидят в автомобилях, но еще продолжаются расспросы, рукопожатия и шутки. Шоферы нетерпеливо оглядываются, заведующий производством волнуется, что прервали работу, но всем легко и весело. Наконец, автомобили трогаются. У передового на подножке стройная фигура коммунара, который должен показать самую прямую дорогу через лес.

Экскурсии советских рабочих в коммуне ведут себя по-хозяйски. Женщины заглядывают под одеяла, щупают подушки, осматривают кухонную посуду. Мужчины в мастерских проверяют с циркулем в руках полуфабрикат и спрашивают, почему плохо работает вентиляция. Коммунары в разговоре с ними употребляют самые специальные термины. Только и слышишь: шкив, суппорт, трансмиссия.

Придирчивость гостей никого не обижает. Мы признаем, что подушки действительно нужно бы поднабить, что с вентиляцией дело в никелировочной неладно, что шкив болтается. Эти наши гости самым приятельским образом отплясывают гопака в нашем саду под музыку улыбающихся оркестрантов. Отцы пляшут, отчего же не улыбаться! И уж действительно становится весело, когда на поддержку добродушной неповоротливой толстухе из Нарпита вылетает наш юркий и красивый Ленька Нигалев и начинает заворачивать вокруг нее такие хитрые и умопомрачительные антраша, что сидящий на скамейке в ряду других гостей худой усатый рабочий сбивает фуражку на затылок и кричит:

— Ах, ты ж, сссукин сын! Это наш!..

Уходят рабочие из коммуны пешком, их провожают разговорившиеся, оживленные коммунары. Прощаются на меже у леса.

«ОКРУЖАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ»

На общие собрания коммунаров почти каждый раз приходят парни и девчата села Шишковки.

С Шишковкой коммуна начала устанавливать связь давно. Вначале из этого ничего хорошего не получалось. Первые наши культуртрегеры—комсомольцы Охотников, Веренин, Нарский — возвращались из деревни в ночную пору, не только ничего не сделав, но несколько навеселе, так как Шишковка славилась своим самогоном и любила угощать дорогих гостей. Кончились эти первые походы позорно: общее собрание запретило Охотникову посещать Шишковку.

Но скоро в коммуну стали приходить девчата из деревни. Наш политрук от удовольствия только руки потирал. Девчата посещали все комсомольские собрания, постепенно приобщаясь к жизни нашей организации. Большое неудобство, правда, заключалось в том, что девчат нужно было после собрания провожать домой.

Очень скоро обнаружилось, во-первых, что Крупов страшно влюбился в какую-то Катю и возымел даже желание на ней жениться, во-вторых, что в ту же Катю влюбился и Митька, в-третьих, что Катя не порвала со старым бытом, хотя и вступила в комсомол. Она по-прежнему торговала самогоном, так же, как и ее мать. Ребята явно подпали под ее влияние. Комсомольцы оказались виновными и «во-первых», и «во-вторых», и «в-третьих». Все было выяснено нашими пацанами на страницах стенной газеты, и после двух-трех бурных заседаний с этим было покончено. Но после такой истории ребята почему-то очень охладели к Шишковке.

В это именно время коммуна совершила несколько культурных походов в более далекое село Шевченки, главным образом преследуя цели антирелигиозной пропаганды. Первое наше выступление было в пасхальную ночь. Несмотря на оркестр, мы собрали мало народу. Была исключительно молодежь, но и та, когда ударили к заутрене, предпочла не ссориться со стариками и отправилась в церковь в предвкушении приятного обжорства на другой день. Однако в Шевченках был уже небольшой актив, и наши комсомольцы сумели с ним связаться и постепенно продвинуться вперед на антирели-

гиозном фронте. На другой год мы уже были знакомы с половиной села и смогли устроить в пасхальную ночь настоящее торжество с концертом, фейерверком, кинопостановкой. Теперь уже многие решили разговляться не после заутрени, а после нашего представления. Это было немалым шагом вперед.

Но Шевченки — Шевченками, а Шишковка все же не давала покоя нашим политическим организациям. Подошли к Шишковке с другой стороны, и очень хитро подошли.

Наш клубник Перский давно толковал о том, что нужно привлечь в наш драмкружок артистов из Шишковки. В совете командиров долго возражали против этого плана, указывая на то, что Шишковка никогда артистическими силами не славилась, что шишковцы принесут в коммуну водку и будут спаивать ребят. Больше всего командиры беспокоились, что новые артисты будут плевать в здании, бросать окурки и обтирать стены. При помощи комсомола Перский своего все-таки добился. По вечерам в коммуне стали появляться новые лица. Их было человек десять, артистическими талантами они, правда, обладали небольшими, но были замечательно усердны и послушны. В сравнении с нашими актерами, не имеющими никогда времени прочитать роль, шишковцы оказались прямо золотом. Перский организовал что-то вроде театральной школы,— во всяком случае каждый вечер шишковцы с десятком коммунаров упражнялись в главном зале в дикции, ритме, позе и прочих театральных премудростях.

Работа эта оказалась своевременной и в другом отношении. У коммунаров всегда была неприязнь к театральной работе, они считали, что подготовка к спектаклю отнимает очень много сил, а получается всегда довольно слабо, что во всех отношениях кино в тысячу раз лучше театра, и, наконец, в нашем зале можно поместить, кроме коммунаров и служащих, не больше двадцати человек, так что играть не для кого.

Перский поставил несколько пьес, между прочим, даже «Рельсы гудят» и «Республика на колесах».

Для коммунаров смотреть эти пьесы было истинным наслаждением. Действительно, шишковцы хоть и были на сцене довольно неповоротливы и комичны, но зато

они прекрасно знали роли, и суфлер всегда отставал от артистов.

Главное было сделано: ребята близко и по-деловому познакомились с селянской молодежью. Скоро нашлись и другие общие дела у нас и у шишковцев: комсомол открыл в Шишковке школу ликвидации неграмотности и кружок молодежи, откуда черпал пополнения наш комсомол. Шишковцы не ограничились участием в драмкружке. Они близко подошли к жизни коммуны и сделались постоянными посетителями наших общих собраний. Правда, они не смогли освободиться от излишнего уважения не столько к нашим коммунарам, сколько к строгости и четкости нашей жизни, и коммунары всегда посматривали на них несколько покровительственно.

Взаимоотношения с селами укреплялись. После первых выпусков школы ликбеза возле коммуны сплотилась целая группа действительно новой молодежи. Наши комсомольцы снабдили село библиотекой. Большое значение имели наши лекции перед каждым сеансом кино — о внешней и внутренней политике, о партийных съездах, о пятилетке. О пятилетке мы прочли около двух десятков лекций, очень подробно останавливаясь на отдельных отраслях хозяйства.

У нас установилась тесная связь с рабочими организациями. Наиболее близко мы стали к клубу металлистов, в особенности к рабочим ВЭКа. Металлисты несколько раз бывали в коммуне, мы всегда с особенной торжественностью и подъемом отправлялись к ним в клуб.

Наши экскурсии на завод были настоящим праздником для коммунаров. Скоро рабочие завода перезнакомились и подружились со всеми. Эта дружба особенно укрепилась после того, как шесть товарищей из коммуны поступили работать на ВЭК. С этих пор коммунары стали рассматривать ВЭК как «свой» завод. Если вэковцы что-нибудь организуют, они обязательно приглашают и коммуну. Если на заводе что-нибудь случится, об этом в коммуне не прекращаются разговоры.

Когда же засветился Тракторострой, когда нам было поручено изготовление дверей для Тракторостроя с обязательством выпускать ежедневно сто штук, нашим восторгам не было конца.

КАБИНЕТ

«Кабинет» в коммуне имени Дзержинского — место, о котором необходимо поговорить серьезно, потому что эта небольшая комната имеет в коммуне огромное значение.

В кабинете стоят два стола — заведующего, то есть мой, и секретаря совета командиров, три шкафа — мой, секретаря совета командиров и редколлегии стенгазеты, несколько дубовых стульев и два диванчика. Есть пишущая машинка.

Кабинет никогда не бывает пустым,— в нем всегда люди, и всегда шумно. Пока наше производство еще не развернулось и было много свободных коммунаров, в кабинет назначался специальный дежурный. На его обязанности было держать кабинет в чистоте, исполнять обязанности курьера и, самое главное, время от времени освобождать кабинет от лишней публики. В настоящее время специальных дежурных для кабинета выделить невозможно, и поэтому удалять из кабинета лишнюю публику некому.

Откуда набирается в кабинет лишняя публика? Дело в том, что в нашем коллективе существует старая традиция — все коммунарские дела разрешать не на квартире у заведующего, как это принято в соцвосовской практике, а только в кабинете, и ни одного дела, в чем бы оно ни заключалось, не делать секретно. В полном согласии с этой традицией каждый коммунар имеет право в любое время зайти в кабинет, усесться на свободном стуле и слушать все, что ему выпадет на долю. Коммунар, понятно, не упустит случая зайти в кабинет. Он всегда найдет какое-нибудь дело, часто самое пустяковое: попросить отпуск, доложить, что возвратился из отпуска, попросить бумаги или конверт, спросить, нет ли для него писем, что-то сверить у ССК, наконец, принести забытую кем-то в саду тюбетейку или пояс. Под такими благовидными предлогами, а иногда и без всяких предлогов коммунар задерживается в кабинете. Но, разумеется, коммунару тихонько сидеть на стуле даже и физически невозможно. Он вступает с кем-нибудь, таким же случайным гостем, в негромкую беседу в уголке. К ним присоединяется третий, и беседа разгорается.

Кроме того, в кабинет все время заходят и особы более дельные: забегает дежурный по коммуне с разными вопросами, ордерами, «запарками» и недоумениями, председатель столовой комиссии ругается по телефону с соседом-совхозом: утреннее молоко оказалось прокисшим, и председатель кричит, что есть мочи:

— Что у нас кони — казенные? «Отвезите!»... Давайте теперь ваших коней...

Иногда у стола собирается целый консилиум: девочки хотят сшить себе юбки «модерн» и демонстрируют покрой. Я с сомнением смотрю на узкую выгнутую юбочку и говорю:

— Мне кажется, мало подходит для коммунарки.

Инструктор швейной мастерской, маленькая худенькая добрая Александра Яковлевна виновато поглядывает на девчат, а девчата уступать и не собираются.

— Почему не подходит? Это вам все мальчишки наговорили?

Присутствующие тут же мальчишки поднимают перчатку:

— Тогда и хлопцы начнут модничать. Вот нашьем себе дудочки...

— Разве мы модничаем? Какая ж тут особенная мода?

— Вы их балуете, Антон Семенович,— говорят мальчишки.— Сколько уже у них платьев?

— Сколько же у нас платьев? Ну, считай...

— Ну вот, смотри,— начинает откладывать пальцы «мальчишка».— Парусовое — раз?

— О, парусовое! Так это же парадное... Смотри ты какой!

— Парадное, не парадное, а — раз?

— Ну, раз.

— Дальше: синее суконное — два?

— Что ты! Смотри, так это ж парадное зимнее. Что ж, мы в нем ходим? Надеваем два раза в год.

— Все равно, хоть и десять раз в год, Два?

— Ну, два.

— Дальше: серенькое вот, которое такое, знаешь...

— Ну, знаем... это ж спецовка.

— Спецовка там или что, а — три?

— Ну, три.

— Потом с цветочками разными — четыре.

— А что ж мы будем в школу надевать, спецовку, что ли?

— Все равно — четыре. Потом синее, рябое, полосатое, клетчатое и вот то, что юбка в складку, а кофточка...

— Что вы все выдумываете? Разве это у всех такие платья? У одной такое, у другой такое.

— Рассказывайте — такое да такое! Вот пусть об этом совет командиров поговорит, а то для коммунаров и коммунарок одна одежная комиссия, а там девчата,— что хотят, то и делают.

Девочки побаиваются совета командиров — народ там всегда очень строгий. Но и у девочек есть чем допечь мальчишек.

— Смотри ты, какие франты! Сколько у них костюмов! Парусовый — раз.

— Да что ты, парусовый! Это ж летний парадный.

— Все равно — раз?

— Ну, раз.

— Суконный синий — два.

— Ну, еще будешь считать! Сколько же мы его раз надеваем в год? Разве что седьмого ноября.

— Все равно — два?

— Ну, два.

— Черный — три. Юнгштурм — четыре.

Мальчики начинают сердиться.

— Да ты что? А что ж нам, в спецовках ходить в школу?..

Споры эти — настоящие детские споры. За ними всегда скрывается робкое чувство симпатии, боящееся больше всего на свете, чтобы его никто не обнаружил.

Попробуй та же девочка показаться в клубе в слишком истрепанном платье,— со всех сторон подымается крик:

— Что это наши девочки ходят как беспризорные. Что, им лень пошить себе новое платье?

Иногда у стола заведующего возникают дела посложнее.

Виновато разводит руками инструктор литейного цеха:

— Вчера не было току, это верно.

— А сегодня?

— А сегодня этот лодырь Топчий не привез нефти из города.

— Какое нам дело до вашего Топчия! Вы отвечаете за то, что литье начинается в восемь часов, когда выходят на работу коммунары.

Инструктор бессилен снять с себя ответственность. Коммунары лежачего не бьют,— только разве кто-нибудь вставит:

— Поменьше бы в карты играл у себя в общежитии.

Особый интерес возбуждают приезжие заказчики. Какой-нибудь технорук раскладывает на столе чертежи и торгуется с Соломоном Борисовичем, а из-за их плеч просовывают носы коммунары и нюхают, чем тут пахнет.

Вообще много интересного бывает в кабинете, и зайти в эту комнату всегда полезно.

В рабочие часы в кабинете почти никого нет, разве задержится больной или дежурный зайдет по делу.

Но как только затрубили на обед или «Кончай работу», так то и дело приоткрывается дверь, и чья-нибудь голова просовывается в кабинет, чтобы выяснить, есть смысл зайти или можно проходить мимо. Если я занят бумагами, ребята накапливаются в кабинете понемногу и начинают располагаться совсем по-домашнему. Вероятно, мой занятой вид импонирует им в высшей степени. Подымаю голову. Они не только расселись на всех стульях, но уже и в шахматы идет партия на столе ССК, а рядом — кто читает газеты, кто роется в каких-то обрезках стенных газет, кто оживленно беседует в углу. В кабинете становится шумно.

Иногда я начинаю сердиться:

— Ну, чего вы здесь собрались? Что это вам — клуб? Я у вас не играю на станках в шахматы?

Коммунары быстро скрываются и бросают недоконченную партию, но на меня никогда не обижаются.

Их можно выдворить и гораздо более легким способом:

— А ну, товарищи, вычищайтесь!

— Вычищаемся, Антон Семенович!

Но ровно через пятнадцать минут я отрываюсь от работы и вижу: другие уже набились в кабинет, опять шахматы, опять — чтение, опять — споры...

Бывают дни, когда я забываю о том, что они мне мешают. За десять лет моей работы я так привык к этому движению жизни, как привыкают люди, долго живущие у моря, к постоянному шуму волны. И поздно вечером, когда я остаюсь в кабинете один, в непривычно молчаливой обстановке работа у меня не спорится. Я нарочно иду в спальню или в лагери и отдыхаю в последних плесках ребячьего говора.

Но иногда от переутомления делаешься более нервным; тогда я дохожу даже до жалоб общему собранию:

— Это же ни на что не похоже! Как будто у меня в кабинете нет работы. Каждый заходит, когда ему вздумается, без всякого дела, разговаривает с товарищем, перебирает мои бумаги на столе, усаживается за машинку.

Все возмущены таким поведением коммунаров и наседают на ССК:

— А ты куда смотришь? Что, ты не знаешь, что нужно делать?

Два-три дня в кабинете непривычная тишина. Но уже на третий день появляется первая ласточка. Оглядываюсь,— под самой моей рукой сидит маленький шустрый Скребнев и читает мой доклад правлению о необходимости приобретения хорошего кабинета учебных пособий. Его локоть лежит на папке, которую мне нужно взять.

— Товарищ, потрудитесь поднять локоть, мне нужна эта папка,— говорю я с улыбкой.

Он виновато краснеет и быстро отдергивает локоть:

— Простите.

Я беру папку, а он усаживается в кресле уютнее, забрасывает ногу на ногу и отдается чтению важного доклада.

В двери просовывается чей-то нос. Его обладатель, конечно, сразу догадывается, что эпоха неприкосновенности кабинета пришла к концу. Он орет во всю глотку:

— Антон Семенович! Вы знаете, что сегодня случилось в совхозе?

Так как я занят, то он начинает рассказывать последние новости Скребневу и еще двум-трем коммунарам, уже проникшим в кабинет.

При всей бесцеремонности по отношению к моему кабинету коммунары прямо не могут перенести, если так же бесцеремонно в кабинет заходят новенькие. Тогда со всех сторон раздается крик:

— Чего ты здесь околачиваешься? Тебя просили сюда?

Новенький в панике скрывается, а коммунары говорят мне:

— Ох, этот же Тумаков и нахальный! Смотрите, он уже здесь, как дома.

Все поддерживают:

— Это верно. Сегодня ему говорю: «Чего ты стены подпираешь?» А он: «А тебе какое дело!»

— В столовой разлил суп, я говорю ему: «Это тебе не дома. Аккуратнее»,— так он спрашивает: «А ты что — легавый?»

Ребята хохочут.

Но через месяц, когда все раскусят новенького до конца, приучат не подпирать стены, не разливать суп и окончательно, раз навсегда забыть о том, что есть на свете «легавые»,— его присутствие в кабинете никого не удивит.

Коммунары, очевидно, считают кабинет своим центром, считают, что каждый настоящий коммунар вправе в нем присутствовать, но что для этого все-таки нужно сделаться настоящим коммунаром.

Когда в нашу кабинетную толпу входит посторонний человек с явно деловыми намерениями, ему вежливо дают дорогу, еще вежливее предлагают стул, каким-то особым способом уменьшают толпу в кабинете на три четверти нормальной и тихонько слушают, если интересно. А неинтересно, все гуртом «вычищаются» в коридор.

СОВЕТ КОМАНДИРОВ

В кабинете собирается и совет командиров. Очередные заседания совета бывают в девятый день декады, в половине шестого после первого ужина. Обыкновенно об этом совете объявляется в приказе, и коммунары заранее подают секретарю совета заявления: о переводе из отряда в отряд, о разрешении курить, о неправильных

расценках, об отпуске, о выдаче разрешения на лечение зубов и пр.

Гораздо чаще совет командиров собирается в срочном порядке. Бывают такие вопросы в жизни коммуны, разрешение которых невозможно откладывать на десять дней.

Собрать совет командиров очень легко, нужно только сказать дежурному по коммуне:

— Будь добр, прикажи трубить сбор командиров.

Через четверть минуты раздается короткий сигнал. Я не помню случая, чтобы между сигналом и открытием заседания прошло больше трех минут.

Мы стараемся созывать совет командиров в нерабочее время, чтобы не раздражать Соломона Борисовича. Да и ребята не любят отрываться от работы.

По сигналу в кабинет набивается народу видимо-невидимо. Командиры приводят с собой влиятельных членов отряда, бывших командиров и старших комсомольцев, чтобы потом не пришлось отдуваться в отряде. Приходят и все любители коммунарской общественности, а таких в коммуне большинство. У нас давно привыкли на командира смотреть как на уполномоченного отряда, и поэтому никто не придирается, если вместо командира явился какой-нибудь другой коммунар из отряда.

Заседание начинается быстрой перекличкой:

— Первый.

— Есть.

— Второй.

— Есть.

— Третий.

— Есть...

И так далее.

— Объявляю заседание совета коммунаров открытым,— заявляет ССК.— У нас такое экстренное дело. Пришло приглашение окружного отдела МОПРа провести с ними экскурсию в чугуевский лагерь. Условия предлагают такие...

Начинается самое подробное рассмотрение всех условий, предложенных МОПРом. Коммунары — все члены МОПРа и все гордятся своими мопровскими книжками, но это не мешает им с хозяйской недоверчивостью обсуждать каждую деталь предложения.

Черномазый Похожай,— добродушный и умный командир девятого отряда новеньких, уже комсомолец и общий любимец, хоть ему еще и пятнадцати не стукнуло,— сверкает глазами и басит:

— Знаем, чего это они к нам с приглашением. Наверное, у них оркестра нет. Вот они и просят: давайте ваших семьдесят коммунаров. А мое предложение такое: что нам делить коммуну? Если ехать, так всем ехать, а не ехать — так никому не ехать.

На полу под вешалкой сидит Ленька Алексюк из десятого отряда, политбеженец из Галиции, самый младший и смешливый коммунар. Его командир, Мизяк, долго соображает что-то по поводу предложения Похожая, а Ленька уже сообразил:

— Ишь, хитрые какие! Семьдесят человек... А если и мы хотим ехать?

Ленька — человек опытный и знает, что если дойдет дело до выбора, то ему скажут: «Успеешь еще, посиди в коммуне, заснешь там ночью...»

Командир третьего, Васька Агеев, о чем-то шепчется с непременным своим спутником Шведом, и я слышу обрывки разговора:

— Ну, так что?

— В копейку влетит, если все...

Берет слово Волчок, помощник командира первого. Волчка Фомичев почти всегда посылает в совет в трудных случаях.

— Да что тут говорить? Конечно, всем ехать...

Васька, секретарь, обращается ко мне:

— А как у нас с деньгами?

— Слабо,— говорю я.

Васька оживляется.

— Ну, так что ж тут говорить! Значит, предложение будет такое, как тут высказывались: едет сто пятьдесят коммунаров, проезд на «их» счет, и чтобы был обед в Чугуеве. Голосую...

В таких случаях решение бывает единогласным.

Но иногда разгораются страсти, в прениях принимают участие и гости и даже вся толпа не успевших занять стулья или присесть на полу. Тогда Васька «парится» и кричит:

— А ты чего голосуешь? Ты командир?

— Наш командир в городе, я — за него.

— Ты за него, а почему голосует Колька?

— А это он за компанию.

— Голосуют только командиры! — разрывается секретарь, и Ленька Алексюк опускает руку. Он всегда голосует, хотя его руку давно уже привыкли не замечать под вешалкой.

В особенности часто разделяются голоса в тех случаях, когда затрагиваются вкусы. Недавно решали, что покупать на лето — фуражки или тюбетейки. Народ поменьше стоял за тюбетейки, старшие настаивали на фуражках; вышло поровну. В таком случае дает перевес голос председателя. И Васька начинает важничать: долго думает, морщит лоб и отмахивается от недовольных комсомольцев, которым тюбетейка почему-то кажется несимпатичной.

— Да ну же решай, чего там морщишься? Все равно никто носить не будет.

Васька сейчас же в «запарку», поддерживаемую большинством собрания:

— Как это не будешь? А если постановят? Ты мне такие разговоры не заводи, а то в бюро придется с тобой разговаривать!

Васька и сам — комсомолец и член бюро, но ему только пятнадцать лет, поэтому ему мила тюбетейка. Теперь же, после угрозы не подчиниться постановлению, он решительно переходит на сторону золотой шапочки и подымает руку:

— За тюбетейку!

Бывает часто, что и мне приходится оставаться в меньшинстве. В таких случаях я обычно подчиняюсь совету командиров, и тогда ребята торжествуют и «задаются»:

— Ваша не пляшет!

Но бывает и так, что я не могу уступить большинству совета. У меня тогда остается один путь — апеллировать к общему собранию коммунаров. На общем собрании меня обычно поддерживают все старшие коммунары, бывшие командиры и почти всегда — комсомольцы, способные более тонко разбираться в вопросе.

Благодаря такой конъюнктуре командиры очень не любят, когда я угрожаю перенести вопрос на общее собрание, и недовольно бурчат:

— Ну да, конечно, на общем собрании за вас потянут. А вы здесь должны решать, а не на общем собрании. Им что, поднять руку!

В прошлом году стоял вопрос о летней экскурсии. Совет командиров настаивал на Крыме, я предлагал Москву. В совете о Москве и слышать не хотели:

— В Крыму и покупаться и отдохнуть...

— У нас мало денег для Крыма, а в Москву дешевле,— возражал я.

— Мы и в Крыму проживем дешево.

— В Москве больше увидим, многому научимся, увидим столицу.

— А Харьков не столица разве?

Я все же не помирился с советом и перенес вопрос на общее собрание. Все командиры агитировали против меня, яркими красками рисовали прелести Крыма и отмахивались от моей поправки: «В этом году — в Москву, а в следующем — в Крым».

На общем собрании решение ехать в Москву было принято большинством трех голосов, и это дало основание в совете командиров поднять вопрос о пересмотре. При новом голосовании в совете я остался уже не в таком позорном одиночестве, а на новом общем собрании мне удалось собрать больше двух третей голосов благодаря единодушной поддержке комсомола. Только тогда оппозиция успокоилась.

Такие случаи объясняются тем, что в командирах ходят не обязательно самые авторитетные коммунары. Командир командует отрядом три месяца и на второй срок избирается очень редко. С одной стороны, это очень хорошо, так как почти все коммунары таким образом проходят через командные посты, а с другой стороны, получается, что командиры сильно ограничены влиянием старших коммунаров. Последние, в особенности комсомольцы, умеют подчиняться своим командирам в текущем деле, на работе, в строю, но зато независимо держатся в общественной жизни и в особенности на общем собрании. Здесь коммунары вообще не склонны разбирать, кто командир, а кто нет.

Исключительное значение имеет в коммуне ячейка комсомола, объединяющая больше шестидесяти коммунаров. Она никогда не вмешивается в прямую работу совета командиров, но очень сильно влияет на общественное мнение в коммуне и через свою фракцию всегда имеет возможность получить любое большинство в совете. Поэтому в вопросах, имеющих принципиальное значение, совету командиров часто приходится только оформлять то, что уже разобрано и намечено в разных комиссиях, секторах, бюро ячейки и, наконец, в общем собрании комсомола.

Но зато в повседневной работе коммуны, во всех многообразных и важных мелочах производства совет командиров всегда был на высоте положения, несмотря на свой переменный состав. Здесь большое значение имеют традиция и опыт старших поколений, уже ушедших из коммуны. Вот мы сейчас собираемся уезжать, и в совете командиров все хорошо знают, что нужно подумать и о котлах, и о ведрах, и о сорных ящиках, о правилах поведения в вагонах, о характере работы столовой комиссии, о санитарном оборудовании похода. Во всех этих делах ребята не менее опытны, чем я, и быстрее меня ориентируются. Только поэтому мы могли в пять часов вечера окончить работу в мастерских, а в шесть выступить в московский поход.

Из особенностей работы совета необходимо указать на одну, самую важную: несмотря на все разногласия в совете командиров, раз постановление вынесено и объявлено в приказе, никому не может прийти в голову его не исполнить, в том числе и мне. Может случиться, что я или старшие комсомольцы будем разными путями добиваться его отмены, но мы совершенно не представляем себе даже разговоров о том, что оно может быть не выполнено.

В начале этого лета одно из постановлений совета прошло незначительным большинством и при этом наперекор общему настроению. Дело касалось охраны лагерей. Зимой сторожевой отряд освобождался от работы в мастерских — иначе было нельзя: коммунары занимались в школе, а из школы мы никогда ребят не снимали. Но когда настали каникулы, совет командиров возбудил вопрос об охране лагерей в порядке дополнительной

нагрузки. Большинство в совете набралось очень незначительное — один или два голоса. Вся коммуна была недовольна. Еще бы: нужно вставать ночью и становиться на дневальство на два часа, и это приходится делать раз в пятидневку. Но другого выхода не было.

Дня два мы не решались объявить постановление в приказе, я даже побаивался: а вдруг не выполнят?

Наконец, решились с Васькой: чего там смотреть! Объявили в приказе давно известное всем решение.

И ни одного голоса не раздалось против, ни один человек не опоздал на дневальство и не проспал. Вопрос был исчерпан. И мы этому не удивились. Васька, подписывая приказ, недаром говорил:

— Кончено! Подписали!

НАШИ ШЕФЫ

Правление, в которое Соломон Борисович грозил перенести вопрос о копейке, имеет огромное значение в жизни коммуны. В правлении — четыре товарища. По странному совпадению фамилии всех членов правления начинаются на одну букву Н.

Члены правления — чекисты. Они отнюдь не перегружены педагогической эрудицией и, вероятно, никогда не слышали о «доминанте». Но они создали нашу коммуну и блестяще руководят ею.

Все члены правления — люди очень занятые. Они могут нам уделять лишь немного времени по вечерам или в выходной день, да и то очень редко. Несмотря на это, ни одна деталь нашей жизни не проходит мимо них, они всегда полны инициативы.

Н. приезжает в коммуну без портфеля и в дверях весело здоровается с коммунарами. Коммунары, занятые своими делами, пробегают мимо него и наскоро салютуют. Они не чувствуют перед Н. ни страха, ни смущения. Н. направляется в кухню и в столовую. Старшая хозяйка расплывается в улыбке и спрашивает:

— Может, пошамаете чего?

— Потом, потом...

Н. обходит спальни. Его сопровождает случайно прицепившийся коммунар, почему-либо свободный от рабо-

ты. Из седьмой спальни Н. выносит кривой «дрючок» и с укоризненным видом опирается на него, пока Сопин, украшенный красной повязкой ДК, отдает рапорт:

— В коммуне все благополучно, коммунаров сто пятьдесят один.

— Все благополучно? А это зачем в спальне?

— Наверное, для чего-нибудь надо,— уклончиво отвечает Сопин.

— Надо!.. Для чего это может понадобиться? Собак гонять?

— Почему для собак? Наверное, для чего-нибудь нужно пацану,— может быть, какое-нибудь дерево особенное.

Сопин присматривается к «дрючку», стараясь найти в нем в самом деле что-нибудь особенное.

— Дерево...— говорит Н.— Вы это обсудите в санкоме, почему в спальнях разные палки.

— Конечно, если придираться... А у вас в комнате ничего не бывает? Вот палку нашли...

— Да чудак ты! Зачем я в комнату принесу палку, такую кривую?

— Вам не нужна, а пацану, может, нужна для чего... Больше никаких замечаний нет?

Сопин оставляет Н. Через минуту врывается в кабинет с этой самой палкой в руках и гневно говорит Ваське ССК:

— И откуда, понимаешь, понатаскивают разной дряни! На поверке, понимаешь, ничего не было, а теперь палок разных...

Васька строго смотрит на палку.

— Что? Наверно, Н. приехал?

Но Н. уже входит в кабинет в сопровождении какого-то пацана, рука его лежит у пацана на затылке, и пацан что-то лепечет, задирая вверх голову.

Васька отставляет палку в угол и салютует.

— Вы опять его балуете? Ты чего без дела?

— У меня пас лопнул, зашивают,— шепчет пацан и немедленно удаляется.

Н. усаживается за стол ССК.

— Ну, как у вас дела?

— Дела скверные,— говорит Васька.— Дуба нет, в

цехах тесно, холодно, станки старые, пасы рвутся, считай, каждую минуту: все старье.

— Постой, постой, это мы знаем...

— Ну, а так все хорошо.

— Вот, подожди немножко, поправимся, построим новые цехи, все будет. Ну, пойдем в цех.

К сигналу «Кончай работу!» они возвращаются в кабинет. С ними приходят другие коммунары и Соломон Борисович. Соломон Борисович недоволен:

— А деньги где? А фонды?

Мы не открываем заседания. Без председателя и протокола мы в течение получаса решаем вопрос о том, где достать леса, как отеплить цех, какую спецовку выдать Леньке.

Между делом Н. говорит:

— Завтра в клубе интересный концерт. Пришлите тридцать коммунаров.

Наконец, подошли и к вопросу о копейке в никелировочном. О ней докладывает Васька и Соломон Борисович с диаметрально противоположными выводами. Н. хохочет и кивает Соломону Борисовичу:

— Придется платить.

— Вам хорошо говорить! — закипает покрасневший Соломон Борисович, но ему не дают кончить коммунары. Они тоже хохочут и теребят Соломона Борисовича за полы пиджака:

— Го̀ди! Теперь уже го̀ди!..

Приблизительно раз в месяц коммуна бывает в клубе ГПУ. Коммунары рассыпаются по залам клуба, занимают первые ряды в зрительном, толпятся у стоек буфета, угощаются чаем. Беседуют со знакомыми, договариваются о каких-то делах — спортивных, литературных, комсомольских, смеются и шутят. Чекисты создали нашу коммуну, они знают в лицо многих коммунаров, для них коммуна Дзержинского — живое дело, созданное их коллективом и неуклонно развивающееся благодаря их заботе.

Сколько наговорено слов о связи детского дома с производством и с окружающим населением! Создана целая методика по этому вопросу. А оказывается, нужно про-

сто сделать детский дом органической частью общества, создавшего его и за него ответственного. Только в таком случае создается тот необходимый фон, без которого советское воспитание невозможно.

Наши шефы — люди, занятые чрезмерно, занятые круглые сутки. Но все-таки они находят время подумать о коммунарах, и они умеют все делать, не выставляя напоказ своей заслуги. Это естественно: наша коммуна — их коммуна, и забота о ней — забота о близком и дорогом деле, которое тем дороже, чем больше на него положено сил.

Коммунары-дзержинцы имеют все основания встречать свое начальство просто и без напряжения, потому что это приезжают свои люди, близкие.

И так же просто и естественно выходит, что товарищ Н. ночью, после целого дня напряженной работы, выезжает на вокзал встречать возвращающуюся из Москвы коммуну и заботливо спрашивает:

— Никто не потерялся? Все здоровы?

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

Комсомольцев в коммуне шестьдесят пять. Все они очень молоды, самому старшему семнадцать лет. Наши коммунары — плохие ораторы. Коммунарская жизнь упорядочена и логична. На общих коммунарских собраниях всегда все так ясно и все так единодушны, что разговорившегося оратора немедленно останавливают и председатель и все собрание: «Довольно, знаем!» Больше всего приходится говорить ребятам на производственных совещаниях, но там такой малый и в то же время четкий круг вопросов, что разговор принимает форму беглой беседы. Ораторским способностям коммунаров негде развернуться.

Нужно сказать и еще одну правду: коммунарам зачастую бывает в высшей степени мучительно выслушивать заезжих докладчиков, способных в течение часа излагать то, что всем давно известно. Невысоко ценится в коммуне и тот кустарный пафос, которым умеет щегольнуть кое-кто из приезжих «ораторов».

Но все же коммунары всегда болезненно переживали те неловкие минуты, когда в ответ на какое-нибудь цветистое и полное «измов» приветствие никто в коммуне не мог ответить. С приходом Шведа это больное место в нашем коллективе было как будто залечено. Комсомольцы прямо назначили Шведа присяжным ответчиком и приветчиком во всех подходящих случаях.

А таких случаев бывает много в коммуне: посещение торжественных собраний в разных клубах, проведение в самой коммуне различных кампаний и т. д. Швед умеет смело выйти на трибуну и начать говорить, ни разу не сбиваясь. Коммунары с восхищением смотрят на самоуверенного трибуна Шведа, такого ласкового и мягкого в нашем коммунарском быту. Но иногда Швед уж слишком разойдется, и тогда его апломб вызывает возражения в коммуне:

— Что это такое: «Я надеюсь, что ГПУ исполнит свой долг»?

Неожиданно в коммуне обнаружился и второй оратор, четырнадцатилетний Васька Камардинов. По должности ССК ему часто приходится брать слово и произносить речи.

Васька никогда не употребляет книжных выражений, всегда умеет найти живые и непритязательные слова и подкрепить их смущенным жестом и смущенной улыбкой. Он никогда не мог бы произнести такие ответственные слова, на которые с легким сердцем решается Швед:

— Перевыборы нашего самоуправления, товарищи, происходят в весьма сложной обстановке: с одной стороны, буржуазия делает последние усилия, чтобы справиться с мировым кризисом и втянуть нас в войну, с другой стороны — Советский Союз строит свою пятилетку уже не в пять лет, а в четыре года.

Кроме этих двух присяжных ораторов, есть, правда, в коммуне и другие, которые отваживаются даже при посторонних брать слово и пытаются что-нибудь высказать. Но наши доморощенные докладчики сначала весьма смущаются и лишь постепенно овладевают задачей более или менее удовлетворительно изложить на нашем русско-украинском языке (результат перехода из русской школы в украинскую и обратно) существо дела.

Но совсем другое дело на общих собраниях, в совете командиров, на производственных совещаниях, где коммунар не чувствует себя обязанным блеснуть ораторским искусством, всегда коммунары найдут там яркие и нужные экономные слова, достаточно при этом остроумные, горячие и убедительные. Застрельщиками в таких выступлениях всегда бывают комсомольцы.

Комсомольской ячейке коммунаров работы по горло. Руководство ходом соревнования и ударничества лежит на плечах нашего комсомола.

Наш взрослый состав неудовлетворителен во многих отношениях. Например, один из рабочих, только что поступивший на производство, ночью пьянствовал на Шишковке, а наутро оказалось, что у других рабочих пропали вещи, что в цехе не хватает двух новых рубанков. В обеденный перерыв легкая кавалерия бросилась на Шишковку и ликвидировала целый самогонный завод, а вечером бюро до двенадцати ночи договаривалось с месткомом об увольнении рабочего.

В таких случаях местком обязательно проводит линию милосердия и прощения, а комсомольцы кроют:

— Какой он там рабочий?.. Разве это рабочий? Уволить — и все!

— Нельзя же, товарищи, так строго,— говорит один из воспитателей-месткомовцев.

— Почему нельзя так строго? — удивляется Сторчакова.

— Ну, все-таки в первый раз.

— Как это — в первый раз? Что ж, по-вашему, каждый по разу может украсть и пропить?

На производственных совещаниях и в комиссиях — а их в коммуне шесть — для комсомольцев самая тяжелая повседневная работа. Здесь по целым вечерам приходится биться над тонкостями сортирования материалов для отдельных частей стола, выпускаемых деревообделочной мастерской, неправильностью проводки к никелировочной ванне, новыми приспособлениями у токарных зажимов, капризами расмусного станка, расхождениями отделов токарного цеха, недостатками вентиляции в литейной...

Мне их становится иногда жаль. На улице золотой радостный вечер, кто-то смеется и кто-то катается на ве-

лосипеде, а в «тихом» клубе наморщили лбы пять комсомольцев и выслушивают довольно путаные объяснения мастера, которому следовало бы в двух словах повиниться и признать, что вчера проспал и поэтому в цехе полчаса не было работы. В таких случаях я нажимаю и требую сокращения работы комиссий.

Раз в две пятидневки бывает общее комсомольское собрание. На собрание приходят обычно все коммунары, даже Ленька Алексюк заранее занимает место за передним столом.

Самое трудное дело для нашего комсомола, труднее всех производственных тонкостей — дела пионерские. Не налаживается у нас с пионерами. Пока не работали малыши в производстве, еще шли у них дела. Теперь же они возгордились и считают, что в пионерах им делать нечего.

Комсомольцы их и укоряют, и убеждают, и прикрепляют к ним все новых и новых работников, но пионеры неизменно отлынивают от пионерработы. Зато почти еженедельно они подают в комсомол заявления о приеме. В самом деле, как пацану работать в пионерах, если по квалификации он перегнал своего командира, если по школе он перегнал многих комсомольцев, если в политиграх он идет впереди, если газет он читает больше? Можно вступать в комсомол с четырнадцати лет. «Ясно, что комсомол неправильно гонит в пионерорганизацию».

В пионерорганизации только одному Леньке Алексюку место, но и Ленька с удовольствием посещает комсомольские собрания и совет командиров, а в пионеротряде — прогульщик.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

После второго ужина в коммуне наступает час, когда вся дневная программа считается законченной, все обязанности исполненными. Но кое-где еще бьется пульс дневного напряжения.

В столовой еще ужинают: дежурства, подавальцы, опоздавшие.

У парадного входа балагурят старшие в ожидании общего собрания. Здесь же собираются и инструкторы и рабочие, любители наших общих собраний. Образуют-

ся группы вокруг наиболее веселых и говорливых товарищей. Если сегодня была сыгровка оркестра, то веселее всего тем, кто толпится вокруг Тимофея Викторовича, нашего капельмейстера. Ему шестьдесят лет от роду, но в то же время он самый здоровый, энергичный и общественный человек в коммуне, никогда не устает ни от работы, ни от толпы. Он пользуется огромным авторитетом не только среди музыкантов, а решительно у всех коммунаров. Тимофей Викторович — человек полный, у него подстриженные усы и нос картошкой. Он был и на японской, и империалистической, и на гражданской войнах, побывал чуть не во всех частях света. Этот умный и жизнерадостный человек любит порассказать о своих приключениях и наблюдениях.

В кабинете яблоку упасть негде. Командиры приготовляют рапорта и передают дежурному по коммуне для подтвердительной визы. Любители кабинета в этот момент собраны в наибольшем количестве. Да и трудно не зайти в кабинет, когда здесь и Соломон Борисович с последними производственными новостями и планами, восторгами и обидами, здесь и наш клубник, оригинал и фантазер Перский, всегда занятый неким изобретением, подозрительно похожим на перпетуум-мобиле; возле Перского непременный штаб, состоящий из самых недисциплинированных, самых дурашливых, предприимчивых и способных коммунаров,— Ряполова, Сучкевича, Боярчука, Швыдкова.

В этот час только и можно выпросить у меня денег на какие-нибудь приспособления для изокружка, у Соломона Борисовича — дикт и гвозди, у ССК — бумаги и резинок. На диване или на полу поспешно заканчивают шахматную партию наши маэстро. Среди них — физкультурник Карабанов, старый мой товарищ по горьковской колонии, когда-то вместе со мной закладывавший камень за камнем фундамент горьковского здания, до того — беспризорный и бандит, а теперь — один из самых влиятельных дзержинцев, по-прежнему упорный и огневой, наш чемпион в шахматах. Тут же и какой-нибудь заночевавший гость, чаще всего из учителей. Он не может постигнуть, каким образом в этом невероятном шуме решаются дела, пишутся бумаги, выдаются деньги, производятся расчеты и утверждаются акты.

В вестибюле в это время, то и дело поглядывая на циферблат наших главных часов, стоит дежурный сигналист.

Ровно в половине девятого сигналист поправляет рубашку и пояс и трубит сразу два сигнала — старая наша традиция — «сбор командиров» и «общее собрание». Как и все остальные сигналы, этот играется четыре раза: в вестибюле, на парадном крыльце и на двух углах здания. Когда до меня долетают последние звуки, я оставляю свой пост и выхожу из опустевшего кабинета. В конце коридора при входе в «громкий» клуб я вижу сбегающихся по сигналу коммунаров.

В «громком» клубе чинно сидят коммунары, а поперек зала стройно вытянулись в две шеренги командиры. Против них, у самой сцены,— дежурный по коммуне с красной повязкой. Когда шум постепенно стихает, раздается голос дежурного:

— К рапортам встать!

Начинается церемония рапортов. Каждый командир подходит к ДК, держа в руках рапорт. Командир вытягивается в салюте сегодняшнему старшему, за ним вытягивается и весь зал: коммунары салютуют командиру и в его лице всему отряду. В зале полная тишина, и все ясно слышат рапорт:

— В седьмом отряде все благополучно.

— В девятом отряде все благополучно. Заболел Васильев.

— В десятом отряде все благополучно. В цехе было три рабочих часа простоя.

— В пятом отряде все благополучно. Во время работы поссорились Лазарева и Пономаренко.

— В одиннадцатом отряде все благополучно. В командировке Богданов.

После командиров отдают рапорты дежурный член санитарной комиссии, старшая хозяйка и командир сторожевого отряда. У ДЧСК обычные замечания: за столом четвертого отряда было грязно, Романов не чистил утром зубы. У старшей хозяйки тоже обычное: Тетерятченко разбил чашку. А у командира сторожевого: Семенов не вытер ноги, девочки не прикрывают двери, Уткина была в спальне без ордера.

Дежурный по коммуне в ответ на рапорт говорит:

— Есть.

Рапорты окончены, все опускаются на стулья, а на месте ДК появляется очередной председатель, назначенный вчерашним приказом, и секретарь.

— Объявляю общее собрание коммунаров открытым.

Председатель заглядывает в кучу рапортов с особыми замечаниями, специально отложенными ДК.

— Тетерятченко!

Тщедушный Тетерятченко выходит на середину зала. На блестящем паркетном полу под главным фонарем он становится в позу «смирно».

— В рапорте старшей хозяйки отмечено, что ты разбил чашку,— говорит председатель.

Наиболее распространенный ответ коммунаров на такое обвинение:

— Я ее не разбил. Она стояла, а я подошел к ней и хотел взять в руки, а она распалась.

Коммунары всегда помнят, что еще в прошлом году я предложил им отвечать так:

— Я посмотрел на чашку, а она распалась.

Чашек у нас уже не хватает. Многим в столовой приходится ожидать, пока освободятся чашки. Я умышленно не покупаю пополнения, и все ребята догадываются, почему: бейте, значит,— посмотрим, чем это кончится. Неудобство от недостатка чашек огромное, но все знают, что меня лучше не трогать, потому что я скажу: «Чашки были пополнены три месяца назад. Денег на новое пополнение нет». Поэтому никто и не заикается о пополнении.

Волчок просит слова:

— Я думаю, что с чашками как-нибудь нужно что-то сделать. Каждый день бьют. Или не давать таким, как Тетерятченко,— он где ни повернется, так испортит что-нибудь. Надо греть таких раззяв.

Собрание склонно последовать этому совету, но у каждого на совести есть чашка или тарелка, поэтому прения не развиваются.

Я вношу предложение: придется купить алюминиевые, эти не будут биться. В зале начинают сердиться. С места говорят:

— Буза — алюминиевые!

Председатель строго говорит Тетерятченке:

— Садись. Да смотри, в другой раз осторожнее поворачивайся вокруг посуды.

Тетерятченко, довольный, что дешево отделался, салютует председателю и отправляется на свое место.

Председатель снова заглядывает в рапорт.

— Лазарева и Пономаренко.

На середине две небольших девочки, однако они умеют уже кокетливо жеманиться и демонстрируют сразу и смущенную застенчивость и пренебрежение к собранию. Они — новенькие, их только недавно прислала к нам комиссия по делам несовершеннолетних. Жили они еще совсем недавно в какой-то наробразовской колонии и своим «поведением» и решительным нежеланием подчиниться авторитету педагогов заслужили удаление из колонии.

Пономаренко — постарше, у нее выцветшие прямые волосы, челка почти закрывает глаза. Она задирает голову и все время вертится.

С краев зала несколько голосов кричат:

— Стань смирно! Что ты танцуешь?

Пономаренко вихляет ногой и бурчит:

— А вам не все равно?

На сцене, где всегда заседают самые активные пацаны, кто-то не выдерживает и, не получив слова, приступает сразу к речи:

— До каких пор это будет продолжаться? Они даже на собрании вести себя не умеют.

Председатель строго осаживает горячего оратора:

— А ты чего кричишь? Тебе давали слово?

— Ну, так дай слово.

— Говори.

Со стула подымается небольшой кучерявый Гершанович и начинает говорить, жестикулируя правой рукой над головами сидящих впереди товарищей:

— Я думаю, что с Пономаренко нечего возиться. Сколько уже раз она давала слово, а все равно каждый день на середине, да еще выйдет и ломается, как будто она барышня какая. Надо отправить ее, откуда пришла.

Пономаренко, окинув Гершановича сердитым взглядом, намеренно резко говорит:

— Ну, и отправляйте! Что ж, подумаешь, нужно очень!

В зале подымается возмущенный шум. Со всех сторон раздается:

— А что ж, на твою челку смотреть будем?

— Да, конечно, отправить ее в комиссию!

— Пацанов сколько в коллекторе ждет вакансии в коммуне, так тех не берем. Не видели ее ужимок!

— Пусть едет в Волчанск и там ужимается, сколько хочет!

Председатель с трудом наводит порядок в зале:

— Вот спросим, что ее командир скажет? Вехова, что сегодня случилось?

Вехова, румяная девочка лет шестнадцати, аккуратненькая и приветливая, как всегда склонив голову немного набок, подымается со стула.

— Да сегодня они с утра в мастерской все спорили из-за какой-то катушки. Их несколько раз и я останавливала, и Александра Яковлевна, и все девчата. Перестанут, а потом опять начинают. А сегодня после обеда, когда только что пришли на работу, они вцепились одна другой в волосы и такое подняли, что пришлось дежурного по коммуне вызывать.

В зале хохот. Сам председатель смеется. Из-под экрана кто-то из малышей старается всех перекричать:

— Их надо остричь, остричь надо, тогда не за что будет хвататься!

Слово берет Редько:

— Я думаю, что тут все девчата сами виноваты...

У девчат:

— О, придумал, уже мы виноваты!

— Да, виноваты! Как это можно не справиться с ними? Пусть у нас в цехе попробуют драться! А если у вас нет силы их примирить, так держите всегда под рукой ведро с водой или огнетушитель повесьте.

Взрыв смеха настолько заразителен, что и сами обвиняемые смеются. Редько раздражается:

— Вот смотрите, они еще смеются!

Председатель отмахивается от Редько рукой и дает слово Воленко.

Воленко всегда старается стать на сторону униженных и оскорбленных. Большинство коммунаров его недолюбливает.

— Чего все так напали на девчат? Чем они виноваты? Только недавно прибыли, никакой культуры не нюхали. Нужно было им разъяснить.

Из угла девочек возмущаются:

— Мало им разъясняли! И мы сколько раз, и здесь на общем собрании, и воспитатели сколько уже с ними разговаривали да уговаривали, и в комсомол их вызывали, да и сам Воленко брался.

— Надо все-таки и дальше продолжать, пока они не станут культурнее, а то они еще совсем, как дикари.

Пономаренко быстро оборачивается к Воленко:

— Сам ты дикарь! Нужны кому твои разговоры!

В зале опять смех.

— Садись, Воленко, пока цел.

Слово получает Сопин. Он сегодня серьезен:

— Довольно уже с ними возиться! Я считаю, что разговаривали довольно. Надо с ними построже. Нужно запретить им работу в мастерской — вот что, раз они там себе прически только портят. Не пускать их в мастерскую, пускай уборкой занимаются.

— Правильно! — кричат со всех сторон.

Председатель видит, что вопрос выяснен.

— Можно голосовать? — спрашивает он дежурного заместителя.

Наложить взыскание имеет право и сам ДЗ единолично, если проступок не представляет собой ничего необыкновенного, но всегда считается полезным передать карательные полномочия общему собранию. Для голосования наказания все-таки необходимо согласие ДЗ.

— Не возражаю.

Предложение Сопина принимается единогласно. Пономаренко и Лазарева направляются к своим местам, но председатель останавливает:

— А салют?

Они нехотя салютуют.

На другой день они убирают в саду и в коридорах, но уже к вечеру приходит ко мне Вехова и говорит:

— Там Пономаренко и Лазарева просят, чтобы их простили. Говорят, что никогда так не будут делать.

— Так я же не могу, ведь общее собрание постановило.

— И я им говорила, а они все-таки просят.

— Ну, вот сегодня на собрании поговорим.

Вехова уходит, а через пять минут в кабинет потихоньку просовываются Пономаренко и Лазарева и, увидев, что в кабинете никого нет, шепчут:

— Если вы нас не можете простить, так не нужно на общее собрание ставить вопрос.

— Почему?

— А ну их! Эти хлопцы опять смеяться будут.

— Ну, а в самом деле, разве не смешно, что вы в мастерской в драку вступаете, как петухи? Что же делать! Общему собранию трудно не покориться. Я советую вам все-таки сегодня как-нибудь помириться с собранием.

Они молча уходят.

На собрании я сообщаю, после выяснения всех очередных вопросов:

— Вчера мы довольно строго наказали двух девочек. Сегодня они хорошо работали на уборке и просили меня и командира шестого, чтобы с них наказание сняли. Больше драться они, конечно, не будут.

— Ну что ж, можно и амнистировать,— спокойно басит Похожай, командир девятого.

Волчок хлопает по плечу сидящую рядом с ним Пономаренко и говорит:

— Такая славная девочка, только бы на басу играть, а она — в прическу.

В зале улыбаются.

Председатель мирно спрашивает:

— Так что ж, может, и в самом деле на этот раз?..

Редько со смеющимся, всегда довольным лицом поворачивается во все стороны:

— Оно и не следовало б прощать, да так уже, для хорошего вечера...

— Возражений нет?

— Нет! — кричит весь зал.

Председатель обращается в ту сторону, где спрятались за спинами товарищей виновницы торжества:

— Ну, смотрите, собрание вас прощает. Ну, а если еще такие драки будут...

— Ладно,— говорит Пономаренко.

Редько серьезно поправляет:

— Не ладно, а есть.

— Ну, есть.

В зале смех.

Почти каждое общее собрание начинается с вызова бенефициантов на середину. Но большею частью их бывает очень немного и притом с пустяковыми провинностями. А бывает не раз, что командиры только быстро чеканят салюты:

— Все благополучно.

— Все благополучно.

— Все благополучно...

Я налагаю наказания очень редко. Чаще всего — по рапортам дежурных заместителей. Последние довольно строги, но возможности у них ограничены: «два наряда», «без киносеанса», «без отпуска». Попавшие «в наряд» записываются контролем коммуны в его блокнот и по требованию дежурного по коммуне посылаются на дополнительные работы: им приходится убирать в день отдыха здание, отправляться в командировку в город, подметать в саду.

Наиболее легко отделываются назначенные «без кино». Когда должен начаться киносеанс и все коммунары собрались уже в зале и выслушивают очередной короткий политобзор, оставленные без кино вертятся у дверей и окон коридора и делают вид, будто они интересуются вечерним пейзажем. Это действует на меня или на того заместителя, который их наказал.

— Ты чего здесь вертишься? — спрашивает дежурный.

— Мы без кино.

— Ну, так и идите спать.

На это предложение угрюмо отмалчиваются.

Я кричу в дверь залы:

— Никитин, этих пусти, пусть в последний раз посмотрят картину, все равно завтра снова попадутся!

— А может, и не попадемся!

После разбора рапортов каждый коммунар может поднять на собрании любой вопрос: о пище, об одежде, о производстве, о работе кружков, о распределении занятий, да и мало ли о чем. Главным толкачом здесь бывает всегда комсомол.

ПОЛОВАЯ ПРОБЛЕМА

Наши посетители, в особенности педагоги, часто спрашивают, как обстоит у нас дело с половой проблемой.

Что можно ответить такому педагогу? В самом деле, известно, что в детских домах было много случаев, когда создавалась нездоровая обстановка.

У нас, как в любой здоровой семье, живут вместе девочки и мальчики, и это не вызывает никаких осложнений. Всякое здоровое детское общество может прекрасно развиваться в этих условиях.

Если же это не так, значит данное общество детей недостаточно здорово, то есть не спаяно в одну семью, не занято, не имеет перспективы, не развивается, недисциплинированно, обкормлено или недокормлено, а во главе его стоят люди, которых дети не уважают.

Отношения между девочками и мальчиками у нас исключительно товарищеские.

Девочки-коммунарки выглядят гораздо подобраннее и аккуратнее мальчиков, но никогда не выделяются в особое общество. Года три назад мы еще замечали, что девочки несколько дичатся ребят, стараются держаться от них особняком. С другой стороны, и мальчики старались показать, что для них девочки совершенно не нужны, что можно было бы и без них обойтись, что вообще «девчонки здесь лишние». Бывали и случаи проявления несколько грубоватого, но все же исключительного внимания к некоторым девочкам, принесшим с собою немного безобидной кокетливости. Но дальше этого дело не пошло.

Совет командиров, по моему настоянию, лишил отряды девочек права иметь отдельные столы в столовой. Это было сделано под тем предлогом, что во многих отрядах мальчики не умеют аккуратно есть. Чтобы научить их аккуратности, привлекли на помощь к командиру по две, по три девочки. Девочки сначала стеснялись и жеманились, но потом дело пошло как по маслу. Хотя в отрядах и называли девочек «хозяйками», на самом деле никаких хозяйственных функций девочкам поручено не было. Но эта мера приблизила девочек к ребятам, приблизила в очень хорошей обстановке и форме коллек-

тив к коллективу. С тех пор всякая отчужденность между девочками и мальчиками исчезла.

Все это вовсе не значит, что в коммуне совершенно не заметно отличительных особенностей совместного воспитания. Не подлежит сомнению, что многим мальчикам и девочкам уже доводится переживать пробуждение каких-то особых симпатий. Но нам, педагогам, беспокоиться совершенно не приходится, хотя мы прекрасно понимаем, что стоит ослабить связующие скрепы коллектива, хотя бы в самой небольшой мере, и у нас сразу вырастет половая проблема, взаимное половое тяготение будет осознано отдельными парами, появится желание близости и т. д. Нужно сказать, что подчинение ребят законам коллектива — акт, отнюдь не бессознательный.

Ни для кого из коммунаров не тайна — сущность половых отношений. Но зато для всех является абсолютно непреложным наш закон — закон нашей коммуны: в нашей коммуне не может быть никаких половых отношений. Этот закон вытекает из ясного представления об интересах коммуны, из представления об интересах отдельной личности, из мыслей о доброй славе коммуны, и выражается этот закон в ощущении ответственности перед общим собранием, в ощущении настолько реальном, что одна мысль о возможности отвечать в этом вопросе перед собранием — страшнее всех прочих бед.

Наиболее строгими блюстителями этого закона являются пацаны. Общественное мнение, формирующееся среди этого народа, настолько требовательно и выразительно, что даже мысли о каком-нибудь споре быть не может.

Года два назад кто-то из пацанов на общем собрании поднял вопрос:

— А почему после сигнала «спать!» Иванов гуляет в саду с Николаевой?

Иванов, красный, как клюква, вышел на середину и объяснил собранию, что Николаева попросила его объяснить задачу. Но его перебили ехидными замечаниями:

— Видно, трудная задача, долго что-то объяснялся. Я уж ждал-ждал, заснул, проснулся, а они все объясняются...

— Довольно заливать! Ухаживать тут начинают...

Кто-то из старших пытался изменить настроение собрания:

— В самом деле, у нас нельзя поговорить с девочкой, сейчас же начинают...

Но пацаны крыли немилосердно:

— Бросьте там — поговорить! Мало вам разговаривать днем? Сколько хочешь разговаривай, никто за тобой не ходит и не слушает и даже внимания никто не обращает. А если уж в сад выбрались разговаривать, значит тут секреты. Мое мнение такое: запретить всякие такие прогулки в парочках после сигнала спать — и все!

Председатель проголосовал. Предложение было принято единогласно, потому что ни у кого рука не могла подняться против.

Иванов после этого долго отдувался,— было стыдно, что так основательно посадили пацаны на общем собрании. А спрос с них невелик, даже поколотить нельзя — у каждого пацана глотка большая и защитников множество, да и отряд не позволит.

В прошлом году прислали новую воспитанницу в коммуну, восемнадцатилетнюю Шуткину.

Шуткина развязна, хороша собой. С первых дней она показала себя. Когда она в воскресенье вернулась из отпуска, на общем собрании откуда-то из-под экрана спросили:

— А пускай Шуткина скажет, куда она ходит в отпуск, почему она гуляет с кавалерами и почему у нее были губы накрашены?

Бывалая Шуткина — в контратаку:

— А ты видел? Ты много понимаешь — накрашены!

— А что ж тут не понимать? Я сам в художественном кружке... А почему с кавалером?

— А что ж, нельзя с человеком встретиться?

Я остановил ребят: нельзя, в самом деле, так придираться.

На другое воскресенье Шуткина снова ушла в отпуск. Часов в девять вечера меня позвали к телефону. Женский голос передал, что говорит подруга Шуткиной, что Шуткина не может возвратиться в коммуну, потому

что у нее температура, она останется ночевать у подруги.

Я командировал в город двух ребят с поручением нанять извозчика, привезти Шуткину в коммуну, показать врачу и положить в больничку.

Ребята возвратились расстроенные: Шуткиной дома не застали, а квартирная хозяйка сказала, что обе подруги ушли гулять.

Еще через неделю Шуткину вызвали на середину и сказали:

— Опять с пижонами ходишь?

— С какими пижонами? Что вы все выдумываете!

Ей перечислили, с какими. Оказывается, осведомленность у ребят была исчерпывающая.

Пацаны крыли прямо:

— Если ты женатая, так переходи на производство, хоть и в коммуне. А чего ты в коммунарки пришла, да еще всех обманываешь, больной прикидываешься!

Шуткина послушалась совета и на другой день попросила меня отправить ее на производство.

Однако в коммуне умеют оценить настоящую любовь.

Весной двадцать девятого года зацепили пацаны на собрании Крупова — зачем ухаживает за Орловой. Крупов, кандидат на рабфак, густо покраснел и пробурчал:

— Да ничего такого нет... Ну, хорошо, больше не будет.

Но любовь, как известно, не картошка. Снова Крупов с Орловой глаз не сводит, а чуть вечер, так и усаживаются на скамейке в саду и уже никого не боятся.

На собрании — опять:

— Что ж это такое? То говорил, что больше такого не будет, а потом опять то же самое...

Кто-то из собрания — в голос:

— Так они влюблены! Все знают, ничего не поделаешь!

Я прекратил прения, сказав, что поговорю с ними потом.

У Крупова я прямо спросил:

— Влюблены?

Крупов опустил голову и руками развел.

— Да, в этом роде...

На следующем собрании я доложил:

— Действительно влюблены, ничего не поделаешь.

— Женить надо,— сказал кто-то.

Ничего как будто и не решали, но уже после этого никто не приставал к парочке,— напротив, все сочувственно на них поглядывали и через месяц отправили Крупова на рабфак, Орлова вышла на фабрику. Наняли для молодоженов квартиру, назначили приданое; специальная комиссия этим делом занималась: стол, стулья, кровати, белье, немного денег.

Этой весной пришла в коммуну Орлова, принесла показать своего первенца. Новый человек возился в кружевных пеленках, и Петька Романов, внимательно разглядев его, сказал:

— О, какой буржуй!.. Кружево!

КЛУБРАБОТА

Как полагается в приличном детском доме, мы организовали кружки: драматический, литературный, художественный и т. д.

В детских домах вся клубная работа сосредоточивается обычно в драмкружке. Но регулярные киносеансы в коммуне лишили драматическую работу решительно всех стимулов. Как зрелище — кино для ребят и интереснее и проще. На постановку пьесы сколько-нибудь ценной приходится тратить столько сил, что в глазах ребят это ничем не оправдывается. Правда, сами участвующие получают некоторое удовлетворение, но для всех остальных ребят драматическая игра товарищей представляет мало интересного, к тому же репертуарный кризис ухудшает положение. У нас есть пьесы либо для взрослых, либо для детей; для юношества, собственно говоря, ничего нет. То, что есть,— совершенно бесталанные писания, не заслуживающие ни разучивания, ни траты денег.

Работа литературных кружков у нас, как часто бывает, сбивалась на какой-то повторительный курс того, что проходится в школе, и увенчивалась, как то нередко случается, одним литературным судом и изданием одного номера журнала.

В художественном кружке писание натюрмортов и рисование кувшинов в разных положениях было гораздо

менее интересным, чем работа на уроках рисования и черчения в школе, где ребята с увлечением рисовали или чертили детали машины, шкив, шестеренку, станину.

Одним словом, клубная работа не клеилась.

Пригласили мы в коммуну нашего Перского — человека, преданного клубной работе и великого мастера сих дел.

Это очень высокий и очень худой человек, небрежно и как-то неумело одетый. С первого же взгляда на него становится ясно, что ничего, кроме работы, Перский не знает, и собственная персона для него менее всего занимательна. Перский хорошо рисует, пишет стихи, умеет обращаться со всеми существующими инструментами, знает правила всех спортивных и неспортивных игр, знаком с устройством всех машин. Поражает эрудиция его во всех решительно отраслях знания. Но никогда Перский не выставляет напоказ своих познаний, всегда они у него обнаруживаются как бы случайно, поэтому ни у кого он не вызывает раздражения и никому не надоедает. И, наконец, главное достоинство Перского — он настоящий ребенок: во время самой несложной игры он может заиграться, забыв о жене, о детях, о самом себе; он может волноваться и размахивать руками, из-за пустяков заспорив с Петькой Романовым.

Теория клубной работы у Перского была самая простая:

— Никакой клубной работы,— говорит он.— Живут вот коммунары, сто пятьдесят человек или сколько там, и ты живи с ними, вот тебе и вся клубная работа.

Мы ему говорим:

— Ну, это все парадоксы! Мало ли чего — живут. Так ведь вот у них школа, вот мастерские, вот быт, и мы все-таки видим, что вот это — ни то, ни другое, ни третье, а что-то особенное: клубная работа. Здесь есть и отличительные признаки. Здесь обязательны элементы творчества, самоорганизации и т. д.

— Ну, понесли уже педагогическую бузу! Вы вот, педагоги, свяжете человека по рукам и ногам и смотрите на него: отчего это он ничем не дрыгает? А вот в клубной работе его нужно развязать. Просто живет себе человек, и больше ничего.

Мы доказываем ему, что он сам педагог, раз он дает ребятам и темы, и планы, и методы. Но Перский всегда отрицает это с негодованием:

— Тоже все выдумали, шкрабы несчастные! Я только взрослый человек и больше видел, вот и вся разница. А ребята, хоть и моложе меня, да у них без меня хватает и тем, и планов, и методов.

Когда Перский начал свою работу, никакого плана, казалось, у него действительно не было. Сегодня он собирается ловить рыбу в озере в двух километрах, и вместе с ним собирается два десятка ребят; завтра, смотришь, Перский уже мастерит из разного древесного хлама какие-то поплавки, чтобы ездить на них по тому же озеру, и вокруг этой затеи развертывается деятельность целых отрядов. Кто-то из ребят сказал, что ночью в лесу видел волка,— и организуется целая экспедиция в поисках хищника, заготовляется провизия, выпрашиваются винтовки и охотничьи ружья. Целая рота отправляется на поиски волка, бродят двое суток и возвращаются голодные и довольные, хотя волка никакого и не видели. Не успеешь оглянуться — новая эпидемия: вся коммуна строит и чертит перпетуум-мобиле. Даже старые мастера-инструкторы носятся с самыми невероятными проектами, пристают к Перскому, потом ко мне и к заведующему производством. Перский серьезно разбирает каждый проект и доказывает:

— Вот в этом месте, пожалуй, остановится. А жалко, понимаете! Если бы не эта чертовинка, он бы крутился.

Обалдевший от умственного напряжения и, кажется, даже бессонных ночей, многосемейный слесарь Ченко чешет «потылыцю» и что-то долго соображает.

Я говорю Перскому:

— Для чего ты людям голову морочишь? Ведь знаешь же, что ничего не выйдет.

— Пусть поморочатся. Это не вредно. Это вы, шкрабы, привыкли все готовенькое зазубривать.

Но затем неожиданно добавляет:

— А вдруг кто-нибудь придумает... Вот будет история!

— Как это придумает? Что с тобой?

— Да все, знаешь, может быть. А вдруг ученые чего недосмотрели...

Однажды ночью на заднем дворе загорелись какие-то костры. Ночной сторож протестует, завхоз жалуется, жители волнуются, а, оказывается, дело простое: Перский рассказывал сказки. Когда об этих сказках услышали в соцвосе, началось чуть ли не целое следствие: в явной опасности оказалась идеология, до сих пор якобы надежно охранявшаяся бдительным оком соцвоса. Перскому пришлось оправдываться. Это только название такое «сказки», а на самом деле это импровизация, нечто вроде научно-фантастического рассказа, к примеру, о будущей войне или о значении радиоактивности. Успокоились в соцвосе, но на будущее время Перскому запретили рассказывать сказки.

Давил на Перского и я. При всем моем уважении к его талантам я все-таки не мог терпеть полной беспорядочности и хаотичности его работы, небрежности в ее формах и в особенности полного отсутствия учета. Последнее приводило к тому, что часть ребят в свободные часы оказывалась предоставленной самой себе, и никакими способами нельзя было установить, чем они занимаются. Появились группы любителей залезть в кочегарку и просто валяться там в тупой спячке. Появились любители картежной игры и похабного анекдота. Эту опасность на общем собрании удалось вскрыть в самом начале, но от Перского я решительно потребовал плана и учета. Это оказалось полезным и для дела и для самого Перского. С тех пор он сам получил у нас основательное воспитание, и теперь уже наша клубная работа представляет собой очень разветвленную систему, имеющую точный календарный план. Перскому все это было, впрочем, нетрудно организовать. Его постоянная изобретательность, огромная активность главных кадров его последователей-коммунаров превратили план и учет в целую симфонию разных работ и выдумок. Кружковая работа благодаря этим выдумкам стала у нас живым и веселым делом. Даже драмкружок зажил новой жизнью. Перский решительно восстал против разучивания готовых пьес,— только импровизацию он признавал театральным искусством.

Свои постановки Перский готовил в глубокой тайне с группой ребят человек в двадцать. Неожиданно на всех дверях и окнах появляются афиши, приглашающие ком-

мунаров на спектакль. Пьеса идет в разных концах зала: белогвардейцы, партизаны, нэпманы и честные советские рабочие вылезают буквально из всех щелей и попадают в чрезвычайно сложные, часто безвыходные положения, так что и зрители вынуждены бывают приходить на помощь. Разрешается все это к общему благополучию при помощи неожиданного трюка или остроумной выдумки одного из персонажей. В этих спектаклях бывало много ошибок и несообразностей, но это делало представление только веселее и занимательнее. Одно и то же лицо в постановке именуется то генералом, то полковником, то товарищем генерала, родственные связи часто запутываются до последней степени, но зато после спектакля никто не чувствует усталости, и по всей коммуне разносится хохот и оживленные споры.

Наиболее боевым органом Перского незаметно сделался так называемый изокружок. В коммуне признали его юридические права только после того, как он потребовал у совета командиров отдельную комнату. До тех пор он находил себе место в каком-нибудь закоулке главного здания.

В изокружке делают все, что угодно, для чего угодно и из чего угодно. В последнее время кружок «заимел» свои инструменты; с самого же начала он пробавлялся тем, что его членам удавалось стащить в мастерских. Материал и в последнее время, несмотря на то, что отпускаются изокружку и деньги и перевозочные средства, добывается контрабандным способом, потому что материала нужно много и притом самого разнообразного: дикт, сталь, листовое железо, медь, резина, материя, дуб, гвозди, клей, пух, вата. Одно время увлекались постройкой моделей аэроплана. После того как был поставлен рекорд и аэроплан Ряполова пролетел семьдесят метров, на моделях осталось немного народу. Часть занялась выпиловкой, кое-кто остановился на моделях паровой машины и двигателях внутреннего сгорания. Особенно много сил было положено на изобретение и производство военной игры. В настоящее время эта игра имеет несколько вариантов и представляет собой великой важности дело. Для нормальной игры требуется теперь несколько сот красных и синих металлических пе-

хотинцев, две-три сотни кавалеристов на красивых лошадях, легкая артиллерия, тяжелая артиллерия, десятка три броневиков, санитарных автомобилей, несколько аэропланов, множество пулеметов, приспособления для удушливых газов и дымовых завес, зенитные орудия и многое другое. Игра производится на полу большого зала: на всем пространстве его расставляются леса, проводятся реки и перекидываются мосты, строятся города и прокладываются окопы. С каждой стороны участвуют огромные силы, так как под каждым пехотинцем нужно разуметь целую воинскую часть. Принимающие участие в игре коммунары получают высокие назначения: один командует кавалерийской дивизией, второй — артиллерийским полком и т. д. Противник уничтожается не условно, а с помощью пушек, пулеметов и броневиков. Правила игры в точности повторяют законы военных действий, победа возможна только при умелом соединении тактических, стратегических и механических средств. Обходы флангов, прорывы, разведка — все принято во внимание. Ребята иногда задерживаются за игрой на полу зала до позднего часа, и приходится принудительно прекращать побоище и требовать от судьи немедленного решения, кто победил.

Родным братом изокружка является ребусник. Что такое ребусник — трудно даже определить. Во всяком случае это организация, насчитывающая в некоторые периоды до ста коммунаров. Когда начинается ребусник, каждый коммунар имеет право предложить для него любую задачу, но непременно оригинальную. Художественно оформленный ребус вывешивается на общем листе, назначается число очков, которое полагается за каждое решение. Это число очков делится между всеми решившими, и такое же число засчитывается автору задачи. Задачи можно давать самые разнообразные — от простой арифметической до сложной производственной. Даются и шуточные задачи. Таких задач на ребусном листе появляется больше двухсот. Ребусник заканчивается после трех сигналов, а сигналы бывают приблизительно такие:

Первый: где-то в коммуне будет спрятана последняя задача; кто ее найдет — получает столько-то очков, а кто решит — столько-то.

Второй: в кармане у Соломона Борисовича окажется интересная, но совершенно лишняя вещь.

Третий: в один из дней в четыре часа Перский будет находиться на северо-запад от коммуны в расстоянии семи с половиной километров и будет ожидать товарища, который его найдет и сможет ему по секрету сказать, название какой реки имеет двенадцать букв, начинается на *Г* и оканчивается на *р* (Гвадалквивир).

После третьего сигнала ребусник снимается, и в дальнейшем ни задачи, ни решения не принимаются. Редколлегия ребусника подсчитывает заслуги авторов и решавших. Но это еще не все. Наибольшее число очков не дает еще права на первенство. Мало — уметь решать задачи. Нужно быть и физически развитым человеком. Дополнительно устраивается состязание в разных видах спорта, требующих ловкости и увертливости. Наконец приходит день, когда в главном зале устраивается специальное заседание, играет оркестр, и под звуки туша победители получают премии: ножики, книги, инструменты, записные книжки, рисовальные принадлежности, альбомы.

Насколько эти ребусники захватывают всю коммуну — можно судить по тому, что редколлегии приходится пересмотреть около десяти тысяч решений.

Кружковая работа, сосредоточенная зимой в разных кружках, на каждом шагу сталкивается с физкультурой. Сам Перский и его помощники все симпатии отдают ей. Поэтому заядлые литераторы, эсперантисты, артисты и художники зимой начинают жаловаться, что им не дают работать. Главный вид спорта в коммуне — лыжи. Окружающая нас местность очень удобна для лыжного бега, а лыжи достали мы очень просто. Было у нас пар двадцать. Правление общества «Динамо» пригласило нас на какое-то лыжное торжество и снабдило лыжами. Коммунары на этом торжестве показали себя дисциплинированными ребятами, во всяком случае ни один не отстал. В разгаре разных состязаний была дана команда коммуне построиться и ехать домой. Коммунары все уехали на лыжах. «Динамо», правда, вскоре потребовало возвращения лыж, но они остались в коммуне. На лыжах коммунары уходят очень далеко от коммуны и возвращаются только к собранию.

У парадного входа каток. Но с коньками коммунарам труднее, так как пара коньков приходится на трех коммунаров.

Весь апрель возятся коммунары с разными площадками: волейбольной, футбольной, гандбольной, крокетной. Больше всего отнимает времени и энергии площадка для горлёта. Уже в феврале покупают ребята пряжу и плетут сетки, чтобы не особенно отягощать наш небогатый бюджет. С начала мая устанавливается горлётная площадка.

Горлёт — это наша игра, которую мы считаем самой интересной и самой нужной пролетариату игрой. Она похожа на теннис, но отличается от него тем, что это игра коллективная: восемь на восемь. Ракетки — не дорогие теннисные, а сделанные из дикта. Правила горлёта выработаны в коммуне в течение ряда лет, и мы все уверены, что игра развивает ловкость, умение коллективно действовать, находчивость, инициативу.

Горлётных команд у нас шестнадцать.

ПОХОДЫ

В большие революционные праздники коммуна выступает в поход в город. Главные походы — седьмого ноября и первого мая. Во время съездов и слетов, в дни взаимных приветствий и смычек, в дни посещения клуба ГПУ, в дни динамовских спортивных празднеств — по сигналу «общий сбор» считается ликвидированной рабочая организация коммуны и вступает в силу военная. Уже нет в коммуне отрядов, а есть пять взводов во главе с взводными командирами, назначенными советом командиров. Одним из этих взводов является оркестр.

Строевой устав коммуны давно выработан и закреплен, как и полагается для военного устава. Поэтому собраться в поход, построиться и выступить коммуна в случае надобности может в течение трех минут. Большею же частью накануне отдается приказ:

«Немедленно после ужина по сигналу «сбор» коммуне построиться в обычном порядке у парадного фасада,

имея на правом фланге оркестр и знаменную бригаду. Форма одежды парадная».

Парадная форма одежды это значит — синие суконные блузы и черные брюки. Блузы спрятаны в брюки, а брюки — в гамаши, на талии блестящий черный узенький поясок, на голове темно-синяя суконная кепка. К воротнику блузы пристегивается белый широкий воротник. В таком костюме коммунары имеют вид выхоленных, элегантных детей.

Особенно любим мы в коммуне день Первого мая.

Первое мая коммунары начинают ждать с ноября, как только отпразднуют Октябрь.

Уже в феврале предлагает ССК на общем собрании избрать первомайскую комиссию. Все приятно удивлены:

— Как, уже первомайскую?

ССК серьезно доказывает, что времени осталось мало, и комиссия избирается без возражений. В комиссию входят самые матерые дзержинцы. Теперь им каждый раз дается шутливый приказ:

— Смотрите же, чтобы было с промежутками!

Это повелось с тех пор, как в двадцать восьмом году первомайская комиссия предложила на утверждение собрания план кормежки коммуны в дни первомайских торжеств. Выходило, что получают пищу коммунары раз пять в день, и всё вещи самые вкусные и богатые: свинину, яйца, какао, пироги, и комиссия еще добавляла на каждый день: «В промежутках — яблоки, конфеты, пряники, пирожное».

Тогда много смеялись на собрании и стали в дальнейшем называть такое обилие специальным термином «с промежутками».

От «промежутков», между прочим, тогда отказались: уж очень выходило дорого!

Первомайской комиссии и без «промежутков» хлопот много. Нужно пересмотреть, купить и заготовить коммунарскую одежду, чтобы потом не о чем было беспокоиться. Обыкновенно к весеннему празднику производится ревизия всего гардероба коммунаров, и выпадает это на долю первомайской комиссии. Нужно приготовить меню и запастись продуктами на несколько дней, пока коммунары будут в городе. Нужно организовать достав-

ку этих продуктов в город, хранение и раздачу. Обеспечить коммуну подходящим помещением, наметить план посещений театров, кино и смычек. Наконец, необходимо коммуну упорядочить в маршевом отношении, то есть приучить новеньких к строю. Нужно не забыть мельчайших деталей, чтобы в майские дни ни за чем не нужно было бегать.

Комиссия выделяет из своей среды несколько подкомиссий — одежную, столовую, парадную, культурную, хозяйственную, кооптирует в свой состав коммунаров, получает и расходует деньги и время от времени докладывает собранию о ходе своих работ. Перед самым выходом в город представляется на утверждение собрания так называемый комендантский отряд, человек двенадцать во главе с командиром. На обязанности этого отряда лежит уборка того помещения, где будет стоять коммуна. Никто не должен иметь хоть малейшего повода обвинить коммуну в нечистоплотности. Комендантский отряд захватывает с собой несколько ведер, сорных ящиков, метел, веников, тряпок. В походе он производит уборку и является санитарной милицией. Компенсируется его дополнительная нагрузка только возможной благодарностью в приказе, если все будет в отряде благополучно.

Работа первомайской комиссии, несмотря на то, что отнимает много времени у коммунаров, совершенно не изменяет течения рабочих дней коммуны. Уже упакована большая часть обоза, уже отряды успели получить все, что они берут в поход, уже в городе все приготовлено. Уже двадцать девятое число, а коммуна работает полным ходом, как будто никакой особенной подготовки не совершается.

В городе коммуна проводит три дня. Третьего коммуна должна быть уже на работе.

Завтракают тридцатого еще в коммуне. После завтрака проходит час, во время которого все должно быть приведено в порядок. Ровно в десять часов все коммунары — в парадных костюмах, и только кое-где на лестницах и в спальнях можно видеть пары: коммунар высоко поднял голову, а одна из девочек пришивает к его гимнастерке белый воротничок. Пробегают запоздавшие с костюмами, те, кто грузил обоз или убирал в столовой.

В оркестре Волчок проверяет инструменты: хорошо ли натянута кожа на большом барабане, не измялись ли флаги на фанфарах. У черного хода стоят нагруженные и покрытые брезентом две-три подводы с продуктами, постелями и запасами белья. В знаменном отряде надевают на знамя только что отглаженный чехол: сегодня еще не праздник, и знамя пойдет в чехле. Мне непривычно нечего делать, разве какой-нибудь зёва вроде Тетерятченко подойдет ко мне с заявлением:

— У меня пояс пропал...

Но немедленно на него зыкнет случайно пробегающий коммунар:

— Пояс пропал, шляпа! Целое утро носили по коммуне пояс, спрашивали — чей. Сам забыл в саду.

Тетерятченко и раньше знал, что с поясом именно так окончится. Я не успеваю ему ничего сказать. Раздаются звуки рожка. Сегодня сигнал играет сам Волчок. Он берет на октаву выше других ребят и умеет особенно четко и в то же время заливчато вывести последние ноты сигнала.

Я выхожу. В парадные двери вбегают коммунары, с лестницы спускается не спеша знаменная бригада — знаменщик и два ассистента с винтовками — и останавливается на площадке. Ко мне подходит дежурный по коммуне, в новенькой повязке, франтоватый, как и все, с чистеньким платочком, кокетливо выглядывающим из кармана блузы.

— Знамя в чехле? — спрашивает он, хотя и сам довольно хорошо знает, что в чехле. Но так уже требуется для красоты дня.

— В чехле.

Параллельно парадному фасаду вытянулись в одну шеренгу коммунары. На правом фланге колонна оркестра, и Волчок впереди.

— Становись!

Но команда эта излишня. Уже все стоят на своих местах, и комвзводы проверяют состав. Пробегает по рядам Тетерятченко и застегивает на ходу пояс. Его провожают сочувственные возгласы:

— Вот человеку не везет!

— Да вот пояс насилу нашел. А утром положил штаны на чужую кровать и полчаса ко всем приста-

вал: «Кто взял мои штаны?» Его Похожай чуть не побил.

Черноглазый блестящий Похожай, сегодня особенно красочный и оживленный, потому что он — еще и командир третьего взвода, басит:

— Я его обязательно когда-нибудь отлуплю, этого Тетерятченко, так и знайте, Антон Семенович. Без этого из коммуны не выйду.

Но Тетерятченко смотрит на Похожая и улыбается. Он любит Похожая за красоту и удачливость и знает, что тот его не только не отлупит, а и другому не даст в обиду.

— Равняйсь! — гремит Карабанов.

Все готово. От Карабанова отходит и направляется к зданию дежурный по коммуне. В оркестре подымаются трубы, и фанфаристы расцвечивают утро красными полотнищами флагов. Волчок настороженно поднимает руку.

— Под знамя, смирно! Равнение налево!

Оркестр гремит знаменный салют, все коммунары поднимают руки, перед фронтом замирает Карабанов. Служащие, провожающие колонну, тоже козыряют. Из парадных дверей выходит дежурный по коммуне и с рукой у козырька фуражки «ведет» знамя. Три коммунара бережно и подчеркнуто изящно проносят знамя по фронту и устанавливают его на правом фланге. Знамя держат почти вертикально: если оно без чехла, то оно не развевается, а красивыми мягкими складками падает на плечи знаменщика, и при движении линии этих складок почти не меняются. Древко только касается плеча, вся тяжесть приходится на руку, а двумя руками держать знамя неприлично. Поэтому быть знаменщиком — дело довольно трудное.

Знамя на месте. Салют окончен. Карабанов последним «орлиным» взором оглядывает фронт. Пора. К левому флангу подошел обоз, и командир комендантского, в спецовке, уже сидит на первом возу.

— Справа по шести вправо... шагом... марш!

Коммунары прямо с развернутого фронта переходят в марш, на ходу перестраиваясь в колонну. Наш постоянный строй по шести, расстояние между рядами про-

сторное — шагов до трех. Командиры взводов впереди, а между взводами интервал шесть шагов.

Гремит радостный марш: начался наш праздник.

Через час колонна подходит к городу. Между высокими домами улицы Либкнехта наш большой оркестр разрывает воздух.

Колонна занимает улицу. На тротуарах собираются толпы. Нам машут руками. С задорной улыбкой слушают наш марш девушки, приветливо-серьезно поглядывают на нас мужчины, улыбаются мамаши и корреспонденты газет. То с той, то с другой стороны подлетает новый человек:

— Что за организация?

Коммунару в строю нельзя разговаривать. Он из вежливости бросает поскорее:

— Дзержинцы.

Но харьковцы уже знают дзержинцев.

То и дело до меня долетает с тротуара:

— Это дзержинцы!

А один раз серьезный пацан лет четырнадцати показал другому:

— Это дзержинцы, а вон и сам Дзержинский...

Идущие за мной знаменщики не выдержали:

— Вот чудаки! Антона Семеновича за Дзержинского приняли.

Сегодня мы вошли в город со знаменем в чехле. Завтра мы первые с развернутым знаменем пройдем мимо трибуны и гордо посмотрим на тех, кто на трибуне: «Мы тоже пролетариат, мы тоже рабочие, сегодня — наш праздник!»

Вечером коммунары разбредаются по всем улицам. Вежливо и как настоящие европейцы разговаривают коммунары с публикой; как взрослые покупают на свои карманные деньги пирожное и как дети любуются иллюминацией.

В дверях тридцать шестой школы — дневальный с винтовкой: школа занята нами, и вход в нее без разрешения дежурного по коммуне посторонним воспрещен. В одной из комнат столовая комиссия готовит ужин и между делом вспоминает сегодняшний день:

— ...нет, а вот та батарея, которая на белых лошадях... Ох и здорово же!

МОСКВА

7 июля 1929 года в шесть часов утра колонна коммунаров тронулась с площади Курского вокзала на свою московскую квартиру. На утренних улицах, свежих и пустынных, гремел наш оркестр. Еще не совсем проснувшиеся глаза вглядывались в лицо московских улиц. Вот она, великая Москва, о которой мечтали целый год, о которой было столько споров!

Направились к центру. На углу какого-то бульвара — «Стой!»

Отдыхать не отдыхали, а скорее собирались с чувствами.

Меня окружили.

— Вот это такая Москва? — недовольно тянул Похожай.— Не лучше Харькова!

Сторонники Крыма поддерживали его, но это все — так, «для разговора», а все ощущали какую-то торжественную поднятость и были полны бодрости.

— Шагом марш!

Притихли все на асфальте Мясницкой. Глянула Москва на нас столичным важным взглядом, глянула сочными, солидными витринами, перспективой улиц... Притихли в нашей колонне. Впереди — зубцы Китай-города.

— Э, нет, это действительно Москва! — пробормотал за моей спиной знаменщик. И замолк.

Карабанов скомандовал:

— Государственному политическому управлению салют, товарищи коммунары!

Весело и задорно отсалютовали нашим старшим родичам и повернули на Большую Лубянку, теперь улицу Дзержинского. На этой улице наша квартира — школа Транспортного отдела ОГПУ.

Ничто нам так дорого не далось, как эта квартира. Пока ребята входили в улицу Дзержинского, вспомнилось все.

Целую неделю пробыл в Москве наш агент Яков Абрамович Горовский, а мы в коммуне сидели на чемоданах и ожидали от него телеграммы, в которой бы сообщалось, что квартира есть — можно выезжать.

Но Горовский ежедневно присылал нечто непонятное и неожиданное:

«С квартирой плохо. Есть надежда на завтра».

«Задержался еще на один день. Отсутствует нужное лицо».

«Наркомпрос отказал. Выясню завтра».

Меньше всего мы ожидали, что нам откажут в квартире.

Но шестого вечером приехал Горовский и рассказал нам обидные и возмутительные вещи.

В экскурс-базе, в Наркомпросе, в Моно, в союзе Рабис — везде с готовностью соглашались предоставить на две недели помещение для коммуны ГПУ, но после такой любезности следовал вопрос:

— А это что за дети?

— Дети? Исключительно беспризорные.

Горовский гордился тем, что наши дети все — беспризорные, что тем не менее они организованно едут в Москву, и он, Горовский, подыскивает для них квартиру. Но как только московские просветители, такие симпатичные, такие даже сентиментальные в своих книжках, так любящие ребенка и так его знающие, узнавали, что эти самые «цветы жизни» просятся к ним на ночевку, они приходили в трепет.

— Беспризорные? Ни за что! Об этом нельзя даже и говорить! На две недели? Что вы, товарищ, шутите? Что вы в самом деле?

Горовский не столько огорчался, что нет квартиры, сколько оскорблялся. Как это так? Те самые коммунары, которые не впускали Горовского в дом, если он недостаточно вытер ноги, здесь, в Москве, считаются вандалами, способными уничтожить всю наробразовскую цивилизацию?

И только когда бросил Яков Абрамович ходить по просветительному ведомству, улыбнулось ему счастье: Транспортная школа предоставила для нас общежитие с кроватями, с постелями.

Колонна во дворе школы.

— Стоять вольно!

Сигналист играет сбор командиров. Командиры отправляются делить помещение между взводами. Через три минуты они вводят свои взводы в спальни. По коридорам общежития расставляются наши плевательницы и сорные ящики, комендантский отряд уже побе-

жал по коридорам и переходам с вениками и ведрами: прежде всего коммунары наводят лоск на то помещение, в котором будем жить. Здесь месяца полтора никого не было. Еще через пять минут дежурство дает общий сбор, и начинается авральная работа уборки. Моют стекла в окнах, уничтожается пыль.

В девять часов все коммунары в парадных костюмах уже гуляют на улице. Прибежали из столовой клуба ОГПУ члены столовой комиссии.

— Все готово. Можно идти на завтрак.

Серые рубашки летних парадных костюмов, синенькие трусики, голубые носки. Круглые радостные лица, ноги, как на пружинах.

Все полны радостного оживления и в то же время сдержанного достоинства.

В столовой — цветы и скатерти, уют. Коммунары расположились вокруг столов и не дичатся, не боятся, они в коммуне привыкли к чистоте и цветам.

Началась череда славных московских дней.

После завтрака вышли со знаменем в Парк культуры и отдыха — благо, сегодня воскресенье — посмотреть, какой такой московский пролетариат и как он отдыхает.

На московских улицах наша колонна — верх стройности и изящества. По тротуарам движутся толпы, и Тимофею Викторовичу приходится пробивать дорогу. Расспрашиваем, как пройти к парку.

Гляжу через головы музыкантов. Рядом с Тимофеем Викторовичем, не отставая, маячит белый верх чьей-то капитанской фуражки. Подхожу.

— А вот товарищ туда идет, он нам покажет дорогу.

Товарищ лет сорока, со стрижеными усами — оживлен и торжествен.

— Я покажу, покажу, вы не беспокойтесь.

Подходим к воротам парка. Направляюсь к кассе, но рука человека в капитанской фуражке меня останавливает.

— Платить? Что вы! Зачем же? Мы сейчас это устроим. Дайте ваш документ.

Я даже растерялся, но документ отдал. Капитанская фуражка немедленно исчезла за воротами. Ждем, ждем...

— Разойдись до сигнала «сбор».

Наша дисциплина позволяет нам быть совершенно свободными и никогда не мучить коммунаров лишним стоянием в строю.

Коммунары рассыпаются, завязываются знакомства, начинаются расспросы. Смотрим, наш проводник вприпрыжку несется из парка и размахивает возбужденно какой-то бумажкой.

— Вот! Не только можно, но и очень рады, сегодня интернациональный митинг. Очень рады!

— Играй сбор!

Входим в парк и попадаем сразу на митинг. На широкой сцене — президиум; наши подошли как раз к сцене. Это хорошо, сразу попали в нужную обстановку.

Митинг не окончился, а капитанская фуражка уже отводит меня в сторону.

— Там я устроил для ребят завтрак: там, знаете, стакан чаю, бутерброд... Даром, даром, не беспокойтесь, даром!

Ребята окружили, улыбаются.

С митинга идем на завтрак. Я спрашиваю капитанскую фуражку:

— Вы здесь работаете?

— Нет, я во флоте работал, а теперь в отставку выхожу, буду здесь, в Москве, работать в одном учреждении.

Я в затруднении: как спросить, чего это он бегом гоняет из-за какой-то коммуны?

— Да, но вот вы так заботитесь о нас...

— Это вы хотите знать, чего я к вам привязался? Понравилось мне, знаете, ужасно понравилось! По правде сказать, мы здесь такого не видели.

С того дня «капитан», как его прозвали ребята, уже с нами не расставался. Рано утром он приходил в коммуну, будил коммунаров, принимал участие во всех наших совещаниях и заседаниях, настойчиво требовал, чтобы мы не тратили лишних денег. После завтрака, от которого всегда отказывался, он брал двух-трех коммунаров и куда-то летел устраивать бесплатные билеты на трамвай, доставать лодки для катанья, добывать разрешение осмотреть Кремль.

После обеда в сопровождении «капитана» мы куда-нибудь отправлялись.

На другой день после приезда были у гроба Ленина, сыграли около Мавзолея «Интернационал». Потом были в Кремле, в Зоопарке, в Третьяковке, в Музее революции, в редакции «Комсомольской правды».

Москва поразила коммунаров обилием людей, домов, стилей и пространства. После официальных часов они, не уставая, бродили по Москве, и только к двенадцати ночи собирались на ночлег. Карманные деньги позволили им объездить город в трамваях, заглянуть во все улицы и переулки. Всем Москва страшно понравилась, но все затруднялись определить, чем именно. Трудно было, конечно, сразу охватить и выразить все впечатления от нашей столицы. Даже и взрослому человеку это не так легко.

С другой стороны, и коммунары понравились Москве. Наша колонна на Кузнецком мосту, на Театральной площади, на Тверской была действительно хороша. А оркестр ребячий, четкая и бодрая ухватка коммунаров, подтянутость и дисциплина, видимо, в самом деле радовали глаз. Очень часто какая-нибудь впечатлительная душа бросала ребятам с тротуара розочку или гвоздику. Один какой-то немолодой уже чудак смотрел-смотрел и вдруг бросил в оркестр целый букет роз. Было так неловко: оркестр как раз играл марш, и все розы чудака были безжалостно растоптаны, а через минуту он и сам потерялся в толпе.

Радушное отношение к нам москвичей мы встречали на каждом шагу, и это, разумеется, делало Москву для нас приятнее и теплее.

За пятнадцать дней мы достаточно насмотрелись и поистратились. Собрались в обратный путь. Приготовили свой багаж к погрузке, выстроились против дверей Транспортной школы, попросили выйти к нам начальника и от души поблагодарили его за помещение. Начальник в прочувствованном ответном слове выразил свою радость по поводу того, что мы у него остановились, что школа ничем не пострадала, что помещение мы оставляем даже в лучшем состоянии, чем получили.

Прошли еще сутки — и ночью, в проливной дождь, подкатили мы в Харьковскому вокзалу. Выглянули на

площадь,— людей нет, одни лужи и дождь. А мы было нарядились в парадные костюмы, чтобы в родной Харьков явиться в порядке.

Дождь. Что тут будешь делать? Выпросили у какого-то начальства комнатку, чтобы сложить наши корзины, а сами решили отправляться домой, в коммуну. До парка нам дали три вагона трамвая. Но ведь от парка еще три с лишним километра, из них больше километра лесом, по тропинкам.

У коммунаров тем не менее настроение было прямо торжественное.

— Становись!

— Равняйсь!

— Шагом марш!

Барабанщик, прозванный почему-то Булькой, ударил в намокший барабан. Волчок, недолго думая, бахнул какую-то веселую польку. Пошли под польку в коммуну. Дождь все усиливался, и ребятам было уже безразлично, куда течет вода: все равно и сверху, и под блузами, и в ботинках — вода. Темно, не видно соседнего ряда. К лесу подошли — безлюдно, и все завоевано дождем.

— Стой! Вперед через лес четвертый взвод, за ним оркестр и знамя.

Гуськом, держась друг за друга, перебрались и вышли на поле. В коммуне были зажжены все фонари, нас ожидали, но дождь обратился в ливень настолько частый и напористый, что приходилось силой преодолевать сопротивление падающей воды.

По одному, по два подходили мы к коммуне. В дом не входили: по заведенному порядку, в дом нужно раньше внести знамя. Построились. Карабанов особенно строго скомандовал:

— Смирно!

Вокруг все журчало, лопотало, булькало, свистело, волнами воды колотило по земле, тротуару, стенам, окнам, по строю коммунаров.

Но веселые, радостные лица ребят только жмурились.

— Товарищи! Поздравляю вас с концом славного московского похода! Мы много видели, многому научились и, самое главное, увидели, что мы крепко живем

и что нам никакие походы не страшны. Не забудем же никогда этого нашего удачливого дела. Да здравствует наш Союз, да здравствует наша коммуна!

По-настоящему заревели ребята «ура», а свидетелями были только ливень да промокшая фигура сторожа у парадного входа.

Грянул Волчок «Интернационал», и не как-нибудь, не парадный отрывок, а полный, с настоящим концом:

...воспрянет род людской!

Строгими изваяниями замерли коммунары в салюте нашему гимну. Накрытые ночью, небом и ливнем, мы задорно и радостно заглянули в сердце нашего рабочего государства.

— Под знамя, смирно! Равнение направо!

Закрытое чехлом, знамя черным силуэтом прошло мимо наших лиц.

— Вольно!

И только тогда заговорили, засмеялись, зашумели ребята:

— Вот сюда, сюда, здесь тряпки!

— А какие там тряпки? Снимай все в вестибюле, пусть девчата отойдут в сторонку.

Свалили все, пропитанное водой, в кучу,— завтра начнем приводить в порядок. Еще веселее стало. Даже дождь заиграл что-то похожее на гопак. Прибежал в дом кладовщик с ворохом свежего белья.

Девчата, мокрые, в сверкающих на электрическом свете каплях:

— А мы ж как?

— И вы ж так.

— Так убирайтесь!

В столовой уже накрыт ужин. Дежурный по коммуне, в новых трусиках, с красной повязкой на голой руке, спрашивает:

— Можно давать ужин?

Ах, хорошее было дело — наш московский поход! Из Москвы мы приехали новыми, иными — более сильными, уверенными, еще больше чувствуя связь со всем пролетариатом нашего Союза.

ФИЛЬКА

Самый молодой и самый активный член коммуны со времени ее основания — Филька Куслия.

Ему двенадцать лет. У него всегда обветренное лицо. Умные и серьезные глаза. Он напускает на себя серьезность и даже немного надувается. Это потому, что он прежде всего актер.

Среди ребят часто попадаются артисты, но большинство из них очень скоро губит свой талант, используя его как средство подыграться к «доброму дяде», изобразить что-нибудь похвальное и занимательное, подработать на милом выражении лица.

Но Филька со взрослыми всегда был недоверчив и горд.

В коммуне Филька всегда был вождем сепаратистски настроенных пацанов. Вокруг него всегда вертелись пацаны, занятые предприятиями и разговорами, в которые старшие коммунары, не говорю о взрослых, обыкновенно не посвящались.

В этом узком кругу Филька бывал всегда деятелен, стремителен и весел, его смех взрывался то там, то здесь. Его неудачные последователи вроде Котляра или Алексюка всегда «засыпались» и попадали в тот или другой рапорт, но сам Филька при встрече со старшими неизменно напускал на себя солидность и разговаривал только недовольным баском. При попытке ближе подойти к «душе ребенка» он бычком наклонял голову и что-то бурчал под нос.

Изменял своей тактике и делался доверчивым и ласковым Филька только во время репетиций малого драмкружка, самым активным членом которого он всегда был.

Но пионерские пьесы, упрощенные и неинтересные, Фильку не удовлетворяли. Он стремился в старший драмкружок, неизменно присутствовал на всех его заседаниях и непривычно для него смело и настойчиво требовал всегда выбора такой пьесы, в которой и для него находилась роль.

На репетициях Филька веселел и удивлял всех особой способностью точно схватывать и повторять тон, данный ему режиссером. Обращал он на себя внимание

и своим мальчишеским дискантом и свежестью своей живой мордочки.

Тем не менее прямо можно было сказать, что все очарование Филькиной игры никогда не было очарованием драматического таланта. Только вот эта детская искренность и свежесть и делали Филькину игру занимательной.

Филька, однако, был иного мнения. Он еще весной стал важничать и заявлять, что если бы его пустили в киноактеры, так он показал бы, как нужно играть.

Мне уже не раз приходилось наблюдать увлечение кинокарьерой, но в таком молодом возрасте я это увидел впервые. Пожалуй, наша вина была в том, что мы слишком баловали Фильку и позволили ему слишком занестись. Пробовали Фильку уговаривать:

— Да что ты, Филя! Что там хорошего в киноартистах, что у них за игра? Немые, как рыбы...

Но разве в таких случаях можно что-нибудь доказать? Да и разве можно было убедить Фильку в том, что все его достоинство в симпатичнейшем дисканте, который Фильке дан не на долгое время.

Филька примолк.

А в Москве, во время свободных прогулок по городу, он нашел нужных ему людей и переговорил с ними. Потом явился ко мне и по обыкновению недовольным басом заявил:

— Вот тут есть такой человек, так он говорит, что мне можно поступить на кинофабрику.

Окружавшие нас комсомольцы рассмеялись:

— Вот смотри ты, артист какой! На что ты ему сдался? Подметать двор тебя заставит, и в лавочку будешь бегать за лаком.

— Ну что ж, и побегу, зато и играть буду.

— Кого ты будешь играть? — рассердился даже кто-то.

— Как кого? Пацанов буду играть.

— А потом?

— Что потом?

— А потом, когда вырастешь?

— Ну-у,— протянул, уже явно сдерживая слезы, Филька,— «когда вырастешь»!.. Потом тоже найдется.

А ты что будешь потом? — вдруг разозлился Филька.— Ты, может, будешь грузчиком!

— Он уже сейчас слесарь, а ты все-таки брось. Забили мальчишке голову, он и корежится. Артист!

Я Фильке сказал:

— Не могу я так тебя отпустить. Я считаю, что это дело пустяковое. Артистом ты не будешь, да ты еще и маленький учиться в студии. Тебя возьмут, пока у тебя рожица детская, а потом выставят, будешь ты ни артист, ни мастер.

Филька ничего не сказал. Но по приезде в Харьков отправился Филька жаловаться на меня члену правления, товарищу Б.

— А если я хочу быть артистом, так что ж такое? Может, у меня талант. Нужно меня отпустить.

— Куда?

— На кинофабрику.

— Если ты хочешь быть артистом, так нужно учиться на драматических курсах, а для этого ты еще маленький. А что ж на фабрике? Нет, поживи еще в коммуне, а там видно будет.

— Видно, видно!

И от Б. Филька не в коммуну направился, а на вокзал. Вспомнил старину: влез на крышу, поехал, только почему-то не в Москву, а в Одессу.

В коммуне с горестью констатировали:

— Филька убежал.

В течение двух-трех недель ничего о Фильке не было слышно, убежал — и все. Мало кому приходило в голову, что Филька поехал искать актерского счастья,— думали, просто сорвался пацан, надоела коммунарская дисциплина.

Через две недели возвратился Филька в Харьков и каким-то образом объявился в колонии им. Горького,— захватили его, видно, в очередной облаве.

В коммуне о нем говорили разно. Кто — сдержанно:

— Сорвался-таки пацан, теперь уже пойдет бродить.

Другие отзывались с осуждением и обидой:

— Барахлом оказался, ну и черт с ним!

Филька тем временем спокойно сидел в колонии им. Горького и старался не попадаться нашим на глаза,

когда наши ходили в гости к горьковцам. А через какого-то «корешка» передал, что он бы и пришел в коммуну, да ему стыдно. И, говорят, прибавлял:

— Чего там развозить! Убежал — и все. Проситься не приду.

У коммунаров первоначальная обида на Фильку прошла, даже жалели его, но никому и в голову не приходило зазывать беглеца в коммуну. О его возвращении просто не говорили. И вдруг месяца уже через четыре пришел в коммуну Филька. Я возвращался из города и увидел его возле крыльца. Он салютнул по-нашему и улыбнулся. Ребята весело показали на него:

— Вот киноартист!

Филька отвернулся с улыбкой.

— Как же тебе живется?

— Так, ничего...

Филька сделался серьезным.

— Живется ничего... А вы на меня сердитесь? Правда?

— Конечно, сержусь. А ты что ж думал?

— Да я ж так и думал...

— Погулять к нам пришел?

— Немножко погулять...

— Ну, погуляй.

Через час Филька вошел в кабинет, прикрыл дверь и вытянулся перед моим столом:

— Я не погулять пришел...

— Ты хочешь опять жить в коммуне?

— Хочу.

— Но ведь ты знаешь, что принять тебя может только совет командиров.

— Я знаю. Так вы попросите совет, чтобы меня приняли.

— А в колонии Горького?

— Так в колонии там все чужие, а тут свои пацаны.

— Хорошо. Позови дежурного по коммуне.

Пришел дежурный.

— Что, принимать будем киноартиста?

— Да вот же явился. Нужно совет командиров потрубить.

— Есть!

В совете командиров Фильку не терзали лишними вопросами. Попросили только рассказать, как он ездил в Одессу — Филька неохотно повествовал:

— Да что ж там... Как Б. меня не захотел отправить на кинофабрику, я и подумал: «Что ж идти в коммуну? Будут коммунары смеяться. Все равно уже поеду в Одессу. Может, что и выйдет». Пришел на вокзал и сразу полез на крышу, только в Лозовой меня оттуда прогнали... Ну, подождал следующего поезда и опять залез на крышу. Так и приехал в Одессу. Пошел к директору, а директор и говорит: «Нужно раньше учиться в школе». А пацанов у них играть — сколько угодно своих, так те живут у родных. Он говорит: «Если хочешь — играй, может, когда и подойдет тебе, только жить у нас негде». Так я пошел в помдет и попросил, чтобы отправили меня в Харьков. Ну, меня и отправили в колонию Горького.

— А почему не к нам? — спросил кто-то.

— Так я ж не сказал, что я дзержинец.

— Почему ж ты не пришел к нам?

— Стыдно было, да и боялся, что не примут: подержат на середине, а потом скажут: «Иди, куда хочешь».

— А почему теперь пришел?

— А теперь?.. — Филька затруднился ответом.— Теперь, может, другое дело. Что ж, я четыре месяца прожил в колонии Горького.

— В колонии плохо?

Филька наклонил голову и шепнул:

— Плохо.

Сразу заговорило несколько голосов.

— Да чего вы к нему пристали?

— Вот, подумаешь, преступника нашли!

ССК заулыбался:

— Принять, значит?

— Да ясно, в тот же самый отряд.

— Значит, нет возражений? Объявляю заседание закрытым.

Филька кто-то схватил за шею:

— Эх ты, Гарри Пиль!

СЯВКИ

У многих коммунаров есть в прошлом... одним словом, есть «прошлое». Не будем о нем распространяться. Сейчас в коллективе дзержинцев оно как будто совершенно забыто. Иногда только прорвется блатное слово, а некоторые слова сделались почти официальными, например: «пацан», «шамовка», «чепа». В этих словах уже нет ничего блатного,— просто слова, как и все прочие.

Коммунары никогда не вспоминают своей беспризорной жизни, никогда они не ведут разговоров и бесед о прошлом. Оно, может быть, и не забыто, но настойчиво, упорно игнорируется. Мы также подчиняемся этому правилу. Воспитателям запрещено напоминать коммунарам о прошлом.

Благодаря этому ничто не нарушает общего нашего тона, ничто не вызывает у нас сомнений в полноценности и незапятнанности нашей жизни. Иногда только какой-нибудь бестактный приезжий говорун вдруг зальется восторгами по случаю разительных перемен, происшедших в «душах» наших коммунаров.

— Вот, вы были последними людьми, вы валялись на улицах, вам приходилось и красть...

Коммунары с хмурой деликатностью выслушивают подобные восторги, но никогда никто ни одним словом на них не отзовется.

Однако еще живые щупальца пытаются присосаться к нашему коллективу. В такие моменты коммуна вдруг охватывается лихорадкой, она, как заболевший организм, быстро и тревожно мобилизует все силы, чтобы в опасном месте потушить развитие каких-то социальных бактерий.

Социальную инфекцию, напоминающую нам наше прошлое, приносят к нам чаще всего новенькие.

Новенький воспитанник в коммуне сильно чувствует общий тон коллектива и никогда не посмеет открыто проповедовать что-либо, напоминающее блатную идеологию, он даже никогда не осмелится иронически взглянуть на нашу жизнь. Но у него есть привычки и симпатии, вкусы и выражения, от которых он сразу не в состоянии избавиться. Часто он даже не понимает,

от чего и почему ему нужно избавиться. Наиболее часто это бывает у мальчиков с пониженным интеллектом и слабой волей. Такой новенький просто неловко чувствует себя в среде подтянутых, дисциплинированных и бодрых коммунаров: он не в состоянии понять законы взаимной связи и взаимного уважения. Ему на каждом шагу мерещится несправедливость, он всегда по старой привычке считает необходимым принять защитно-угрожающую позу, в каждом слове и в движении других он видит что-то опасное и вредное для себя, и во всем коллективе он готов каждую минуту видеть чуждые и враждебные силы. В то же время, даже когда он полон желания работать, он лишен какой бы то ни было способности заставить себя пережить самое небольшое напряжение. Еще в коллекторе, полный намерениями «исправиться», он рефлективно неспособен пройти мимо «плохо лежащей» вещи, чтобы ее не присвоить, успокоив себя на первый раз убедительными соображениями, что «никто ни за что не узнает». Точно размеренный коммунарский день, точно указанные и настойчиво напоминаемые правила ношения одежды, гигиены, вежливости — все это с первого дня кажется ему настолько утомительным, настолько придирчивым, что уже начинает вспоминаться улица или беспорядочный, заброшенный детский дом, где каждому вольно делать, что хочется.

Контраст полудикого анархического прозябания «на воле» и свободы в организованном коллективе настолько разителен и тяжел, что каждому новенькому первые дни обязательно даются тяжело. Но большинство ребят очень быстро и активно входит в коллектив. Их подтягивает больше всего, может быть, серьезность предъявляемых требований. Обычно бывает, что ребята бунтуют только до первого «рапорта». Новенький пробует немного «побузить», нарочно толкнет девочку, уйдет с работы, возьмет чужую вещь, замахнется кулаком, ответит ненужной грубостью. На замечание другого коммунара удивится:

— А ты что? А тебе болит?

Первый же «рапорт» производит на него совершенно ошеломляющее впечатление. Когда председатель общего собрания спокойно называет его фамилию, он еще не-

много топорщится, недовольно поворачивается на стуле и пробует все так же защищаться:

— Ну, что?

Но у председателя уже сталь в голосе:

— Что? Иди на середину!

Неохотно поднимается с места и делает несколько шагов, развязно покачиваясь и опуская пояс пониже бедер, как это принято у холодногорских франтов. Одна рука — в бок, другая — в кармане, ноги в какой-то балетной позиции, вообще во всей фигуре примитивные достоинство и независимость.

Но весь зал вдруг гремит негодующим, железным требованием:

— Стань смирно!

Он растерянно оглядывается, но немедленно вытягивается, хотя одна рука еще в кармане.

Председатель наносит ему следующий удар:

— Вынь руку из кармана.

Наконец он в полном порядке, и можно с ним говорить:

— Ты как обращаешься с девочками?

— Ничего подобного! Она шла...

— Как ничего подобного? В рапорте вот написано...

Он совершенно одинок и беспомощен на середине.

Последний удар наношу ему я, это моя обязанность. После суровых слов председателя, после саркастических замечаний Редько, после задирающего смеха пацанов я получаю слово. Стараюсь ничего не подчеркивать:

— Что касается Сосновского, то о нем говорить нечего. Он еще новенький и, конечно, не умеет вести себя в культурном обществе. Но он, кажется, парень способный, и я уверен, что скоро научится, тем более, что и ребята ему помогут, как новому товарищу.

Заканчиваю я все-таки сурово, обращаясь прямо к Сосновскому:

— А ты старайся прислушиваться и приглядываться к тому, что делается в коммуне. Ты не теленок, должен сам все понять.

Когда собрание кончается, и все идут к дверям, кто-нибудь берет его за плечи и смеется:

— Ну, вот ты теперь настоящий коммунар, потому что уже отдувался на общем. В первый раз это дей-

ствительно неприятно, а потом ничего... Только стоять нужно действительно смирно, потому, знаешь — председатель...

Самые неудачные новички никогда не доживают до выхода на середину. Поживет в коммуне три-четыре дня, полазит, понюхает, скучный, запущенный, бледный, и уйдет неизвестно когда, неизвестно куда, как будто его и не было. Коммунары таких определяют с первого взгляда:

— Этот не жилец: сявка.

«Сявка» — старое блатное слово. Это мелкий воришка, трусливый, дохлый, готовый скорее выпросить, чем украсть, и не способный ни на какие подвиги.

Коммунары вкладывают в слово «сявка» несколько иное содержание. Сявка — это ничего не стоящий человек, не имеющий никакого достоинства, никакой чести, никакого уважения к себе, бессильное существо, которое ни за что не отвечает и на которое положиться нельзя.

У нас таких сявок было за три года очень немного, человека три всего. Коммунары о них давно забыли, и только в дневниках коммуны остался их след.

Гораздо хуже бывало, когда вдруг нам приходилось ставить вопрос о старом коммунаре, на которого все привыкли смотреть, как на своего, и у которого вдруг обнаруживались позорные черты.

Самый тяжелый случай был у нас с Грунским.

Грунский живет в коммуне с самого начала ее. У него красивое лицо, тонкое и выразительное. Он в старшей группе и учится прекрасно. Всегда он ко всем расположен, вежлив, в меру оживлен и активен. Его без всяких затруднений приняли в комсомол, а через год был уже он командиром первого отряда, и его всегда выбирали во все комиссии. На работе он — прямо образец, всякое дело умеет делать добросовестно и весело.

Во время московского похода обнаружилось неприятное дело: в поезде, по дороге в Москву, пропало у Волчка пять рублей. Ночью положил кошелек рядом с собой, посторонние в наши вагоны не заходили, а утром проснулся — кошелька и денег нет.

Дневальными в вагоне ночью были четыре коммунара, в том числе и Грунский.

Как только расположились в Москве в общежитии, собрали общее собрание.

В огромной спальне Транспортной школы притихли. Дело безобразное, у товарища украли последние деньги, да еще во время похода, которого так долго ждали и на который так много было надежд. Назвать прямо перед всеми фамилию подозреваемого трудно: слишком уж тяжелое оскорбление. Четверо дневальных вышли вперед.

— Я денег этих не брал.

Так сказал каждый. Так сказал и Грунский.

В спальне было тихо. Все чувствовали себя подавленными.

Тогда попросил слово Фомичев и сказал:

— Первый отряд уверен, что деньги взял Грунский.

Еще тише стало в спальне.

Я спросил:

— А доказательства?

— Доказательств нет, но мы уверены.

Грунский вдруг заплакал.

— Я могу свои отдать деньги, но денег я не брал.

Никто ничего не прибавил, так и разошлись. Я выдал Волчку новые пять рублей.

В Москве и на обратном пути Грунский был оживлен и доволен, но я заметил, что тратит он гораздо больше, чем было ему по карману; его финансовые дела были мне известны. Он покупал конфеты, молоко, пирожное и в особенности кутил на станциях: на каждой остановке можно было видеть на подножке вагона Грунского, торгующего у бабы или мальчишки какую-нибудь снедь.

Я поручил нескольким коммунарам запомнить кое-какие его покупки. Как только мы приехали в коммуну, я собрал совет командиров и попросил Грунского объяснить некоторые арифметические неувязки. Грунский быстро запутался в цифрах. Выходило, что денег истрачено было им гораздо больше, чем допускалось его наличием. Пришлось ему перестраивать защиту и придумывать небылицы о присланных какой-то родственницей в письме пяти рублях. Но это было уже безнадежно.

И пришлось Грунскому опустить свою белокурую голову и сказать:

— *Это я взял деньги Волчка.*

Среди командиров только Редько нашел слова для возмущения:

— Как же ты, гад, взял? Тебе ж говорили, а ты еще и плакал, а потом на глазах у всех молоком заливался!

Общее собрание в тот день было похоже на траурное заседание. Грунский кое-как вышел на середину. Председатель только и нашелся спросить его:

— Как же ты?

Но ни у председателя не нашлось больше вопросов, ни у Грунского — что отвечать.

— Кто выскажется?

Тогда вышел к середине Похожай и сказал Грунскому в глаза:

— Сявка!

И только тогда заплакал Грунский по-настоящему, а председатель сказал:

— Объявляю собрание закрытым.

С тех пор прошло больше года. Грунский, как и прежде, носит по коммуне свою белокурую красивую голову, всегда он в меру оживлен и весел, всегда вежлив и прекрасно настроен, и никогда ни один коммунар не напомнит Грунскому о московском случае. Но ни на одном собрании никто не назвал имени Грунского как лица, достойного получить хотя бы самое маленькое полномочие.

Будто сговорились.

ЮХИМ

Юхим Шишко был найден коммунарами при таких обстоятельствах.

Повесили пацаны с Перским горлётную сетку на лужайке возле леса, там, где всегда разбиваются наши летние лагери. Наша часть леса огорожена со всех сторон колючей проволокой, и селянские коровы к нам заходить не могут.

Но раз случилась оказия, даже не корова, а теленок-бычок не только прорвал проволочное препятствие, но попал и в горлётную сетку, разорвал ее всю и сам в ней безнадежно запутался.

Пока прибежали коммунары, от горлёта ничего не осталось, пропали труды целой зимы и летние надежды.

Бычка арестовали и заперли в конюшне.

Только к вечеру явился хозяин, солидный человек в городском пиджаке, и напал на коммунаров:

— Что это за безобразие! Хватают скотину, запирают, голодом морят. Я к самому председателю ВУЦИКа пойду! Вас научат, как обращаться с трудящимися.

Но коммунары подошли к вопросу с юридической стороны:

— Заплатите сначала за сетку, тогда мы вам отдадим бычка.

— Сколько же вам заплатить? — спросил недоверчиво хозяин.

В кабинете собралось целое совещание под председательством Перского.

Перский считал:

— Нитки стоят всего полтора рубля, ну, а работы там будет рублей на двадцать по самому бедному счету.

Ребята заявили:

— Вот, двадцать один рубль пятьдесят копеек.

— Да что вы? — выпалил хозяин.— За что я буду платить? Бычок того не стоит.

— Ну, так и не получите бычка.

— Я не отвечаю за потраву, это пастух пускай вам платит. Я ему плачу жалованье, он и отвечает.

Ребята оживились.

— Как пастух? Пастух у вас наемный?

— Ну, а как же! Плачу ж ему, он и отвечает.

— Ага! А сколько у вас стада?

Хозяин уклонился от искреннего ответа:

— Какое там стадо! Стадо...

— Ну, все-таки.

— Да нечего мне с вами талдычить! Давайте теленка, а то пойду просто в милицию, так вы еще и штраф заплатите.

ССК прекратил прения:

— Знаешь что, дядя, ты тут губами не шлепай, а либо давай двадцать один рубль пятьдесят копеек, либо иди, куда хочешь.

— Ну, добре,— сказал хозяин.— Мы еще поговорим!

Он ушел. На другой день к вечеру ввалилось в кабинет существо первобытное, немытое со времени гражданской войны, нечесанное от рождения и совершенно не умеющее говорить.

В кабинете им заинтересовались:

— Ты откуда такой взялся?

— Га? — спросило существо.

Но звук этот был чем-то средним между «га», «ы», «а», «хе»...

— А чего тебе нужно?

— Та пышьок, хасяин касалы, витталы шьоп.

— А-а, это пастух знаменитый!

С трудом выяснили, что этот самый пастух пасет целое стадо, состоящее из трех коров, нескольких телят и жеребенка.

Сказали ему:

— Иди к хозяину, скажи: двадцать один рубль пятьдесят копеек пусть гонит.

Пастух кивнул и ушел.

Возвратился он только к общему собранию, и его вывели на середину плачущего, хныкающего и подавленного. Рот у него почему-то не закрывался, вероятно, от обилия всяких чувств. Пастух объявил:

— Хасяин попылы, касалы — иды сопи, быка, значиться, узялы, так хай и пастуха запырають.

Ситуация была настолько комической, что при всем своем сочувствии пастуху зал расхохотался.

Из коммунаров кто-то предложил задорно:

— А что ж, посмотрим! Давай и пастуха... Смотри, до чего довели человека!.. Побил, говоришь?

— Эхе,— попробовал сказать Юхим, не закрывая рта.

— Да что его принимать? — запротестовал Редько.— Он же совсем дикий. Ты знаешь, кто такой Ленин?

Юхим замотал головой, глядя не отрываясь на Редько:

— Ни.

Кто-то крикнул через зал:

— А ты чув, шо була революция?

Юхим снова замотал отрицательно головой с открытым ртом, но вдруг остановился.

— Цэ як с херманьцями воювалы...

В зале облегченно вздохнули. Все-таки хоть говорит по-человечески.

Многие выступали против приема Юхима, но общее решение было — принять.

Приняли-таки Юхима. А бычка на другой день зарезали и съели.

Юхима остригли, вымыли, одели — все сделали, чтобы стал он похожим на коммунара. Послали его в столярный цех, но инструктор на другой день запротестовал:

— Ну его совсем! Того и гляди, в пас запутается.

Юхим и сам отрицательно отнесся к станкам, тем более, что в коммуне нашлось для него более привлекательное дело. Держали мы на откорме кабанчика. Как увидел его Юхим, задрожал даже:

— Ось я путу за ным хотыты.

— Ну ходи, что ж с тобой поделаешь.

Юхим за кабанчиком ходил, как за родным. Юхим не чувствовал себя наймитом и даже пробовал сражаться с кухонным начальством и с конюхом, отстаивая преимущественные права своего питомца. В его походке вдруг откуда-то взялись деловитость и озабоченность. В свинарне Юхим устроил настоящий райский уголок, натыкал веточек, посыпал песочку...

К счастью Юхима, его сельскохозяйственная деятельность в коммуне все-таки прекратилась.

В один прекрасный день Юхим не нашел в свинарне своего питомца. Бросился в лес и по дороге с гневом обрушился на конюха.

Наш конюх, могучий, самоуверенный и спокойный Митько, старый мясник и селянский богатырь, добродушно рассмеялся.

Юхим унесся в лес. Бродил он в лесу и обед прозевал, пришел изморенный и к каждому служащему и коммунару приставал с вопросом:

— Дэ кабан? Чи не бачыли кабана?

И только придя на кухню обедать, он узнал истину: кабана еще на рассвете зарезал Митько. Когда Юхиму предлагала кусок свинины старшая хозяйка, ехидный и веселый Редько передразнил Юхима:

— «Дэ кабан?» Раззява несчастная! Ось кабан, лопай!

Как громом был поражен Юхим всей этой историей, не стал обедать и бросился в кабинет с жалобой. Я с большим напряжением понял, о чем он лопочет:

— Заризалы ранком, нихто й не знав, отой Митько, крав, крав помый, насмихався...

Несколько дней коммунары спрашивали у Юхима:

— Дэ кабан?

Но у Юхима уже прошел гнев, и он отвечал, улыбаясь доверчиво:

— Заризалы.

Гибель кабана от руки Митько окончательно порвала связь Юхима со скотным двором. Сделался Юхим рабочим литейного цеха. Сейчас он работает на щеткова льном станке.

Юхим — уже старый коммунар и изучает премудрости третьей группы.

ВЕЧЕР

Протрубил трубач у двух углов:

Спать пора, спать пора, коммунары.
День закончен, день закончен трудовой...

По парадной лестнице пробежали коммунары в спальни, и уже сменился караул у парадного входа. Новый дневальный записывает в свой блокнотик, кого и когда будить, и одновременно убеждает командира сторожевого в том, что, если командир отдаст ему карманные часы, они вовсе не будут испорчены.

Заведующий светом проходит по коридору и тушит электричество. Скоро только у дневального останется лампочка. У дверей одного из классов группа девочек требует:

— А если нам нужно заниматься?

— Знаю, как вы занимаетесь! — говорит грубоватый курносый, но хорошенький Козырь.— Заснете, а электричество будет гореть всю ночь.

— А мы разве засыпали когда?

— А почем я знаю, я за вами не слежу.

Но девочки получают подкрепление. Суровая Сторчакова разрешает спор молниеносно:

— Ну, убирайся!

Козырь убирается и заглядывает в «тихий» клуб, делая вид, что его авторитет ничуть не поколеблен. Однако за плечами его снова Сторчакова:

— Тут будет заседание бюро, прекрасно знаешь.

— Ну, знаю. Так что ж?

— Ну, нечего мудрить! Зажги свет.

Козырь послушно действует выключателями, но не уходит. Когда соберется бюро, он отомстит, обязательно пристанет к секретарю:

— Кто потушит свет?

— А тебе не все равно? Потушим.

— Нет, ты скажи — кто. Я должен знать, кто отвечает.

— Я потушу.

Козырь не будет спать или будет просыпаться через каждые четверть часа, спускаться в «тихий» клуб и смотреть, не забыли ли потушить свет. Надежды очень мало сегодня. Наверняка Сторчакова потушит. Уж очень она аккуратный человек. Но Козырь знает, что такое теория вероятности. Он будет и сегодня следить, и завтра, и много раз, и, наконец, настанет такой счастливый вечер, когда он на общем собрании отчеканит рапорт дежурному:

— В коммуне за сутки электроэнергии израсходовано двадцать киловатт-часов.

Особое замечание: секретарь комсомольской ячейки Сторчакова после заседания бюро не выключила свет, и «тихий» клуб горел до утра.

Сторчакова выйдет на середину и скажет:

— Да, я виновата...

Ничего Сторчаковой не будет, это верно, но Козырю ничего особенного и не нужно. Он и так получит много. Он получит право сказать секретарю:

— Знаем, как вы тушите!

В помещении коммуны появляется еще тень и ругает Володьку за то, что рано в коммуне потушен свет. Это представитель дежурного отряда. Дежурный отряд следит за порядком в клубах и отвечает за то, чтобы во всем здании, кроме, разумеется, спален, были на ночь закрыты окна.

Наконец, и Володька и дежурный отряд уходят в спальню.

В кабинете еще идет работа — какая-нибудь комиссия. В «тихом» клубе располагается бюро, а это значит, что «тихий» клуб полон.

На бюро кто-нибудь коротко отчитывается, кто-нибудь зачитывает небольшой проект, кто-нибудь «отдувается», что-нибудь организуется.

Сегодня именинник литейный цех. Производственное совещание цеха. Мастера, Соломон Борисович — всего человек двенадцать. В цехе прорыв: что-то прибавилось браку, вчера не было литья, глина оказалась неподходящей.

Коммунары полегоньку нажимают на Соломона Борисовича и основательно наседают на мастеров; мастера кивают на Соломона Борисовича и оправдываются перед коммунарами; Соломон Борисович машет руками и наседает и на тех и на других. Через полчаса вопрос ясен: прорыв ликвидировать совсем не трудно, и тревога, в сущности, напрасна, но все-таки хорошо, что поговорили. Выяснилось, что коммунар Белостоцкий поленивается, что мастер Везерянский — шляпа, что Соломон Борисович должен, скрепя сердце, выложить сто рублей на новый точильный камень. Под шумок маленького спора сорвали с Соломона Борисовича обещание перевести что-то на мотор, договорились насчет новой работы и помечтали об отдельной литейной.

В кабинете тоже окончили. Председатель столовой комиссии складывает в папку бумажки и говорит:

— Конечно, нужны горчичницы. Будем нажимать.

Все расходятся.

Дневальный принимает ключи от кабинета и говорит:

— Спокойной ночи.

Во дворе неслышно прохаживается сторож. У конюшни голоса: двое коммунаров кому-то рассказывают о чудесах, совершенных Митькой-конюхом:

— Ну, так разве ж его можно взять! Раз трое на него наскочили с кольями, а у одного железный лом... Так что ж? Они на него с ломом — по голове, аж голова гудит, а он все-таки их всех поразгонял.

— Коммунары, спать пора!

— Идем уже, идем...

В последнем окне погас свет: кто-то дочитал книжку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас осень. Коммуна только что возвратилась из крымского похода.

Крымский поход достоин того, чтобы о нем написать книгу — книгу о новой молодости, о молодости нового общества, о радостях новых людей, сделавшихся частью живого коллектива.

Утром пятого августа в четыре часа коммуна вышла из Байдар. Впереди — проводник, разговорчивый татарин, данный нам байдарским комсомолом. Мы решили идти через Чертову лестницу, но нужно посмотреть на знаменитые Байдарские ворота.

Ахнули, посмотрели, влезли на крышу ворот и чинно уселись на барьере крыши, как будто собирались просидеть там до вечера. Слезли через минуту, сыграли «Интернационал» восходящему солнцу и пошли. Через пятьдесят шагов проводник неожиданно полез на какую-то кручу. Не успел я опомниться, как уже коммунары перегнали его, только кто-то из оркестрантов с тяжелым басом цеплялся за корни.

Я разругал проводника:

— Разве это дорога? Разве можно вести по этой дороге сто пятьдесят ребят, да еще с оркестром?

Но коммунары на меня смотрели с удивлением:

— А чего? Груба́я дорога!

Кое-как и мы с Тимофеем Викторовичем, ругаясь и задыхаясь, выбрались на Яйлу.

Часа через два шли с пригорка на пригорок по волнистым вершинам Яйлы и, наконец, подошли к Чертовой лестнице.

Смотрим вниз. Какой-то застывший поток разбросанных повсюду острых камней. По ним нужно спускаться. Ребята нас обогнали давно. От Байдар уже сделали километров двадцать, а тут еще нужно прыгать на круглую макушку камня, смотрящего откуда-то снизу в полутора метрах. Прыгаем.

Тимофей Викторович возмущается:

— Проводнику не нужно платить, мерзавцу!

Спускались мы с ним часа полтора, так, по крайней мере, нам показалось. Но как только спустились к ожи-

давшим нас на шоссе коммунарам, Тимофей Викторович расплылся в улыбке:

— Замечательная дорога! Какая прелесть!

Голоногие коммунары смеются, понимая, в чем дело. Тимофей Викторович на этом самом участке шоссе с радостью закончил бы переход. Но нужно идти дальше, потому что коммунары уже скрываются из виду. Им приказано остановиться только в Кикенеизе, а до Кикенеиза еще километров восемь.

В Кикенеизе маршрутная комиссия достала разрешение остановиться в школе. Обоза еще нет, и коммунары отправились купаться к морю, до которого километра четыре.

Наконец, приходит обоз. Карабанов дурашливо обнимается с коммунарами, конвоирующими обоз, столовая комиссия бросается снимать с арб обед.

Я спрашиваю:

— Здесь заночуем, наверно?

— Дальше! — кричат коммунары.

В шесть часов трогаемся дальше. Уже начинает темнеть, когда мы подходим к обсерватории на горе Кошка. До Симеиза километров пять. Директор разрешает осмотреть обсерваторию, и ребята устремляются к дверям. Нам уже в пору отдохнуть, и мы с Тимофеем Викторовичем усаживаемся на скамье. Хорошо бы здесь и заночевать, но Карабанов уже выстраивает колонну. Техник обсерватории предлагает показать ближайший спуск в Симеиз. Мы с ним отправляемся вперед, но через минуту нас галопом обгоняют все сто пятьдесят коммунаров. Они летят по крутому спуску, как конница Буденного; не останавливаясь на поворотах и не упираясь на кручах, просто сбегают свободным бегом, как будто для них не существует законов тяжести и инерции. Любезный техник останавливается над каким-то обрывом и показывает мне дальнейшие извилины спуска, но вдруг безнадежно машет рукой:

— Э, да вам показывать не нужно!

Впереди вся Кошка покрыта парусиновыми рубахами коммунаров.

Мы с Тимофеем Викторовичем только через полчаса добираемся до подошвы.

Еще через десять минут наш оркестр гремит на верхних террасах симеизского шоссе. Симеиз в сверкающем ожерелье — все ближе и ближе.

После сорокакилометрового перехода и двух перевалов коммунары с музыкой входят в Симеиз. Их движения так же упруги, как и утром в четыре часа в Байдарах. Так же торжественно колышется впереди знамя, по бокам его так же острятся штыки, и так же развевается флажок у флаженера левого фланга, Алексюка.

Симеизская публика из квартала в квартал провожает нас аплодисментами. Кто-то любезно бросается подыскивать для нас ночлег. Через полчаса коммунары входят в великолепный клуб союза строителей, и караульный начальник разводит ночные караулы.

Тридцать первого августа в шесть утра мы вернулись домой.

Кончился наш отпуск. Перед нами — новый год и карты новых переходов.

В отрядах коммунаров уже сменились командиры. В первом отряде снова командует Волчок, а на месте ССК уже не Васька Камардинов, а Коммуна Харланова, особа выдержанная, серьезная и образованная. Теперь Соломону Борисовичу еще меньше будет свободы в совете командиров.

Соломон Борисович строится. Все площади нашего двора завалены строительными материалами, сразу в нескольких местах возводятся стены новых домов — общежитий, контор, складов и цехов. Все планы, намеченные перед отъездом в Крым, Соломоном Борисовичем выполняются, и это обстоятельство окончательно роднит его с коммунарами.

Вернувшись из крымпохода, побежали коммунары после команды «разойдись» осматривать новое строительство. Великолепный новый сборный цех длиною в семьдесят метров их совершенно удовлетворяет.

— Грубòй цех будет! — говорит командир третьего.

Довольны и формовщики: новая литейная почти готова, на стропилах уже ползают кровельщики, и на траве в саду разложены масляные листы железа.

Но это еще не все. Самое главное вот что: в коммуне открывается рабфак. Настоящий рабфак Машиностроительного института. Первый и второй курсы. Это великое

событие произошло чуть что не случайно. Бросились наши кандидаты в рабфаки — оказывается: то стипендии нет, то общежития. Возникло решение открыть собственный рабфак. И Наркомпрос и ВСНХ пошли навстречу желаниям коммунаров.

Через три дня начинаются на рабфаке занятия. Новые наши студенты продолжают оставаться коммунарами. Все чрезвычайно довольны: не нужно никуда уходить, не нужно бросать родную коммуну, можно продолжать работать на нашем производстве.

В рабфаке будет семьдесят коммунаров.

В педагогическом совете затруднялись: как быть с такими, как Панов. И по возрасту и по росту — совсем пацан, а по способностям и коммунарскому стажу — заслуженный товарищ. Ребята в педсовете настояли:

— Ну так что же, что пацан? Кончит рабфак, ему уже шестнадцать будет. Чем не студент? Такие нам и нужны.

Сегодня в коммуну свозят много хороших вещей: физический кабинет, химический кабинет, новые книги. Соломон Борисович измеряет комнаты: надо делать шкафы, столы, стулья для новых кабинетов.

Соломону Борисовичу теперь есть чем гордиться: в коммуне рабфак; не успеем оглянуться — будут собственные инженеры. А на текущем счету уже лежат двести тысяч рублей. Взяли мы еще в июле заказ на оборудование Энергетического института, заказ стоит полмиллиона.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА, ч. III

Стр. 10. *Шерхебель* — вид рубанка, используется для первоначального, грубого строгания древесины.

Стр. 16. *Вытяжки* — сапоги, у которых голенище и перед составляют одно целое.

Стр. 30. *Клифт* — пиджак, куртка (*жаргон*).

Стр. 42. *«...заглохшие стебли соцвоса...»* — Соцвос — социальное воспитание, которому в 20-е — 30-е годы органы просвещения придавали особое значение. Иронические замечания Макаренко относительно соцвоса вызваны ошибками, которые допускались отдельными работниками на местах, и извращениями в педагогике, искажавшими идею соцвоса.

Стр. 44. *Утермарковские печки* — кирпичные печи в форме стоячих цилиндров, обшитые железом.

Стр. 48. *«...небольшой дозы ставка́...»* — Ставок — пруд (*укр.*).

Стр. 59. *СПОН* — Социально-правовая охрана несовершеннолетних детей.

Стр. 74. *«...напоминая одного из боевых слонов царя Дария Гистаспа».* — В армии персидского царя Дария Гистаспа (VI в. до н. э.) были отряды всадников на боевых слонах, наводившие панику в рядах противника.

«Блоха» — пьеса Замятина Е. И. (1884—1937) по известному рассказу Н. С. Лескова «Левша».

Стр. 80. *Дитлахи* — ребятишки (*укр.*).

Стр. 90. *«...в метровом бриле...»* — Бриль — широкополая соломенная шляпа (*укр.*).

Стр. 92. *Кориолан* — герой одноименной трагедии В. Шекспира.

Стр. 102. *«...ставки какого-нибудь Аустерлица».* — Под Аустерлицем в Моравии в 1805 году Наполеон одержал победу над русско-австрийской армией.

Стр. 105. *Гава* — ворона (*укр.*). *Гав ловить* — считать ворон, ротозейничать.

Стр. 130. *«...отрядные меркурии...»* — Меркурий — бог торговли у древних римлян (в Греции — Гермес), покровитель купцов и путешественников, иногда изображавшийся в высоких сапожках с крылышками вместо шпор. В современной поэзии Меркурий-Гермес — часто синоним слова «вестник».

Стр. 145. *Сурмы* — трубы (*укр.*).

Стр. 146. *Олимп* — у древних греков священная гора, считавшаяся местопребыванием богов. Иносказательно — сонм высших, высший совет, часто употребляется иронически. Макаренко называет «олимпийцами» утративших связь с жизнью педагогов-догматиков.

Стр. 190. *Скиглить* — скулить, ныть (*укр.*).

Стр. 198. *Шопенгауэр*, Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист, для взглядов которого характерно отрицание научного познания, исторического прогресса, крайний пессимизм.

Стр. 223. *ХПЗ* — Харьковский паровозостроительный завод.

Стр. 226. *Синедрион* — совет старейших в древней Иудее, выполнявший функции высшего религиозного, правительственного и судебного учреждения.

Стр. 233. *Кубики* — знаки воинского различия среднего комсостава в Красной Армии до 1943 года.

МАРШ ТРИДЦАТОГО ГОДА

«Марш тридцатого года» — первое из опубликованных больших произведений А. С. Макаренко. Повесть имеет документальную основу и рассказывает о жизни трудовой коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, начальником которой Макаренко был с октября 1927 года. Он писал свою книгу, отложив работу над «Педагогической поэмой», осенью и зимой 1930 года. Книга вышла в свет в конце 1932 года. А. М. Горький тотчас же отозвался на нее письмом:

«Дорогой Антон Семенович —
вчера прочитал Вашу книгу «Марш 30-го года». Читал — с волнением и радостью, Вы очень хорошо изобразили коммуну и комму-

наров. На каждой странице чувствуешь Вашу любовь к ребятам, непрерывную Вашу заботу о них и такое тонкое понимание детской души. Я Вас искренно поздравляю с этой книгой...» (17 декабря 1932 года).

Стр. 245. *Клифт* — см. примечание к стр. 30 наст. тома.

Стр. 249. *«...старые горьковцы, представители первых полтавских поколений...»* — История колонии имени М. Горького, организованной А. С. Макаренко в 1920 году под Полтавой, составляет содержание «Педагогической поэмы».

Стр. 252. *Шепинг* — деревообрабатывающий станок.

Стр. 253. *«Шишельники»* — коммунары, изготовляющие «шишки». См. об этом на стр. 261 наст. тома.

Стр. 260. *Сводные отряды.*— Внутренняя структура коммуны представляла собой сложную и очень подвижную систему: в быту и на производстве первичными коллективами коммунаров были отряды и бригады, в школе — классы, в походах — взводы. «Сводный отряд,— писал Макаренко в «Педагогической поэме»,— это временный отряд, составляющийся не больше как на неделю, получающий короткое определенное задание: выполоть картофель на таком-то поле... украсить новогоднюю елку и т. д.». Этой организационной форме Макаренко придавал очень большое значение.

Стр. 262. *Коллектор* — учреждение, распределявшее беспризорных детей по детским домам.

Стр. 283. *«...бахнул по коммуне ежедневной «Шарошкой».*— Заголовком стенгазеты стало название особого резца для обработки металла.

Стр. 308. *«Рельсы гудят»* — пьеса Киршона В. М. (1902—1938) о людях рабочего класса, о становлении нового человека. *«Республика на колесах»* — пьеса украинского писателя Мамонтова Я. А. (1888 — 1940) о героях гражданской войны. Пьесы эти в конце 20-х — начале 30-х годов входили в репертуар многих профессиональных театров страны.

Стр. 309. *ВЭК* — Всеукраинский электрокомбинат.

Стр. 323. *Годи* — достаточно, хватит (*укр.*).

Стр. 354. *Рабис* — профессиональный союз работников искусств. *Моно* — Московский отдел народного образования.

Стр. 364. *Гарри Пиль* — популярный в 20-е годы американский киноактер.

Стр. 377. *Яйла* — название плоских вершин Крымских гор.

СОДЕРЖАНИЕ

Антон Семенович МАКАРЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах.

Том II.

Редактор тома
В. В. Кожевникова.

Оформление художника
Ю. И. Батова.

Технический редактор
Л. И. Шагарина.

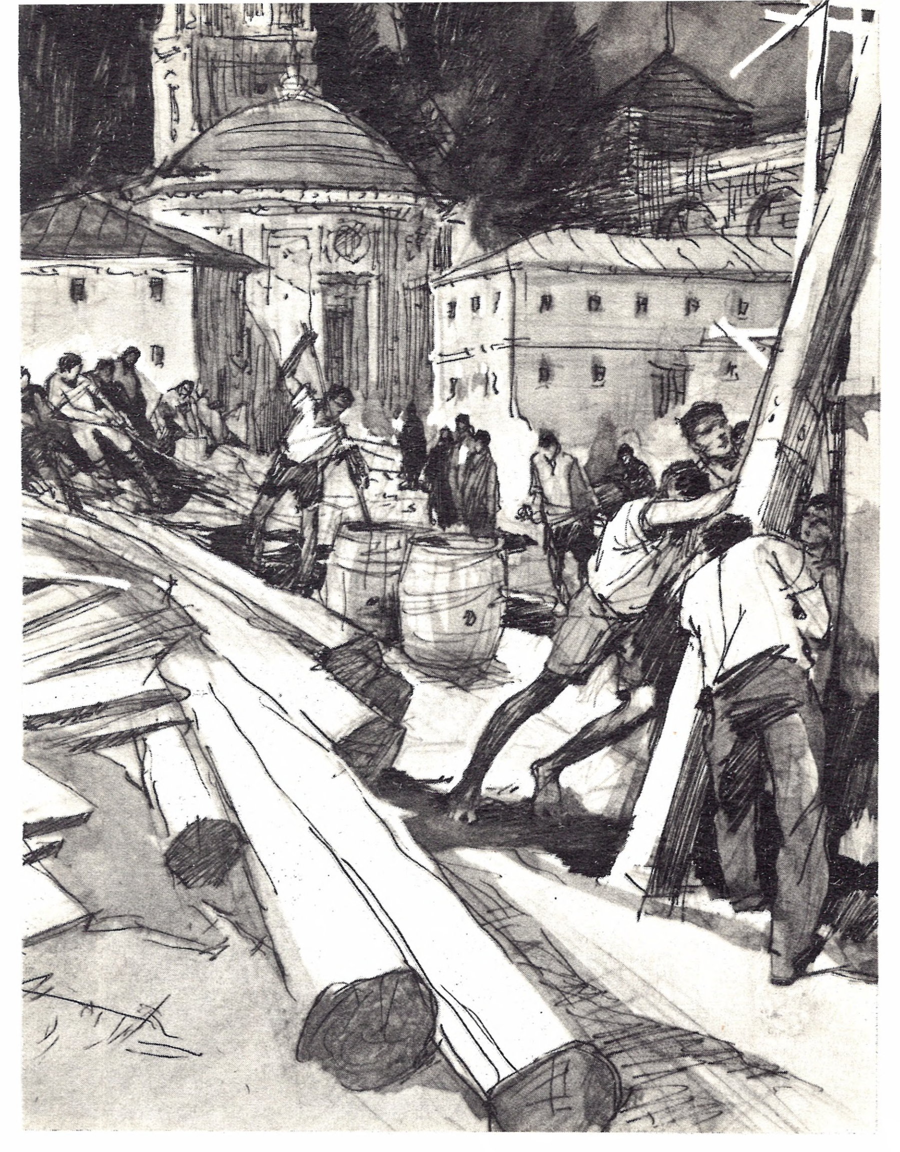
Сдано в набор 5/I 1970 г.
Подписано к печати 6/X 1970 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32. Объем 20,58 усл. печ. л.
21,36 уч.-изд. л. Тираж 375 000 экз. Изд. № 1350. Зак. № 610.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А 47, ГСП, улица «Правды», 24.

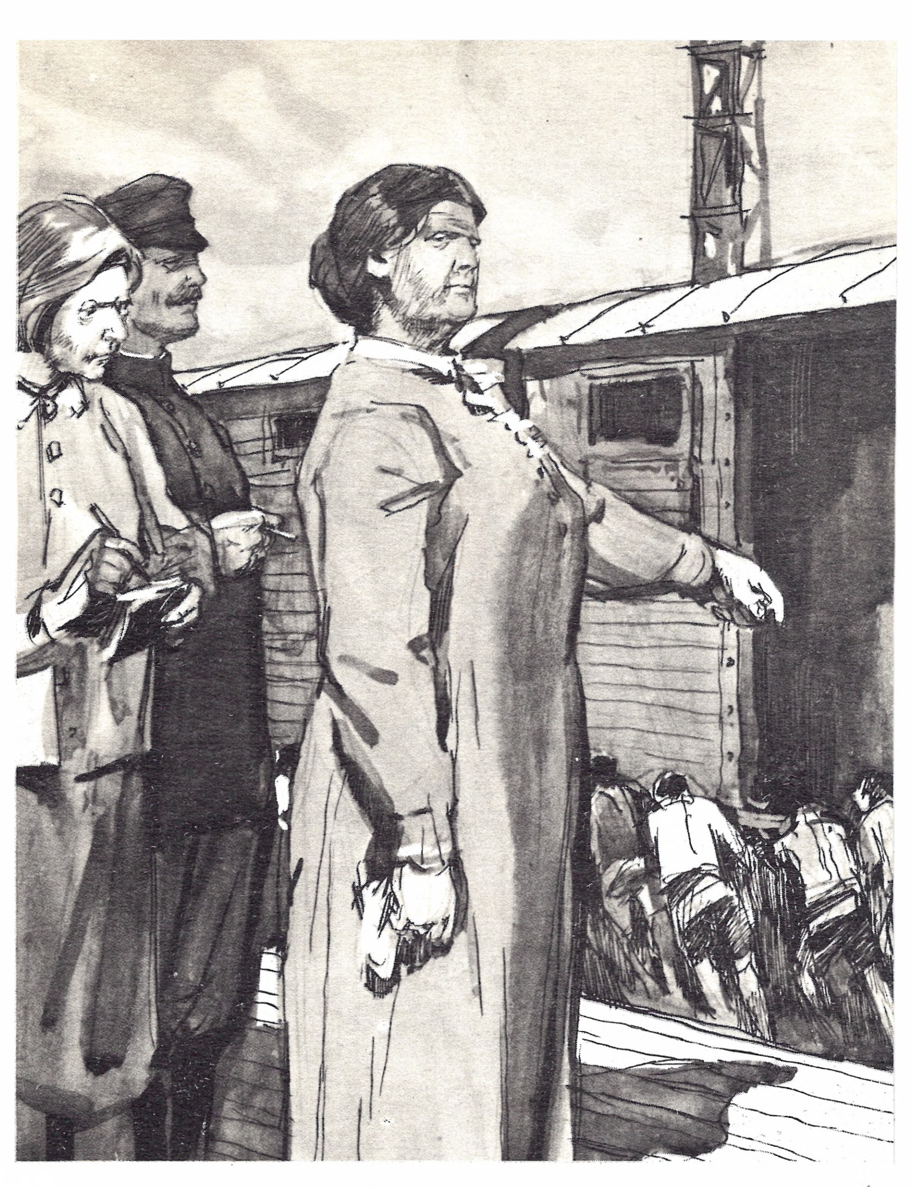
Индекс 70682



«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»



«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»



«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»



«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»



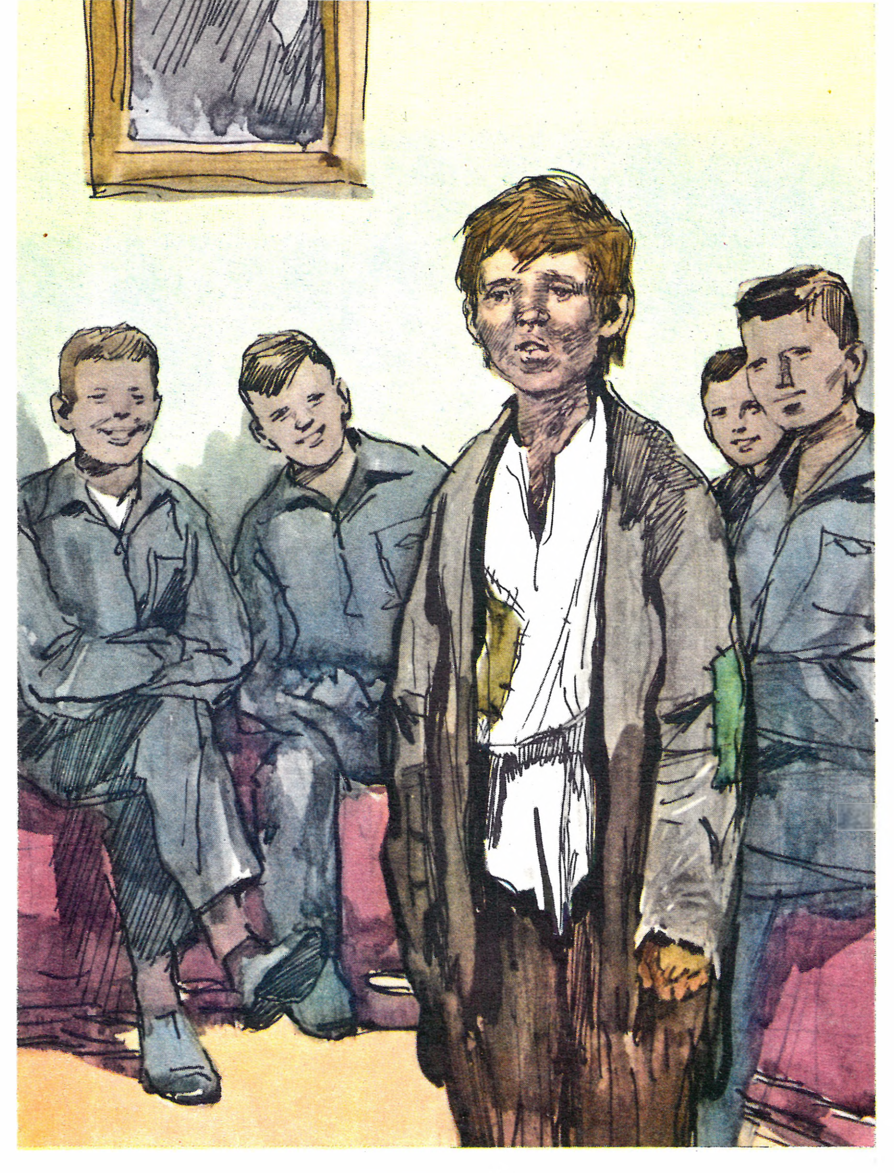
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»



«МАРШ ТРИДЦАТОГО ГОДА»



«МАРШ ТРИДЦАТОГО ГОДА»



«МАРШ ТРИДЦАТОГО ГОДА»